

Юрий Колкер

БУРЕЛОМ
И
ВАЛЕЖНИК

UROBOROS
LONDON
2026

В книгу Юрия Колкера вошли эскизы в прозе, литературные заметки, статьи, фрагменты писем, отрывочные воспоминания и своего рода стихотворения в прозе за годы с 2016 по 2026. В них — историософия и *ars poetica* автора. По жанру это одна из форм автобиографии, литературный автопортрет, написанный импрессионистскими мазками.

ISBN 978-1-291-65454-7

Текст и оформление © Юрий Колкер, 2026
Фотография на обложке © Tanya Kostina, 2011

ДРУГИЕ МЕМУАРЫ

— Как? Ещё одни воспоминания? Не довольно ли с нас? — подумает иной читатель книги Сергея Брауна *За рубежом бывшего*. — Ведь это всемирный потоп какой-то. И опять Сибирь, опять Совдепия! Что нового узнаем мы об этой проклятой Богом стране с её палачами, застенками и ГУЛАГом, о «стране социализма», под лозунгом всемирного братства и счастья утопившей в крови полмира?

На это ответчу: мы узнаем себя. Мы увидим судьбу, совсем не похожую на ту, что выпала нам, но — такова уж особенность настоящей литературы — самую этой непохожестью открывающая нам что-то существенное и прежде не понятое в нашей судьбе и душе.

Верно: все мемуары похожи друг на друга, как счастливые семьи. Все начинаются давидкоперфильдовской мутью: «сперва я родился, потом я учился, потом я за женщинами волочился» — но есть исключения. Верно, всем воспоминаниям присущ исповедальный пафос и исповедальная лукавинка, неустраняемая, в природе жанра заложенная потребность чуть-чуть пошевелить бывшее (свойство, о котором сам Браун пишет с изумительной глубиной и блеском), — всё это мы проходили; мы прочли Жан-Жака Руссо, не говоря уже о Толстом, мы заглянули в Фому Аквинского. Мы знаем этот род литературы, а всё-таки эти мемуары — особенные, другие.

Тут мало сказать: Сергей Браун — настоящий писатель, что нечасто случается среди *чистых мемуаристов*, писателей, прежде литературных сочинений не писавших. Это именно так, но это подступы, это *sine qua non*... не будь этого, чорта с два мы увлеклись бы книгой! И мало сказать: Сергей Браун нов новизною сущностной, невыдуманной, ибо сумел выразить в слове свою человеческую индивидуальность, всегда единственную и неповторимую. Опять: это правда, но правда, бедная содержанием, минимальная, неброская... Какая, к слову, неброская, демократически-заурядная фамилия у этого писателя: Браун! Взял бы уж псевдоним, что ли! — Но вот это как раз неправда: фамилия Браун, как случается у родовитых евреев, — шкатулка, к которой требуется золотой ключик; она — акроним; она уводит в упоительную глубь времён, к Голконде мудрости, к рабби Нахману из Бреслау. Сергей Браун — из его потомков. А имя соб-

ственное? Уж тут-то нет подвоха? Видим златокудрого Серёгу Есенина в обнимку с подругой перед самоваром с портвейном... Опять неправда: даже и в имени собственном писателя заложен упоительный секрет, скрыт смысл, не лежащий на поверхности, раскрывающийся в ходе повествования... и как раскрывающийся? — многозначно. Один из смыслов, хоть и не первый, а побочный, не могу не отметить, потому что он мимоходом ставит на место антисемитов, винящих евреев в большевизации России. В связи с этим простым русским именем — Сергей — в прозе Брауна невзначай встаёт во весь рост тот факт, что среди борцов против большевизма евреи тоже были первыми. (На деле их было и в процентном отношении больше, чем среди большевиков, *из еврейства вышедших*, евреями быть переставших; какой из Троцкого еврей?!)

Писателя нельзя пересказать, его нужно прочесть. Любые особенности в пересказе — и даже при учёной попытке их осмысления — теряют в своём достоинстве («понять значит упростить»), если не вовсе искажаются; место им — в тексте писателя, в контексте его вселенной; выньте толстовство из Толстого, получите кукиш. Всё же одну особенность Сергея Брауна не отметить нельзя. Он сообщает о себе: говорю на семи языках. Это неточность: он *свободно читает* на семи языках, не только говорит; он дошкольником начал читать на четырёх языках — и читал со страстью («Ты, когда вырастешь, станешь писателем?» — «Нет, я стану читателем!» — вот слова этого дошкольника); он прочёл неимоверно много, целую Александрийскую библиотеку и всю её держит в памяти. Профессор биохимии, признанный во всём мире специалист, он как профессионал ориентируется в любых областях мировой культуры, в любых закоулках знания; он знаток истории, академической и библейской; он мимоходом делает открытия в искусствоведении (первым заметил, что *Герника* Пикассо всего лишь повтор шартрского барельефа *Резня* Огюста Преё (1809-1879, Auguste Préault)), — и всё это явно и неявно присутствует в книге, рассказывающей о его жизни в Сибири и Латвии. Книга полна цитат, что, как мы знаем, не каждой книге льстит. Тут — каждая цитата на месте, останавливает мысль, раздвигает горизонты, добавляет выразительный штрих к портрету автора, а при этом в своей совокупности они образуют драгоценную галерею, в которой вдумчивый читатель проведёт часы, размышляя о жизни и смерти.

Тут же рядом, в рифме, стоит и другая, особенность книги Сергея

Брауна, родственная первой: деятельная, неустанная мысль, оснащённая парадоксом и оксимороном. Писатель занят изображением через воспоминания (так это у всякого писателя, не только у мемуариста), но при этом мысль его превращает частное в общее. Такова европейская проза в своих взлётах; возьмите хоть *The Way of All Flesh* Батлера и спросите себя: разве это только воспоминания? Такова и проза Сергея Брауна. В названии своей книги Браун удерживает первое слово классической формулы *Былое и думы* и опускает второе, словно бы возражая Герцену: какое же былое без дум?! — а нас оставляет перед вопросом, на который можно ответить так: за рубежом былого лежат только три категории: настоящее, будущее и вечность; думы от былого неотрывны.

У всякого талантливое произведение, будь то сонет или роман-эпопея, имеется безошибочный индикатор: прочитав, мы спрашиваем себя: отчего я не написал чего-то подобного? ведь тут мои переживания, мои мысли, моя, хоть и не мною прожитая, жизнь! Вот с этим вопросом на устах, я уверен, думающий читатель и закроет книгу Сергея Брауна; с вопросом, означающим восхищение и благодарность.

21.11.16

НОВАЯ ЭТИКА

На дворе — новая этика. Интернет с его подручными изменил отношение к слову, стёр грань между сказанным, написанным и напечатанным. Всё можно подделать: и голос, и бегущие картинки, не говоря уж о тексте. Вы вот, сударыня, точно знаете, что всё, мною здесь написанное, написал я, а не другой, — а кто захочет усомниться в моём авторстве, тот концов не найдёт и ничего не докажет; мало ли шутников на свете? взял человек и подписался моим именем, а там ищи ветра в поле.

Интернет скрадывает нашу индивидуальность. Мы словно в Венеции восемнадцатого века, где каждый второй в маске. Ты хоть и догадываешься, кто под этой маской, а всё-таки не до конца уверен; что и неплохо. Интернет — великий уравнитель, почище большевиков уравнивает; у него все животные равны. Посмотрите: у всех нас, сколько нас ни живёт на планете, уже сегодня есть общая память. Например, я забыл, целовались ли мы с вами в молодости или вели себя примерно, ходили, взявшись за руки и читали друг другу стихи Асадова, призывающие нас быть нрав-

ственными, — не беда! заглядываю в интернет и нахожу справку: да, целовались, у Асадова не спросясь.

Новая этика утвердила и новое отношение к информации — в явочном порядке, почище любой Декларации прав человека. Спецхран только на Лубянке остался. Все имеют право знать всё, и не завтра, а сегодня; иные не хотят знать, это их дело, но все имеют право знать, и вольны верить или не верить. Кто чем-то недоволен, иди в суд, вызывай клеветника на дуэль, дуэли никто не отменял, а в новые времена ещё и возрази клеветнику, не вставая из-за стола, возвести свою правду городу и миру в сети, где все равны... но при этом (и это тоже новое и упоительное) будь готов к тому, что никто тебя не услышит... как, впрочем, и твоего зоила и предположительного клеветника никто не услышал... Ведь мы должны это признать: когда все имеют право и могут знать всё, немногие захотят знать то, без чего можно обойтись. Теперь, сударыня, вы, я полагаю, не сомневаетесь, что мы сейчас говорим в своём кругу, и я не так уж дурно поступил, произнеся в моих воспоминаниях некоторые фамилии и даже адреса.

Но, может, вы скажете, что старый способ лучше — когда информацию придерживают для своих, а чужим кукиш показывают? Может быть. Но я так не думаю. Старый способ вот какой: в своём кругу ты говоришь, что А дурак, ничтожество и негодяй, а на другой день публично жмёшь ему руку и садишься рядом с ним в президиуме или перед камерой. Нет, я за новый способ. Я стоял за новый способ ещё и в доинтернетную эпоху, ещё молодым не раз говорил и писал, что за каждое моё слово готов стреляться с трёх шагов, насмерть, а уж теперь-то, когда я родителей моих пережил, когда я живу чужой век, теперь-то и подавно не струшу. «Мне совершенно всё равно, съем я ещё две тысячи котлет в своей жизни или не съем», сказал один русский террорист при объявлении ему смертного приговора. Я всегда думал, что эту бессмертную фразу произнёс Николай Иванович Кибальчич, изобретатель (не еврей, не подумайте дурного, хоть и носитель очень еврейской фамилии, однокоренной со словом каббала; на иврите קִיבָּלְתִּי (кибальти) означает: я получил)... а интернет называет другое имя, русское: Богров, но его носитель, это уж точно, родился евреем, хоть из евреев и вышел («это что же за напасть! негде камушку упасть!»)... Но, может быть, интернет соврал или перепутал?

С нетерпением жду вашего, сударыня, негодования, ваших возраже-

ний, вашей суровой, но справедливой критики.

25.11.16



...мой собеседник упоминает о фонде имени Параджанова, я спрашиваю, кто это такой, мой собеседник, во мне заинтересованный и необидчивый, замолкает на долгих пять секунд, а потом терпеливо объясняет мне, что был такой советский кинорежиссёр. Но откуда же мне знать режиссёров, да ещё кинорежиссёров? Ведь я и профессии такой признать не готов. Ведь я твёрдо знаю: когда театр был велик, режиссёров не было. Ни при Эсхиле не было, ни при Шекспире. Во времена Рашель, пожалуй, режиссёры и были, но кто же о них говорил? Пусть себе будут; ведь и клерки нужны, но величать их художниками?

И кинематографию я искусством признать не могу. Что это за произведение, над которым работало двести человек? Чьё оно? Актёр — да, есть такая древняя профессия, не отрицаю; третья по древности; есть изумительные дарования (только не в кино, конечно), которых и художниками признать не оскорбительно. Но я не готов признать за актёром никакой роли, кроме роли сценической; не может актёр быть общественной фигурой, как не может ею быть официант, пусть хоть десять раз гениальный в своём ресторане. У актёра нет ни своих слов, ни своих мыслей, — у хорошего актёра; а если есть, он плохой актёр. По своему социальному статусу актёр — слуга, не господин. Но что же можно сказать об обществе, где слугу знают и обожают миллионы? Что можно сказать об обществе, где художественный фильм — всенародное событие, где фразу или гримасу актёра обсуждает вся страна, на улице и дома, на рабочих местах и в транспорте? Ведь это повальное сумасшествие! Такое общество больно саркомой — только и всего. Смотреть так называемые художественные фильмы в Совдепии я перестал в конце 1960-х.

29.11.16

ХАЗАНОВ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

«Один не услышит, другой не поймет» — так некогда Надсон сказал, а русский поэт, живущий в Канаде, повторил, хоть и в неведении, что по-

вторяет. Очень верно сказано.

Когда в 1993 году вышла небольшая книжка мюнхенца Бориса Хазанова под неудобным названием *Нагльфар в океане времен*, мне (с моей кочки) показалось, что мир ахнет. Время ещё было подходящее; ещё ждали и надеялись. Эмигрантов на руках носили, ковровую дорожку им стелили. Странно вспомнить, но было: на минуту там, в России (тогда ещё была Россия), людям почудилось, что вот сейчас они, эмигранты, вернутся из своего потустороннего мира и будут править если не страной, то культурой. Почти как после 1956 года, когда люди из лагерей начали возвращаться (и советский классик Фадеев, отправивший в лагерь многих, с испугу застрелился).

Но мир не ахнул. Заглянули, да не поняли.

А затем всё разом изменилось, люди занялись делом. Обычная история. Мир велик, жизнь коротка. Вот я и думаю: не заглянуть ли ещё раз — теперь, когда мы опять на обочине? Может, всё-таки поймем что-нибудь? ...

9.12.16

2017



...статья К. — хороша, местами и очень хороша. Рука у него сильная. Моя правка касается, в основном, графики. Слово *родина* пишут с прописной буквы те, кто пишет *Бог* со строчной. Это чисто советское язычество, патриотический фетишизм. Кавычек в культурном тексте должно быть чётное число, что не всегда сознают те, кто не получил естественно-научного образования. Внутренние кавычки должны отличаться от внешних (а у К. есть и третий уровень кавычек).

Вообще, с кавычками нужна предельная осторожность. Это — очень советский знак препинания. В советское время додумались даже применять кавычки для придания словам иронического оттенка, что — величайшая пошлость. Безусловно корректное использование кавычек существует только одно: выделение цитаты, притом не слишком известной (выделять то, что у всех на слуху, — неуважение к читателю).

Здесь я хотел бы выговорить на будущее вот что. Кондовая советская норма использования кавычек вообще нехороша. Ряд авторов (я в том

числе) предпочитает досовестную норму выделения некоторых слов, в частности, названий. Скажем, нельзя брать в кавычки слово Библия (в советское время брали, это была норма; сейчас большинство осознало, что это немыслимо, ведь Библия — больше, чем книга). Пушкин (да и Герцен тоже) придерживались западной нормы: *выделения курсивом*. Пушкин и Божественную комедию никак не выделял. До прихода гегемона западная норма существовала в России рядом с выделением кавычками (что было, в основном, газетной скорописью). И вот я думаю, что нужно оставить за авторами право прибегать к старой норме.

Теперь по существу статьи. В ней мне хотелось бы поправить только одно. В тех местах, где К. говорит от имени журнала *Колокол* и набрасывает его будущий облик, он слишком неосторожен. Журнал затевается с некоторой программой, но пойдёт он туда, куда его поведут обстоятельства и наличный материал. Некоторые из обещаний К. могут повиснуть в воздухе и выставить редакцию в смешноватом свете. Да и узки некоторые из поставленных им рамок, не все в них поместятся. И, разумеется, подписать статью нужно его, К., именем. Она не должна быть редакционной.

1.02.17

ОТВЕТ Т-МУ

Дорогой г-н Т-ой, я получил Ваше письмо с вопросами о Шлепянове и его *Колоколе*. Я давно не пишу для печати, но в память о Шлепянове отступаю от этого правила, однако ж при обязательном условии: это моё письмо Вы воспроизведёте как письмо — и как оно есть, без поклонов в сторону современных москвитов, раскулачивающих родной язык. Это значит, в частности, что Вы не ставите кавычек, где их нет (не заключаете в кавычки аббревиатуры и имена собственные, начиная с *Колокола*); что слово *Би-Би-Си* не меняете на идиотическое *Би-би-си*; *элитарный* не меняете на собаководческий термин *элитный*, а слово *интернет* сохраняете в моём написании: со строчной.

Вы спрашиваете: когда и при каких обстоятельствах я познакомился со Шлепяновым и когда он рассказал мне о журнале.

— Тут все обстоятельства совпали. До *Колокола* я о Шлепянове не слышал. Мы познакомились в первой половине 2001 года, и как раз в свя-

зи с *Колоколом*, ещё бывшим в проекте. Шлепянов хотел пригласить себе в помощники по журналу Александра Гербертовича Раппапорта, сотрудника русской службы Би-Би-Си. Я в ту пору был внештатником на Би-Би-Си, выпускал радиожурнал *Европа*, а поскольку денег на жизнь не хватало, подрабатывал мелкой журналистикой под множеством псевдонимов, часто за совершенно анекдотические вознаграждения. Раппапорт предложил мне участвовать в *Колоколе*, и я немедленно послал Шлепянову что-то из моих сочинений. В ответ Шлепянов позвал меня к себе, а жил он на Park Street, в двух шагах от Гайд-парка, в самом центре мира, в очень дорогом месте, где и самые скромные апартаменты не могут стоить меньше миллиона фунтов. Не стану скрывать, что это мне не понравилось, новых русских я сторонился, но сам Шлепянов пришёлся мне по душе... — да и случись иначе, от насущного куска хлеба я отказаться не мог, потому что на проклятых бибисях, при которых я кормился тринадцать лет, меня теснили всё больше и больше. Словом, я тотчас принял предложение Шлепянова, даже не слишком вглядываясь в условия.

Естественно, Шлепянов предложил мне участвовать в журнале как автору, как сочинителю, но не это было для него главным. Ему нужен был помощник на журнальную подёнщину. Обратите внимание: не заместитель — Шлепянов правил журналом сильной рукой, во всё вникал и всё решал сам, — а именно помощник. Почему в итоге я оказался помощником Шлепянова, не знаю до сих пор; Раппапорт был и образованнее, и умнее меня. Может быть, Шлепянов догадался о моей исполнительности и обязательности, увидел, что я, по бедности, готов батрачить за медные деньги, делать всю чёрную работу по журналу, до которой умный Раппапорт вряд ли бы унизился. Так и вышло: в течение двух лет я редактировал, корректировал, сокращал и дополнял поступавшие в журнал материалы, при аврале даже и набирал тексты на макинтоше в мастерской Аникста, да ещё и авторов находил. Качество приходивших статей было самое разное. Например, от сочинения *Сады Уэльса* некой Лидии Григорьевой остались ровно одни фотографии, а текст пришлось переписать начисто. Других приходилось переписывать не полностью, но основательно. Сколько помню, в мои руки попадали только два эссеиста, у которых мне ничего не хотелось поправить: Самуил Лурье и Александр Мелихов, оба с берегов Невы...

Вы спрашиваете: кто ещё делал журнал?

— Для искусствоведа Шлепянова важен был внешний облик журнала, не только наполнение. Всю иллюстративную часть выполнял художник и дизайнер Михаил Аникст. *Колокол* ведь был роскошный журнал, дорогой, на добротной бумаге, с картинками, включая и рекламу, тоже дорогую, пышную и роскошную. Конечно, над журналом работала и Галина Шлепянова, жена А. И. Шлепянова (не знаю, впрочем, что именно она делала), и Таня Костина, моя жена (помогала мне в качестве редактора и корректора, а один раз и как автор выступила). Больше — никто, если говорить о Лондоне. И, конечно, никакого редакторского помещения у журнала не было, каждый работал дома, получая и переправляя тексты через интернет. Авторы же у *Колокола* были отовсюду, со всего мира, благо знакомства у Шлепянова были обширнейшие, притом в кругу самом элитарном, где каждый второй пишет. Но и те, кого привлёк я, не оказались лишними. Среди них назову Александра Кушнера, Григория Померанца, Тamarу Буковскую, Владимира Ханана, Валерия Скобло, Владимира Френкеля.

Однако ж у Шлепянова была идея поручать составление отдельных номеров журнала писателям из разных городов. Один из лондонских номеров составил я под строгим присмотром Шлепянова (и Шлепянов остался недоволен моей работой). В Париже, если не ошибаюсь, составлял Аркадий Ваксберг, человек советской выучки и закалки; в Берлине — Вадим Фадин, тоже писатель серьёзный, не чета мне, выпестованный ещё субсидированной литературой; его я один раз слушал в Лондоне... Если же Вы о деньгах спрашиваете, то я не знаю, откуда они поступали и кто в этом смысле работал над журналом. Шлепянов уверял меня, что журнал — его частное предприятие, а мне было неинтересно доискиваться уточнений. Естественно, народная молва приписывала журнал Березовскому, и я однажды видел Березовского на праздновании семидесятилетия Шлепянова, даже рукопожатия Березовского сподобился, а при этом ляпнул какую-то бестактность, так что спустя несколько лет Березовский отказался дать мне интервью для другого издания. Слышал я, уж не помню от кого, что Шлепянов на *Колоколе* разорился, недаром ему пришлось потом переехать во Францию, где он жил десять лет.

Вы интересуетесь направлением журнала: ещё бы! Вы спрашиваете, критиковал ли я это направление.

— Не стану скрывать: о направлении журнала мне думать было осо-

бенно некогда. Я спины не разгибал (я ведь не только на *Колокол* тогда работал). Можно, если хотите, и так сказать: я за деревьями леса не видел. Затрудняюсь даже сформулировать это направление. Конечно, сразу было установлено, что журнал этот не литературный, но не чужд литературе, что он издаётся для людей думающих и образованных: для народа, не для простонародья. Конечно, уже самое название предполагало интерес к политике и критический подход к современности. Это всё не нуждается в пояснении. Но я видел и то, что журнал издаётся для богатых, что в привычном для меня кругу в России (тогда ещё была Россия, а у меня там был круг друзей) никто такой журнал купить не сможет — он был моим друзьям просто не по карману. Этим — да, журнал был мне чужеват, само я всегда жил бедно и богатых сторонился. Видел я и то, что *брюховка* занимает как-то излишне много места в журнале: взять хоть рубрику *Выпивка и закуска*... Но я ведь не от хорошей жизни журналистикой занимался. Я ведь печатался и в таких журналах, которых ни разу в руках не держал даже и с моими публикациями, не то что об их направлении не справлялся, — не до грибов было. Мой подход был незамысловат и один для всех изданий: я пишу по совести, не подлаживаясь, и если моё сочинение берут, значит, направление издания приемлемо.

Вы спрашиваете, спорили ли мы со Шлепяновым.

— Естественно, мы спорили и об авторах, и о материалах, и о словах. Вкусы, интересы и жизненные ориентиры у нас уж очень не совпадали. Но в наших спорах не было равенства, голос наёмного работника на сельщине мог быть только совещательным, не говорю уж о том, что Шлепянов был старше меня... У меня вызвало полную оторопь помещение в элитарный журнал плоского, насквозь советского рассказа Василя Быкова *Короткая песня* в плохом лондонском переводе с белорусского Светланы Макмилин. Рассказ, разумеется, был «о войне»: о партизанах на занятой немцами территории. Быков идёт проторённой дорожкой: грубый натурализм как имитация правды, герои «из народа» (необразованные), глупые, но сильные духом, и всё это — на подкладке из хорошо выверенной идеологической лжи. Ни одно художественное произведение никогда не показало нам страшной правды о Белоруссии: там погиб каждый четвёртый, но из каждых четырёх погибших трое погибло по вине Москвы, а из этих троих один был евреем. Обходить это молчанием — больше чем ложь. Берём другого Быкова с другой героизацией. Где один Быков, там и два,

ведь так? Дмитрий Быков является в журнале с фельетоном о Лимонове под названием — ни больше ни меньше — *Герой*: воспевает площадного крикуна и посредственного писателя, да ещё пресерьёзно утверждает, что «писатель не должен сидеть в тюрьме». Стало быть, если наша национальная гордость, какой-нибудь там лев Толстой или тигр Достоевский девочку изнасилуется или ножом кого пырнёт, то ему и закон не писан — так, что ли? Заметьте, что самая мысль об исключительности писателя, о его приподнятости над читателем, — насквозь советская, с тоталитарным душком. Я в ту пору ещё не понимал, что Дмитрий Быков, в сущности, очень советский человек; с ним ведь одно время большие надежды связывали... Да, я возражал Шлепянову, не соглашался с ним, но короной об пол хлопнуть не мог, это был не тот случай. По правде сказать, в Шлепянове мне чудилась какая-то примирительная терпимость к бывшим, к советским. От иных его авторов при этом ещё несло замоскворецким третьим Римом. Но ещё больше меня раздражали те, кто с языком не ладил. Сплошь и рядом люди норовили писать с прописной слово *родина* и даже словосочетание *советская власть*, да что там: и слова *президент*, *конституция*, *съезд*, *устав*. Иные заключали в кавычки все без разбора имена собственные, даже уникальные, типа Промгаз, Электросталь, потому что слышали звон, что все названия идут в кавычках. Иным приходилось толковать, что всякой открывающей паре кавычек должна отвечать закрывающая пара; что местоимение второго лица множественного числа никогда не пишется в литературе с прописной буквы, такое возможно только в письмах, это эпистолярная вежливость... Всё это может показаться мелочами, но отношение к родному языку — не мелочь, а дело совести. Как раз по этим мелочам проходит граница между советским и человеческим. Давно ли эти мастера культуры закавычивали слово *Библия*, и им стыдно не было? Я не в последнюю очередь потому перестал печататься в журналах, что мне надоело спорить с редакторской чернью, топчущей родной язык. Так вот: по таким магистральным будто-бы-мелочам у нас со Шлепяновым серьёзных размолвок не происходило, тут, спасибо ему, он обычно принимал мою точку зрения.

Но своих авторов он внедрял сильной рукой. И в политике мы расходились. Шлепянов готов был если не сотрудничать, то как-то взаимодействовать с новыми хозяевами России, которые, по мне, настоящую Россию предали. И эстетически мы со Шлепяновым не совпадали: я всю

жизнь презирал авангард во всех его проявлениях, а его тянуло налево, к Игорю Померанцеву и ему подобным...

Ваши вопросы, особенно вопрос о нашей со Шлепяновым непохожести, побуждают меня говорить о себе больше, чем мне хотелось бы в разговоре о Шлепянове, — получается, что я определяю Шлепянова, отталкиваясь от себя-любимого, — но ведь это ещё и разговор о *Колоколе*, где я участвовал и в который вложил что-то: этим оправдываю себя. О Шлепянове же и прямо скажу: он был человеком высшей степени своеобразным, самобытным и ярким, в привычные клеточки классификации не вмещался. О его внутренней культуре уже то говорит, что он — выпускник знаменитой Петришуле, одной из лучших школ Петербурга-Ленинграда. Возьмём теперь его страсть к собирательству, сделавшую его знатоком живописи и прикладного искусства. Он ведь тут самоучка, что особенно ценно, он умел выразить себя через найденные им картины и вазы, обладал превосходным вкусом и эстетическим чутьём, умел наслаждаться искусством. Никогда не забуду, как однажды у него в гостях я впервые увидел и взял в руки трость с вложенной в неё шпагой — и, конечно, разом очутился в XIX веке, в романе Дюма... Но вот как раз этой страсти к прекрасным предметам я начисто лишен, хоть и не знаю, от природы ли. Я вырос в бедности, работать пошёл в пятнадцать лет. Ни в моей ленинградской трущобной коммуналке, где я с женой и дочерью жил в одной комнате, ни в нашей скромной иерусалимской квартире, ни в нашем крохотном лондонском домике — для полотен на стенах нет и не было места, они не отвечали ни нашему достатку, ни строю нашей жизни, где всё всегда было подчинено выживанию.

Идём дальше. Шлепянов — сын советского театрального режиссера, он вырос и вращался в околотеатральном артистическом кругу, да и сам он — кинематографист, сценарист, — я же не люблю ни кино, ни театра, не знаю по именам актёров или режиссёров, самую профессию режиссёра держу под подозрением: ведь когда театр был велик (при Эсхиле, при Шекспире), ни о каких режиссёрах слуху не было. Скажу больше: общество, где актёр или режиссер — общественная фигура, не кажется мне здоровым. Не продолжаю эту тему, потому что это опять разговор обо мне...

Наконец, Шлепянов был предпринимателем, то есть человеком сильным, энергичным, властным, — я же «труд и глад» предпочитаю делу,

предполагающему управление людьми, да и денег не понимаю и не чувствую. Заметьте, что я с полным почтением отношусь к людям, умеющим делать деньги, вижу в этом искусство, а в его творцах природную одарённость, которой сам лишён. Я даже убеждён, что такие люди необходимы для процветания культуры, потому что они прямо или косвенно помогают выжить тем, кто предпочитает деятельности созерцание. Шлепянов меня кормил прямо, хоть и не даром. А могло бы и по-другому получиться. Родись я в нормальной стране, я бы, конечно, меньше работал на других, больше времени и сил мог отдать тому, к чему меня влечёт, да и лодырничал бы больше в моей бочке с выбитым дном, не надрывался бы ради копейки. Это всё Шлепянов понимал, от него я не раз слышал присказку «лень — гигиена таланта», которую он обращал и ко мне, и к себе, и к другим... Кажется, на ваш вопрос я ответил с достаточной полнотой. О том, что в литературе Шлепянов был эстетически левее меня, уже сказано. Не во всём соглашаясь, мы уважали друг друга. Прямых конфликтов или резких ссор между нами не было.

Вы спрашиваете, говорил ли Шлепянов о своих планах насчёт журнала, долго ли собирался продолжать выпуск журнала, и почему журнал прекратился.

Хорошо помню слова Шлепянова, меня совсем не обрадовавшие: «Ни одним делом я обычно не занимаюсь больше двух лет». *Колокол* и просуществовал этак два года с хвостиком, с середины 2001-го, считая инкубационный период, по октябрь 2003-го... Между прочим, о том, что *Колокол* прекратился, я узнал не от Шлепянова, а от знакомого журналиста, когда оказался в октябре 2003 года в Петербурге... Но закрылся журнал не потому, что наскучил редактору-издателю, а из-за финансовых трудностей. При этом ещё и другое нужно иметь в виду: Шлепянов прекрасно владел пером, его можно назвать писателем (скорее в западном, чем в русском смысле слова), но литература отнюдь не была его первым и единственным делом. Шлепянов любил менять занятия и места, *Колокол* — всего лишь одно из предприятий этого многостороннего человека... Вскоре после закрытия журнала до меня дошли слухи, что где-то в Италии Шлепянов вычислил и разыскал неизвестную картину Перуджино. Не знаю, так ли было на самом деле, но думаю, что живопись интересовала его больше литературы.

Что до примечательных реакций читателей на *Колокол*, о которых Вы

спрашиваете, то в одной из московских рецензий было написано, что журнал издаётся очень непрофессионально. Прочтя это, я разом увидел такого вальяжного «шефа-редактора» (так теперь в этом обезьяннике называют главных редакторов), взращённого под железобетонной надписью «Верной дорогой идёте, товарищи!». Им там, видно, образцовым журналом казался *Огонёк* Коротича, не к столу будь помянут. Профессионально ли издавался пушкинский, а потом Некрасовский *Современник*? Или Герценовский *Колокол*? Смешно и спрашивать. Журнал хорош в хороших руках и когда в него душу вкладывают. Профессионализм в футболе нужен. *Колокол* Шлепянова, что и говорить, не был литературным журналом, но, со всеми оговорками, печатал пристойные стихи и пристойную прозу, не Пригова, Льва Рубинштейна или Б. Акунина. В литературе же русской традиционно высок именно дилетант, не штамповщик: Лев Толстой, не Агата Кристи. К тому же это утверждение о непрофессионализме дышит неприкрытой завистью; Москва ведь — мировая столица зависти, не только лжи. И ещё одно входит там в представление о профессионализме: унификация, шаблонизация языка, отказывающая писателю в его первом и неотъемлемом праве творить язык, вручающая это право академическим чиновникам на зарплате, декретировавшим слово *интернет* писать с прописной, а слова *телевиденье*, *радио* и *канализация* — ни-ни, по-прежнему со строчной. Этим «шефам-редакторам» спустили сверху указание: писать не Би-Би-Си, как здравый смысл велит и всегда писалось, а с вывертом: Би-би-си, — и они угодливо и бездумно принимают этот вздор. Пишите тогда уж Мк, вместо МК, когда сплющиваете название *Московский комсомолец*; да ещё в кавычки это сокращение заключайте: вот будет чудно! Кажется, москвиты так и делают. А ведь сколько раз твердили миру: аббревиатура кавычек не терпит...

Но всё же тютелька правды в этой критике *Колокола* имелась. Журналу не хватало единообразия. Оглавления печатались в разных номерах как-то уж очень по-разному. Обложка журнала, с компьютерными рисунками Михаила Аникста, тоже меня не радовала (исключение — обложка первого выпуска), рисунки и иллюстрации внутри журнала раздражали и озадачивали, текст и имена на обложке иной раз плохо читались. И это ещё не всё. Журнал не стал регулярным, нумерация выпусков так и не сделалась прозрачной, даже порядок их установить не совсем легко. Будь журнал чисто литературным, подобного рода мелочи прошли бы незамет-

ными для читателя, дорожащего словом. Дилетантизм в литературе — святая святых, писатель всегда самозванец, он возникает из ничего. От журналистики ждёшь другого... Говорю всё это — и вижу редакцию московского *Нового времени*, где мне довелось побывать в 1997 году: эту ткацкую фабрику, этот прядильный комбинат, с десятками, если не сотнями служащих; нужно полагать, и с деньгами, по-московски неслучайными, украденными у народа. Понятно, что *Колокол* Шлепянова не мог тягаться с таким предприятием в профессионализме. Его делала горстка людей. Он был создан в расчёте на отклик, в том числе и финансовый. Отклик оказался мал. К 2001 году поднялась волна нового — нефтяного — патриотизма, и те, кто ещё вчера с угодливой улыбкой стелили ковровую дорожку всякому эмигранту, теперь вспомнили лозунг «у советских — собственная гордость». А ещё через несколько лет на Западе не осталось ни одного не купленного Кремлём независимого издания. Даже парижскую *Русскую мысль*, газету первой русской эмиграции, этот Левиафан проглотил... Шлепянов опоздал. Открой он *Колокол* на десять лет раньше, журнал стал бы громадным событием. Между прочим, герценовский *Колокол* оттого и стал событием, что появился вовремя: как раз после смерти Николая. И дальше всё шло по тому же сценарию: сначала умиление перед эмигрантами и благодарность им, затем — волна махрового патриотизма и реакции.

Была ещё и такая читательская реакция на шлепяновский *Колокол*: кому-то очень не понравилась моя статья *Прав ли Берлускони?* в первом выпуске журнала. Итальянец, помнится, сказал, что нельзя сомневаться в превосходстве европейской цивилизации над мусульманской, и весь мир возмутился в духе политической корректности. Я же пишу в той статье, что Белускони прав, но правда его сиюминутная: были столетия, когда мусульманская культура во всём превосходила европейскую, включая и образование, и технику, и права человека вплоть до свободы совести; и что ниоткуда не следует, что историческая чехарда кончилась, — две культуры опять могут поменяться местами. Ещё пишу, что неграмотный феллах, вообще говоря, может быть духовнее оксфордского профессора, что техника и электроника не приближают нас к Богу. На всё это, по-моему, и откликаться не стоило: расхожая журналистика, средней руки текст, написанный ради вознаграждения; но кому-то и он показался излишне парадоксальным. Шлепянов, между прочим, платил авторам гонорары,

это была его установка, и по тем временам неплохо платил, я за эту статейку сто фунтов получил, а на проклятых бибисях получал четыреста фунтов в месяц, — но, разумеется, его гонорары только в эмигрантской русской печати той эпохи могли казаться сносными. Печать эта была такова, что писателю каждый текст нужно было продать 6-8 раз, чтобы труд окупился, но ведь писатель редко бывает так ловок, редко обладает коммерческой жилкой...

Я, тем самым, уже начал отвечать на ваш вопрос, публиковался ли я в журнале. Да, там появилось у меня несколько материалов разного рода, в том числе и мои стихи во втором выпуске. Среди прочего я публикую там статью памяти Зинаиды Шаховской (1906-2001) и мою ленинградскую переписку с этой замечательной женщиной, которую я любил как мать, хоть и видел незначительность её дарования. Для меня она, не замаранная жизнью в Совдепии, сражавшаяся во французском Сопротивлении, была живой вестью из настоящей России — и она удостоила меня дружбы, даже своим литературным наследником хотела сделать...

В журнале были ещё напечатаны две рецензии за моею подписью. Шлепянов брал не всё из того, что я предлагал ему. Мою программную статью для первого выпуска, под названием *Кто тут Герцен?*, он отверг (точнее, кусками использовал в своей преамбуле, открывающей первый выпуск журнала), — предпочёл ей более созвучную ему статью *Четвёртый Колокол* Кирилла Кобрин, человека, ближе стоявшего к политике и к Москве, журналиста милостью божьей, автора очень способного (с которым я мог бы иметь личные счёты, если б мелочился)... В последующих номерах *Колокола*, обычно открывавшихся редакционной статьей, тоже имеются следы моего участия, но Шлепянов слышен в них отчётливее. Я вообще не рвался печататься в этом журнале, где работал, как уже сказано, копейки ради. Я в ту пору ещё верил в Россию и в «великую русскую литературу», сочинительству отдавался со страстью — то есть больше дорожил публикациями в *Звезде*, *Неве* или *Новом мире*, чем в глянце-вом журнале для богатых. Но я рад, что сумел напечатать там, пусть и го-меопатическими дозами, некоторых симпатичных мне авторов, в чей талант верил, в первую очередь петербуржца Валерия Скобло, поэта трудного и непонятого, а в те годы — и практически неизвестного (сейчас, к счастью, это уже не так).

На этом заканчиваю. Простите, что заставил Вас так долго ждать. Па-

мьять моя неповоротлива, а мне хотелось быть точным.

Почтительно, ЮК

7.02.17



Перечитываю в русском переводе *Женщину в белом* Вылки Коллинза: советское издание 1975 года, напечатанное в ленинградском отделении издательства *Художественная литература*, тиражом очень советским: триста тысяч экземпляров. Имя переводчицы было на слуху в дни моего детства и моей юности: Т. Лещенко-Сухомлина.

Точнее, я впервые дочитал эту книгу до конца. Тогда, в прошлом, она показалась мне скучной. Сейчас знаю наверное: не скука помешала мне дочитать книгу, а то, что на протяжении двух третей невероятно затянутого повествования читателю в художественной форме преподносят правду суффражисток: страшное бесправие замужней британской аристократки, живущей в имении, в замке, в стороне от общества, закона и свидетелей. Муж, окажись он садистом или преступником, мог вести себя по отношению у жене в точности, как Синяя Борода. Можно сколько угодно говорить себе, что у такого чисто английского романа, с непременно детективной частью, конец обязательно будет счастливым, но видеть это бесправие мучительно, оттого и книга не читается.

При чтении я отметил несколько ошибок известной переводчицы, тем более странных, что ей довелось жить в англоязычном мире, хоть и не в Британии. Не знаю, где уж она услышала, чтоб Lincolnshire произносили как Линкольншайр; в Британии говорят: Линкольншир. И район Лондона называется Клапам, не Клафем. И Гайд-парк по-русски не пишут как Хайд-парк: такова старая традиция, возникшая не на пустом месте: русское Г веками, до самого XX века, соответствовала английскому звуку Н, не звуку G. Переводчица не написала бы слова Клафем как перевод слова Clapham, если б хоть чуть-чуть была филологом. Английское ham в составных словах — обломок слова home, очаг. Переводчица слышала звон: i в открытом слоге будто бы всегда передаётся как ай; ph всегда передаётся как ф, — что на деле далеко не всегда так.

Но есть в книге ошибка, от которой дух захватывает. На странице 175 читаем: «монета времён Тиглата Пильзера»... то есть: Тиглатпаласара!

Выходит, в московском институте благородных девиц, из которого была выпущена переводчица, вовсе не преподавали историю... Или она училась плохо? Или иностранные языки легче даются людям, совершенно неспособным задуматься? Отчего переводчица не спросила себя, что это за человек был такой: Тиглат Пильзер? Ведь, кажется, не новость, что исторические имена в разных языках пишутся и звучат по-разному.

Конечно, и автор, Вылки Коллинз (не Уилки; по-русски это уродливо), тоже хорош. Не было монет в эпоху «Тиглата Пильзера»: ни одной монеты, ни в одной стране мира, ни при одном Тиглатпаласаре. Даже если взять Тиглатпаласара Третьего, то и он жил за два века до появления первой монеты. Ещё важнее, что в Ассирии и Вавилонии монетная система так никогда и не привилась. Деньгами там считалось только развесное серебро — всегда, до утраты независимости, до самого завоевания Месопотамии арабами в эпоху подъёма ислама. По сей день серебро и деньги в семитских языках выражаются одним и тем же словом: кэсэф. Деньги — только серебро. Отсюда и слова: касса, cash.

12.02.17

«ПРОСТИТЕ ЗА ПОЧЕРК»

...Ты спрашиваешь о переписке с Л., а я как раз ею занят: готовлю её для передачи в Гуверовский архив. Что о ней сказать? Началась в 1978 году, а главный обмен мнениями пришёлся на 1988 год, когда Л. обосновался в Бостоне, я мы ещё жили в Иерусалиме. Три соображения не упускай из виду, когда будешь читать.

Во-первых, мы с ним были серьёзные люди, к литературе относились серьёзно и в Россию верили (не вздумай смеяться!). Во-вторых, я мало кого любил в жизни больше, чем Л. ... а ведь давно уже, года этак с 2003-го, мы с ним знать друг друга не желаем. В-третьих, моя любовь к нему хоть и была, если верить его письмам, взаимна, а встречалась с одним препятствием, из-за которого всегда оставалась для меня мучением: замечательные мысли Л. плохо давались мне из-за его непроницаемого для меня почерка и почти столь же непроницаемой устной речи. Он, превосходивший (я думал) меня умом и талантом, был слишком быстр во всём; в беседе, в споре — проглатывал звуки; в письме, в рукописи — презирал графику, писал букву *m* двумя разными способами, забывал о запятых, ле-

пил тире вместо двоеточия, ставил подряд два однокоренных слова, что для меня совершенно затмевает смысл сказанного. Я на таких вещах спотыкаюсь и «становлюсь в пень».

Я просил его умерить пыл, и он взял себя в руки ровно на одно письмо, а потом вернулся к прежнему и кончал письма словами: «Простите за почерк». Сейчас с ужасом вижу: некоторые его прекрасные и всегда пространные письма 1980-х так и остались мною фактически непрочитанными. Но — лучше поздно, чем никогда: разбираю их сейчас с лупой в руках, сижу часами за экраном компьютера, с любовью и не спеша — дань нашей похеренной дружбе — переносу их в ворд буква за буквой, потому что, правду сказать, без этого переноса они и сейчас мне не даются... Могу вывесить их все, не спросив его разрешения; сетевая страница — не публикация. Но пока помещаю в сеть только одно, философическое, объёмом в 22-х страницы, которое он сам называет «литературным», то есть, нужно полагать, обращённым не только ко мне. Тут — его возражения мне по многим пунктам, главным образом — его критика моей статьи о Бродском, редкий пример такой критики, где есть о чём говорить. Что до моих писем к нему, то они у меня, вот чудо, сохранились не все, зато сохранилось самое первое, написанное в страшное, глухое, безнадёжное для меня время: в 1978 году. Помещаю все мои сохранившиеся письма к этому замечательному человеку. Я, в резком отличии от Л., никогда не был быстрым разумом Невтоном, я писал их медленно, почерк у меня отчётлив до неприличия, поэтому они выражают меня почти с тою же полнотой, что и мои стихи...

Подчеркну ещё одно: я очень признателен Л. за то, что он всегда ставил две точки над буквой ё, от чего теперешние москвиты глупейшим образом отказались.

24.02.17



Дочитываю, наконец, *Блуждающие звезды*; с отрочества не перечитывал, с 1959-го или с 1960 года, а в отрочестве, «на Гражданке»... на улице, которая называлась дорогой в Гражданку... там книга была без начала, отсутствовали (были оторваны!) первые главы, так что, можно сказать, впервые прочитываю...

Это лирика на фоне карикатуры. И, конечно, *Двенадцать стульев* вы-

шли из *Блуждающих звёзд*, как Афина Паллада из головы Зевса; даже «великий комбинатор» есть у Шолом-Алейхема, этот герой тоже остаётся ни с чем — и видит, как мимо него пронесётся настоящая жизнь.

Но карикатура чрезмерна. Она и оттолкнула меня в юности. Мне тогда не на что было опереться, я не знал еврейской жизни, не мог оценить, в какой мере эта карикатура лирична, зато уж после шести лет жизни в Израиле всё встало на свои места.

Карикатура чрезмерна, а лирика — замечательна, особенно хороши последние главы-письма. И портрет главной героини (Рейзл, Розы, Розалии) привлекателен и достоверен. Наоборот, главный герой, которым автор занят больше всего, схематичен и неубедителен. Великим актёром герой становится на пустом месте, из ничего, всё ему даётся шутя, и не видно, чтоб «искусство» (репетиции, поиски, да хоть чтение, общее образовательное развитие) занимали много места в его жизни. Нельзя стать великим драматическим актёром, если ты недоучка, главное же — при нехватке жизненного и душевного опыта, — а тут эта нехватка в глаза бросается; Лейбл-Лео выведен почти телёнком. Но и героиня написана безупречно. Уж больно быстро местечковая Рейзл становится великой певицей и свободной раскованной европейкой с французским, немецким и английским языками; уж слишком много дала ей консерватория...

Замечательно в книге ещё и её (книги) целомудрие; физиология приглушена, в нос нам не суётся, — не в ней дело! Душа, как ни поверни, на первом месте в жизни человека, даже когда ему кажется, что всё счастье в деньгах и вся жизнь в погоне за ними; даже в самых карикатурных персонажах это присутствует...

Это важно: у самых непривлекательных героев Шолом-Алейхема погоня за деньгами есть всё-таки погоня за счастьем, а не за деньгами ради денег (как у совершенно немыслимого еврея, выведенного Стендалем) и не за властью... Но этого не разглядеть из другой культуры. Для «русского человека» (каковым и я был в отрочестве) пародийная, карикатурная сторона книги рисует отталкивающий портрет еврейства...

В целом — да, не великая литература, но всё-таки — потрясающее чтение! Человек показал, что в еврейской литературе возможен роман, а ведь это отрицалось. И какое название! ... не отсюда ли мои детские стихи *Дорога звёздного огня*, как раз 1960-го года?

В указателях сплошь и рядом натыкаюсь на такое: «Алейхем, Ша-

(о)лом» (а то и без запятой, которую только недавно догадались вставлять в таких конструкциях). То есть: Алейхем — фамилия, а Шолом — имя! Писатель на букву А! Ничего глупее нельзя придумать. Шолом-Алейхем — цельная и нерасчленимая конструкция, одно слово, оно же и значащая фраза, первый смысл которой всем известен («здравствуйте», дословно «мир вам»), а второй смысл, тоже дословный, если помнить, что Шолом — вариант имени Шломо, Соломон, такой: «я — вам», «вот что я, Соломон, написал для вас: читайте на здоровье!». И, конечно, этот второй смысл был для писателя главным, потому что первый смысл — беден и едва только не примитивен.

Нет, Шолом-Алейхем — писатель на букву Ш.

28.04.17



Человек ищет любви: разве это не общее правило? А поэт (говорит Александр Блок) — это человек по профессии...

2.05.17

БОРОТЬСЯ ЗА МИР

Вот курьёз: советский человек эпохи Брежнева, «простой советский человек», пишет обращение к людям Земли с призывом... бороться за мир! Не сумасшедший ли он? Ведь его родное правительство только и занято что «борьбой за мир». Правда, делает оно это странно: через гонку вооружений, чрез громогласное и сладострастное создание оружия массового уничтожения в ущерб насущным нуждам народа, через военные провокации и прямую агрессию во всём мире.

А безумец вызывает к совести каждого, то есть — в обход родного правительства. Он распространяет текст в самиздате, не делая даже попытки напечатать его в газете или журнале. Не ясно ли, что этот призыв — во-тум недоверия правительству и режиму? что это документ антисоветский? Но тут комар носу не подточит. Как ни бездарна советская власть, как ни глупы заправилы режима, даже они понимают, что привлечь автора к суду за такую антисоветчину значит получить мировой скандал — и расписаться в агрессивности.

Между тем суд и ГУЛАГ тут, у автора за плечами. Недаром за день до

этого призыва он пишет меморандум, в котором наперёд отрекается от слов, которые могут быть вырваны у него в застенках, под пыткой. Как ни глупа власть, как ни бездарны судьи, в подлости и лжи они поднаторели; голь на выдумки хитра.

Призыв бороться за мир автор заканчивает вопросом, не требующим ответа:

«Спросите свою совесть, что вы, вы как личность, непосредственно и своими руками (и своим сердцем), сделали для предотвращения катастрофы, нависшей над человечеством; что вы, не по указке людей, от которых вы зависите, а своею доброй волей пожертвовали, оторвали от себя и своих близких во имя реальной *борьбы за мир*, дружбы, взаимопонимания между народами: что?»

Всем ясно: бороться за мир значит бороться против советской власти всеми средствами души. Не с оружием в руках бороться — потому что какой же это мир? это война, — а неучастием бороться. В тот день, когда неучастие станет массовым, подлый режим рухнет.

Чрезвычайно характерно, что ни автор призыва, ни вообще кто-либо вокруг до самого горизонта не видел в ту пору, что *советский* значит *русский* не в шутку, а всерьёз. Конечно, на Западе это были синонимы, но и там синонимичность шла с изрядной долей метафоричности, — а в Советии эти слова означали разное и для кремлёвских геронтократов, и для людей нравственного сопротивления. Знаменитый песенный вопрос «Хотят ли русские войны?» (с песенным же полуответом: «спросите у моей жены») был проникнут иронией к Западу: мол, не видят, что мы не русские, а советские!

И, конечно, ни автор призыва бороться за мир, ни кто иной не мог в 1982 году вообразить, что войны хотят именно русские. Русские тогда ещё были на свете. Их не стало — с ними было покончено — на рубеже тысячелетий. А те, кто присвоил себе имя вымершего племени, не очень вспоминают песню с ямбическим вопросом. Что и понятно. Если теперешние держатели паспортов РФ и впрямь русские, то кто же в мире хоть на секунду задастся вопросом, хотят ли русские войны? Ответ очевиден. Хотят.

17.05.17



Просыпаюсь с мыслью о том, что любимая у геологов песня Окуджавы *Ночной разговор* мелковата по исполнению и наполнению. Дурное начинается с первого стиха. Сказать: «Мой конь притомился, стоптались мои башмаки» — уже неосторожность, если не ляпсус. Конь притомится за три часа, при хорошем галопе за час, а чтоб стоптать башмаки, нужны месяцы, если не годы. Это ведь не новость, что обращение с временными формами — лакмусовая бумажка мастерства в поэзии, — и такой промах...

А наполнение! Отняли у бедняги веру в светлое будущее: «На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь», но — фонарщик-то спит, нету огня!.. Не то на Бога жалуемся, не то на Маркса. Короче говоря, стихи нехороши. Но струны делают своё дело. Песня — трогает. Сотни — под луной, под гитару — поют, тысячи слушают с умилением и со слезами на глазах. Сам-то я разве не умилялся?

Тут перестаёшь изумляться статуе неизвестному поэту над Волгой. Говорят, она в три человеческих роста, а имени, написанного на пьедестале, никто вспомнить не может; какой-то советский песенник...

Родись Блок в геологическую эпоху, его бы Городнички, Кукины да Визборы затоптали. Да что там! Даже — Лебедевы-Кумачи. Блоку повезло: ещё не было ни телевиденья, ни даже радио, главное же — не все были грамотны. Сам он с гордостью говорил, что у него — целая целая тысяча почитателей. А у этих — миллионы.

6.12.17



Чорт меня дёрнул читать по-русски в сети выписки из древнеримских авторов. Казалось бы, это всего-навсего компиляция; уж тут-то не должно быть хамства. Но компилятор то и дело вставляет своё словечко, и от иных оторопь берёт. Например, даёт такую конструкцию: «Цезарь, Гай Юлий» — и земля под ним не разверзлась. Невозможно сомневаться: человек думает, что Цезарь — фамилия, а Гай и Юлий — имена собственные! Не знает, что Юлий — фамилия императора... Нет-нет, я против де-

мократии. Я за крепостное право. Зачем рабов грамоте учили и чаем отпаивали?!

7.12.17



Был молодой греческий полковник, храбрый офицер, героически погибший в 1940 году при отражении попытки Муссолини захватить Грецию. В родном городе, в Халкиде на острове Эвбее, ему конный памятник поставлен — он там весь в бронзе, на постаменте, с саблей наголо. По стечению обстоятельств офицера звали Мордехаем Фризисом (Μαρδοχαῖος Φριζής), он был из евреев. Погиб Фризис уже на территории Албании (греки, вот чудо, отразили превосходящие силы итальянцев и выиграли эту войну), вблизи от албанской границы, в предгорьях Пинда.

Дополнив статью о Фризисе в Википедии, читаю про Пинд, а потом о происхождении словечка *пиндос* (американец на современном русском); по недосмотру читаю по-русски; статья кажется сносной; нахожу интересное — и вдруг натываюсь на такое:

«...Произошла встреча и длительное взаимодействие и знакомство двух основных цивилизационно-культурных компонентов современной белой расы: русского и англосаксонского...»

Не правда ли: мы попали в страну непуганых идиотов? Кем нужно быть, чтобы американцев назвать англосаксами (или хоть представителями белой расы), а русских — культурным и цивилизующим фактором? И какая дивная дихотомия! Прямо-таки манихейская: Добро и Зло, Свет и Тьма. Два равновеликих и непримиримых начала. Италияшек с их Леонардами, французишек с Декартами, немчуру с Бахами в счёт не берём. Гроция или Эразма в упор не видим; нету в белой расе племени, к которому их можно было бы отнести (даром что «русские» не дали ни одного человека такого масштаба).

Но нет, мы не туда попали. Мы не в Совдепии, мы в Путляндии. Человек, способный принять сказанное всерьёз, не то что об этимологии рассуждать не станет, он фразы с придаточным предложением не напишет. Перед нами — подлог, подтасовка. Автор — сексот на жалованьи. Такими словно бы нечаянными вкраплениями в статьи о погоде Кремль

готовит пушечное мясо. Кто же свою жизнь с радостью не положит в битве против мирового зла? Мы смело в бой пойдём... Пусть ярость благородная...

11.12.17

ВОПРОСНИК ОТ В-ВОЙ

Она пишет:

«В декабре проводим конференцию "Неподцензурная поэтика". Не согласитесь ли ответить на анкету? Ответы предполагаю опубликовать.

1. Неподцензурность для Вас была связана в большей степени с политикой или поэтикой?

2. Что означало неподцензурная поэтика?

3. В каком году для Вас начался / завершился период неофициальной культуры?»

Простите, г-жа В-ва. Ваш вопросник мне не по уму. Я не знаю, что такое поэтика. Раньше знал, да забыл, а справиться лень. Слова *неподцензурность* я не понимаю. Тем самым второй вопрос вашего вопросника для меня отпадает. Пусть отвечают те, кто поумнее. Но с политикой — всё в порядке; это слово я понимаю. Я аполитичен. Не читаю, не слушаю и не смотрю «новостей». Так было всегда. Я ни разу своей рукой не включил радио, за всю мою жизнь; в советском полуподпольи (да-да, на конце *и*; это не опечатка) — не слушал так называемых *голосов*. О важном узнавал и узнаю с отставанием, обыкновенно из агентства ОБС, если помните эту советскую шутку, да и то слушаю вполуха. Включаю телевизор только, чтобы смотреть теннис или снукер.

Трудности у меня и с пониманием неофициальной культуры. Мне тут чудится противоречие в терминах. Официальны ведь столоначальники, не поэты или художники. Культура вся неофициальна. В нормальном обществе начальство не имеет к ней отношения.

Если же Вы о моём прошлом спрашиваете, о стихах и о власти, то да, я в молодости сочинял стихи, и при большевиках меня почти совсем не печатали. Большевики боялись печатного слова, держали на него монополию; они думали, что «кровавые закаты» в моих стихах есть призыв к свержению советской власти. За стихи — сажали. Сгноили в лагере чело-

века, написавшего такую вот милую шутку:

Дайте мне женщину белую-белую,
Я на ней синюю линию сделаю.

При этом самого антисоветского поэта, Пушкина, превозносили и возвеличивали. Он же, конечно, и самый неофициальный поэт, один из самых неофициальных на свете. «Зависеть от царя, зависеть от народа...» Приведу и слова моего любимейшего современного поэта Владимира Френкеля (несомненного продолжателя Пушкина):

Хорошо, что я пережил советскую власть,
А другие власти меня не интересуют,
И о чем толкуют на улице, отродясь
Не имел понятия, и что там за ветер дует...(...)
Всё равно, кто правит, Цезарь или Помпей,
Или республика... Уж если требовать что у власти,
Так только это: не тронь моих чертежей,
И вообще отойди отсюда, солнца не засти.

Но, может быть, Вы о другом спрашиваете? О том, как лучше со словом обращаться? как следует рифмовать? Могу и об этом. В шесть лет я сочинял под Пушкина и Лермонтова, в четырнадцать лет был символистом, в семнадцать — футуристом, а в двадцать пять — консерватором, ретроградом; вернулся к Пушкину (но уже без Лермонтова). Я увидел, что рифма «кровь-любовь» есть языковая данность, устранить которую можно только вместе с русским языком, а рифма «кромешный-крылечку» (Евтушенко) — подлая; что такие рифмы нужны тем, кому сказать нечего, у кого душа пуста. Я и сейчас так думаю. В хороших стихах рифма не слышна, там не в ней дело. Подлая советская власть допускала подлую рифму «кромешный-крылечку» как умеренное фрондёрство, а любила — в точности как я, по случайному совпадению, — рифму «кровь-любовь». Тем самым у меня (и в 25 лет, и в 30 лет) не было эстетических расхождений с советской властью (стилистические, разумеется, были), однако ж эта власть, при всей её тупости, носом чуяла, что я ей чужой: неофициальный, не чиновник, и — не пуцала. Я и в том был согласен с советской властью (хотя и не в её терминах это согласие выражал), что любой авангард в искусстве — вздор, позорное малодушие, если не прямое при-

способленчество, даже в тех случаях, когда за ним стоит талант. Я считал и считаю, что место эксперименту — в лаборатории, место новаторству — на заводе, а душа человеческая ни того, ни другого не терпит и самый прогресс презирает.

Ваш третий вопрос тоже ставит меня в тупик. Периодов в моей жизни было два: когда я тянул в сторону дырбулщыла и когда я любил Пушкина. Ни смена власти, ни смена подданства никогда никак на моём отношении к слову не сказывались. На этом отношении сказался возраст: я больше не сочиняю. На нём сказалась политика: я больше не связываю себя ни с вашей страной, ни с вашим народом, ни с вашей словесностью. Культура — вместе с возрастом и политикой — тоже сказалась на моём отношении к слову. Я не имею ничего общего с людьми, переписывающими классиков, уродующими под себя Пушкина, Лермонтова и Некрасова; у вас ведь ни одного из них честно не издают. Русского языка с экрана я не слушаю уже сорок лет, а если случайно, в гостях, слышу, то он не кажется мне русским. По той же причине я не могу читать теперешних ваших авторов. Они мне кажутся хамами: не грядущим Хамом, а позавчерашними хамами. Скажу больше: я так состарился и так устарел, что ваша страна не кажется мне Россией; не тянет на это имя в моих глазах.

Вы собираетесь публиковать ответы на ваш вопросник, а я дал зарок не печататься в вашей стране, да и вам, вероятно, нелегко было бы напечатать этот мой ответ без искажений, — избавляю вас от этого: не печатайте; времена-то у вас не вовсе бесцензурные. Вот, кстати, ещё одна причина этого моего зарoka. Я не только не хочу иметь дел с народом, покрывшим себя позором, я не люблю, когда мне правят падежные окончания, вставляют прописные и кавычки, где им не место. Слово *интернет* с прописной буквы — политика это и или поэтика? У вас там от московских чиновников на зарплате вышел указ писать его с прописной, а я точно знаю, что это хамство; пишите тогда с прописной и слово *канализация*. У вас вышел указ писать с прописной местоимение второго лица множественного числа — не будь других причин, одной этой мне хватило бы, чтобы просить вас не включать эти мои заметки в ваш учёный труд. Я точно знаю, что местоимение *вы* пишется с прописной в одном-единственном случае: в частном, подчёркнуто вежливом письме к одному лицу (да и то не обязательно; классики не всегда этому следовали); что это —

эпистолярная, письменная вежливость, как «милостивый государь» и «ваш покорный слуга», а во всех прочих случаях это местоимение пишется со строчной. За это знание я пойду на костёр. В вашем теперешнем языке отменили предложный падеж для существительных на *-бе*; заключают в кавычки имена собственные, даже уникальные (типа Электростали); заключают в кавычки аббревиатуры; используют кавычки для придания слову иронического смысла. У вас усыхают флексии, так что, пожалуй, и «день Бородина» скоро станет читаться как «день Бородино». У вас теперь не оглашают, а озвучивают слова и мысли — как если бы для слов и мыслей вам потребовалась задница, а не голосовые связки; у человека ведь только два органа, которыми он издаёт звуки.

«3. Каких эстетических / художественных ориентиров вы придерживались?

4. Влиял ли факт публикации / непубликации на принадлежность автора к неофициальной культуре?

5. Значима ли для Вас была публикация: в официальном издании? в самиздате? в тамиздате?

6. Понималась ли Вами неофициальная культура единым движением?

7. Подразумевало ли для Вас понятие неофициальная культура качественную оценку?

Продолжаю через силу, г-жа В-ва; я ведь вышел из этого бизнеса. Когда я спал, пришла овца — Вы знаете эту историю — и съела венки из ботвы на голове моей, съела и сказала: Колкер не сочинитель больше. Обращайтесь к молодёжи. Стихотворение — это молодость мира, и его создавать молодым. Или Вы по старпёрам статистику наводите для диссертации? Тогда пожалуйста; по старой дружбе. Только я уже всё сказал, что знал. Могу повторить другими словами.

Ориентиров я придерживался разных. Сперва считал Хлебникова гением, потом не считал его поэтом (и сейчас не считаю), а глаз положил на Пушкина. В самиздат я не рвался, а был вытолкан, потому что меня перестали печатать в типографиях (заметьте, что и Бродский поначалу сделал всё, чтобы печататься в Совдепии). Ваш пятый вопрос не имеет смысла в отрыве от места и времени, от возраста и положения сочинителя, от его судьбы, включая сюда и подданство. В восемнадцать лет я был счастлив,

когда меня напечатала многотиражка политехнического института, в двадцать шесть лет — когда алма-атинский *Простор* дал целый разворот моих стихотворных упражнений, в тридцать пять — когда меня, ещё жителя Совдепии, впервые напечатал парижский *Континент*; но в сорок лет в тот же *Континент* я, уже израильтянин, отдавал не лучшие стихи и публикациями дорожил не слишком. Потом, будучи израильтянином и британцем, я радовался публикациям в *Звезде*, *Литературке*, *Новом мире* (то есть для меня — в тамиздате), но кипятком уже не писал. Потом я решил вовсе не печататься в Путляндии. Потом я умер; пишу Вам из-за Флегетона, здесь иногда разрешают.

На Ваш шестой вопрос отвечаю, что культура не бывает движением (а что культура всегда неофициальна, мы уже договорились). Это вам не *Avanti popolo alla riscossa*. У меня никогда не было ничего общего с Борисом Ивановым или Останиным, с Воронелем или Генделевым, с Довлатовым или Лосевым (см. мою переписку с ним), не говорю уж с Приговым... или с тем московским гением, который книги ножницами режет, фамилию его я забыл; кажется, Лев Рубинштейн? Тех, кто моложе, сочинитель обычно в упор не видит; это правило общее, я не исключение. В группы сочинители объединяются в молодости — и из малодушия. Измы — сродни моде, они тоже форма малодушия и приспособленчества.

Ваш седьмой вопрос я переформулирую, чтобы понять. Если Вы спрашиваете, была ли при большевиках прямая связь между талантом и гутенбергом, то я отвечаю: нет, не было никакой связи. В полуподпольи было ровно столько же бездарностей, что и на поверхности: тютелька в тютельку. Таланты и бездарности стояли «Плечом к плечу» (по названию книги Глеба Семёнова). Рядом с талантливым Кушнером членствовал в союзе писателей бездарный Антонин Чистяков, рядом с талантливым Стратановским геройствовал в самиздате посредственный и только что не бездарный Кривулин, человек по складу своему официальный: он хотел быть начальником поэзии. В 1971 году лучшие стихи в Ленинграде писали Кушнер и Житинский, как поэт непризнанный, и оба печатались. Бродский — в числе лучших поэтов эпохи Бродского, но как поэт он едва ли значительнее Кублановского, который, однако, совершенно не годится в эпонимы; другими качествами не вышел. Очень бы не мешало поставить рядом с этим Вашим вопросом (если я его правильно понял) другой: о совести, которая не всегда сопутствует таланту; о готовности и умении

работать локтями. По этой части в самиздате было ровнёхонько то же, что и в царстве гутенберга. Это были сообщающиеся сосуды. Компрене-ву?

Вот и всё, что могу сказать. Не печатайте этих слов. Я — не часть вашей речи. Мой зарок остаётся в силе.

Вместе с тем всё только что мною написанное — не частное письмо, а рассчитано на публикацию. Если хотите, можете *огласить* эти мои заметки на вашей конференции; и (или) отпечатать их на принтере так, как они мною написаны, и предлагать на прочтение желающим, если таковые найдутся, — а в книгу не включать. Если же и это окажется трудным, не расстраивайтесь. Я ведь это не для Вас писал, а для себя и моих близких.

14.12.17



...ты просишь присылать тебе страницы моего дневника, но он — преимущественно событийный, я веду его для памяти, для себя. В конце дня, случается, помню, что я делал полвека назад, поскольку я весь обложен моими рукописями той поры, а того, что делал утром, не помню. Что же до, как ты выразилась, мыслей (спасибо за комплимент), то они беспорядочны... Однако будь по твоему: попытаюсь как-то их выстроить. Может, и мне эти выписки пригодятся, послужат напоминательными закладками, потому что в дневнике чорт ногу сломит... Помнишь, у Георгия Адамовича были выписки в этом роде — под названием *Оправдание черновиков*? Дивное чтение!

...На фэйсбуке, говоришь? Нет, от этого уволь! Не хочу чужих голов, хватит с меня. В молодости, ты помнишь, я был общителен, каждому встречному спешил руку протянуть и объятия раскрыть, ну и нахлебался. Старость, по Боратынскому, «люблю за право на покой». В гадостные места без крайней нужды не хожу. Русский спор ведь сама знаешь какой. Ты говоришь человеку: А равно Б, а тебе отвечают: сам дурак! Без личностей не могут. На всякую непривычную мысль обижаются. Логика в школе не проходили.

И это ещё не худший случай, это у интеллигентов так, а то ведь там частенько на довод отвечают обухом. Нет, я не стану заводить разговор с теми, кто неспособен отчётливо мыслить и не умеет двух фраз культурно

составить на родном языке. Пусть резвятся без меня. В эти ясли я не хожу...

23.12.17



Нонна Азарьян жила у Светлановской площади; умерла молодой, около сорока, в 1971 или в 1972 году... скорее в 1972. Болела страшной болезнью: рассеянным склерозом. В последние годы не то что к постели была прикована, а могла только головой двигать, говорила едва слышно, на выдохе... Ужас! Но и чудо: немногие на моей памяти умели так радоваться жизни, как эта бедная женщина. Вот её буквальные слова: «Жизнь так интересна!» Нонна была хорошо образована, друзья приходили к ней с рассказами, обсуждали выставки или театральные постановки, читали ей книги. Ухаживала за Нонной мать, это был каторжный труд, больную каждый день приходилось поднимать и мыть, чтобы не возникли пролежни... Никакой помощи ни от государства, ни от общественных организаций не полагалось.

Меня привели к Нонне в начале 1970 года, зимой. Она с живейшим интересом принялась меня расспрашивать о моей жизни и увлечениях. Улыбка не сходила с её лица, а у меня сердце сжималось. Едва мы успели познакомиться, она предложила: «Давайте читать детские стихи Цветаевой!» И мы читали, тут наши вкусы сходились, но больная быстро устала. Первой это заметила моя спутница, умевшая прекрасно читать стихи и прозу, обладавшая (и всё ещё обладающая) прямо-таки терапевтическим голосом. «Пора!» — кивнула она. Мы начали собираться, но тут Нонна попросила меня прочесть что-нибудь из моих стихов. Я прочёл длинное стихотворение, в котором изображаю себя учеником и слугой Пюви де Шаванна (Pierre-Cécile Puvis de Chavannes). Нужно было видеть, как Нонна слушала! Когда я закончил, она воскликнула: «Да ведь это почти профессиональные стихи!»

В то время — в том месте — это означало похвалу. Литература делилась на профессиональную (субсидированную) и гонимую (полуподпольную), а я не принадлежал ни к какой, и не только по молодости и нелюдимости: стихи были как-то излишне угловаты и мало кому нравились. Моя спутница премило обиделась за меня: «Как это почти профессиональные!

Совсем профессиональные!» Она, как и Нонна, да и я с ними, тоже думала, что поэт должен быть профессионалом, то есть — зарабатывать на вдохновении, кормиться от вдохновения! Как давно это было!

Как раз в 1971 году я сделал-таки пресерьёзную попытку стать профессионалом: вместо диковатых фантазий вроде стихов о Пюви стал трудолюбиво сочинять аккуратные катрены без петухов. Сам я считал это всего лишь упражнениями в чистописании: в благопристойности, в приличии, в обуздании поэтических безумств, никому вокруг не понятных, а своё настоящее откладывал и приберегал, — мол, от меня не убудет. Такими прилизанными катренами я написал, например, балладу о Хлебникове (и никто не увидел в этом затаённой насмешки). Затея моя удалась: меня начали хвалить и печатать. Одно из таких упражнений было посвящено и Нонне...

И вот недавно Нонна мне приснилась... Во сне она совершенно здорова, сидит на выдавшем виды венском стуле в нашей коммуналке на улице Воинова, у её ног — наша дворняжка Мутти с вопросом на лице, годовалая Лиза спит в углу в своей кроватке с балюстрадой, Т. К. угощает Нонну чаем с вареньем, а Нонна смотрит на меня грустно и говорит: «Спасибо, конечно, я тронута вашими стихами... Но ведь они вполсердца написаны...» Я молча слушаю её и обливаюсь слезами...

27.12.17

2018



Разумеется, *Dichtung und Wahrheit* — что угодно, только не *Поэзия и правда*. Какой глупый перевод! Как он унижает немецкого классика! (К слову, сам Гёте не допускал и мысли, что кто-то из современных ему немецких писателей — не то что он сам! — считает себя классиком или метит в классики.) Его выставляют идиотом. Правде противостоит ложь, но разве Гёте хоть на минуту считал поэзию ложью? Он считал её высшей правдой. Вот тому свидетельство из одиннадцатой книги *Aus meinem Leben; Dichtung und Wahrheit*: «Первейшая задача всякого искусства — возвысить обыденное. Но ошибаются те, кто стремится низвести (довести) искусство до прямой обыденности» (*Die höchste Aufgabe einer jeden Kunst ist, durch den Schein die Täuschung einer höheren Wirklichkeit zu geben. Ein*

falsches Bestreben aber ist, den Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirkliche übrig bleibt).

Правильный перевод автобиографии Гёте — *Поэзия и повседневность, Поэзия и явь, Поэзия и порядок вещей, Поэзия и проза жизни*, даже — на худой конец — *Поэзия и добропорядочность*, потому что первый смысл *wahren* — соблюдать. Про *Aus meinem Leben* переводчики забыли! решили, что две части целого никак не связаны.

23.01.18



Приятельница с гордостью говорит мне, что раз в неделю обязательно ходит «в джим». А я ей отвечаю, что считаю это величайшей глупостью. Тратить время и силы на пустые движения в обществе чужих людей, под чужую, не тобою выбранную, всегда противную и орущую во всё горло музыку? Тратить — и ещё вдобавок платить за это?! Увольте! Хочешь делать упражнения, займись уборкой в доме. Сэкономишь на уборщице и «на джиме», работать будешь на себя, а не на дядю, все твои наклоны и подъёмы будут осмыслены, и ведь никакая уборщица не сделает уборку лучше тебя! Ты знаешь свой дом лучше, знаешь всему место. Сэкономишь время, которое дороже денег! Нервотрёпки будет меньше: ни чужого человека в доме, ни поиска предметов, неизвестно куда засунутых. Гимнастика, между нами говоря, вообще глупость во всех своих видах, и глупость чисто немецкая, отдающая дурным педантизмом. Если тебе скучно мыть полы, а мускулы играют, займись игровым спортом в компании тобою выбранных партнёров — хоть тем же пинг-понгом. Спорт, занятие соревновательное, весел и осмыслен. Тут и заплатить за аренду стола не жалко. А сколько бесплатных возможностей! Бесплатные площадки для большого тенниса, для футбола, для бадминтона — называю первое, что вспомнил, — они повсюду, по всей Британии... Вот если ты ходишь «в джим» ради общения и, смешно вымолвить, ради престижа, — тогда другое дело. Тогда так и определи это занятие перед собою и другими, а дурака не валяй. Да и не «в джим» ты ходишь, а в гимнастический зал, если уж мы по-русски говорим... Кстати, как занятно, что спорт по-турецки передаётся словом *spor*! И как близко к этому русское слово

спор... Мне сейчас лень копнуть глубже, а тут любопытное могло бы открыться.

24.01.18



Вот занятная газетная вырезка со стихами Антонина Чистякова. Я нашёл её в 2013 году, в посмертном архиве подруги, в её квартире в Луге (улица Победы 8-77)...

РОДИНА

Ф. АБРАМОВУ

Родились мы
Под холодной синью
На земле,
Где колкое жнивье,
Где невзгоды все переносили
Коренные пахари ее.
Где нелегко пласт ее подзольный,
Где себя мы в черствой борозде
На сохе
До кровавых мозолей
Распинали,
Словно на кресте.
Пласт помягче мы не выбирали,
Не искали края потеплей...
Сеяли и в сечах умирали —
Все — во имя Родины своей...
От ее земли и хлеба-соли
И от родословной всей
За зря
Имя родины мы не мусолим,
Слогом,
Словно яблоком,
Хрустя.

Мы корнями,
Кровью — в ней...
Но странно,
О любви своей
не говорим:
Все сказали фронтовые раны
И потом —
Добавленные к ним.

Стихи написаны в советское время (автор Антонин Чистяков в 1981), вырезка — из газеты *Лужская правда*; вероятно, 1970-х годов; стихотворение публикуется не впервые, это перепечатка: Антонин Фёдорович Чистяков был членом ленинградского отделения союза писателей и до лужской многотиражки сам бы не унился. Стихи как стихи, не так ли? Вполне в духе тогдашнего русско-советского патриотизма. Ничего дурного? Кто же не любит родину! Или...?

Перед нами какая-то странная любовь: любовь от противного. Автор кому-то возражает, чем-то недоволен; родина (непреренно с прописной в духе советского фетишизма) ему мила и драгоценна, но что-то в ней не так. Может, сталинские репрессии, миллионы невинных жертв? Куда там! «Пласт помягче мы не выбирали, не искали края потеплей... Имя Родины мы не мусолим, слогом, словно яблоком, хрустя...» Родину, оказывается, любят не те, кому положено! А венец всему — концовка: после войны к фронтовым ранам добавились ещё какие-то раны.

Вот концовка-то и позволяет, мне кажется, датировать это стихотворение, которое ко мне попало и в сети вывешено без даты: оно, скорее всего, написано в конце 1958 или в начале 1959 года, когда травили Пастернака. Нобелевская премия еврею, пусть хоть десять раз крещёному и наследственному православному (то есть, собственно, уже не еврею), — вот рана для «коренного пахаря». «Слогом, словно яблоком, хрустя» — прямо указывает на Пастернака, у которого согласные хрустят («работают», по определению самого поэта), как ни у кого другого... Да и один ли только Пастернак так досаждаёт пахарю своей любовью к родине?! Вона их сколько! В одном только союзе писателей ленинградском — половина. Отчего не пашут?

Коренные пахари, это нужно признать, горько страдали от зависти к людям более одарённым. Тема зависти — основная тема русского двадца-

того века. Совдепия родилась от зависти. Большевизм, плод русской крестьянской жизни, хоть и в марксистском фраке, — взлелеянное чадо этой зависти. Другое её чадо — нужда во враге, внешнем и, особенно, внутреннем, и уж здесь евреи — сушая находка. Внутренний враг подыгрывает внешнему, отсюда легенда о том, что евреи не воевали, которая для Чистякова — сама очевидность.

Сейчас, слава богу, есть цифры. Мы знаем, что евреи были лучшими солдатами на всех пяти антинацистских фронтах; что в Красной армии евреев в процентном отношении к численности народа было больше, чем русских. И насчёт героев Советского Союза знаем: евреи шли на первом месте до середины 1943 года, до специального указа: больше им не давать; да и после указа на втором остались, далеко впереди украинцев. И слова кой-какие дошли до нас, хоть и с большим опозданием, потому что замалчивались; например, слова католика де Голля: «Синагога дала больше бойцов, чем церковь». Зря Чистяков о фронтовых ранах заикнулся. Вот уж промашка так промашка.

Бедные, бедные коренные пахари! Ведь даже в этом им отказано, — в том, что они коренные. Коренными в Киевской Руси оказались как раз евреи; они жили там до прихода варягов, когда о русских и слуху не было, — теперь ведь и этого нельзя отрицать. Чистякову не позавидуешь...

И мне тоже не позавидуешь. Я — Чистяков по матери. Антонин Фёдорович Чистяков родился в 1925 году, а Валентина Фёдоровна Чистякова, моя мать, — в 1913 году. Вряд они брат и сестра; это возможно только теоретически. Мой дед, большевик Фёдор Иванович Чистяков, орудовал в Ярославской губернии, до Новгородской, до деревни Сушилова, в 1924 и в 1925 году как будто бы не дотянулся; сведений об этом не сохранилось, мать о единокровном брате не упоминала...

Не позавидуешь, да... Я вырос в сознании, что я русский, гордился этим, любил Россию, грезил о её будущем, трудился и рисковал ради этого будущего в антибольшевистском сопротивлении, и вот, спасибо Антонину Фёдоровичу и прочим добрым людям, дожил до того, что слово *русский* вызывает у меня отталкивание, а то и отвращение.

Но в другом смысле (спасибо тем же добрым людям) мне как раз можно позавидовать: я свободен. Свободен вообще, как немногие, в частности же — свободен от национального мифа. Антонин Фёдорович, будь он мне даже родной дядя, по своим умственным и нравственным каче-

ствам был моллюск, но ведь умнейшие и достойнейшие люди тоже сплывали на этом оселке. Вот что пишет убелённый сединами Иоганн-Вольфганг Гёте: *Der Deutsche, gut- und großmütig von Natur, will niemand gemißhandelt wissen.* То есть: «Немец, добрый и великодушный по самой своей природе, никого не хочет видеть угнетённым и униженным...» Что тут скажешь? Поэзия и правда! Больше нечего.

12.02.18



Вот моя «книга черновиков» под гордым названием *Возрождение*. Черновики стихов. Даты: с 14 сентября 1968 по 4 октября 1970 года; 168 страниц. Возрождение, и престранное, началось для меня как раз после её закрытия, в ноябре 1970 года... Теперь книга принадлежит Гуверовскому архиву при Станфордском университете, а мне остались копии...

Скопировал я и заднюю обложку, где изнутри вклеена статья из газеты *Правда* 1969 года под названием *У Картахены сносились башмаки*. Речь — о колумбийской Картахене. Автор — некто В. Боровский; место написания статьи — Картахена-Москва. Зачем я вырезал и вклеил эту статью полвека назад? Не из-за правды, конечно; я уже понимал, что в *Правде* всё ложь. Вряд ли и из-за *Одиссеи капитана Блада*, где пираты захватывают Картахену. Скорее из-за башмаков, навеянных стихами. При въезде в этот колумбийский город установлен удивительный монумент: громадные бронзовые ботинки (Боровский называет их бетонными!). Один лежит боком, другой стоит, и в этот второй — ради забавы и памятных фотоснимков — залезают туристы. Автор правдинской статьи приводит стихи Луиса Карлоса Лопеса (1883-1950), вызвавшие к жизни памятник:

Ты был героическим, город,
Гнездом орлов королевских...
А ныне можешь внушить умиление
Разве что так, как нас умиляет
Пара заслуженных старых ботинок...

Ясно: в 1968 или 1970 году я был потрясён и восхищён этим душевным движением колумбийцев, их мягким юмором, их умением усмех-

нуться над собою... надо ведь помнить, что Совдепия была страной анекдотически... нет, скорее апоплексически серьёзной! И ещё тем я был тронут, что поэт удостоился такого отклика. Чего я тогда не понимал, так это того, что город, ставящий такой памятник, — благополучен, внутренне здоров... не то, что поганый Ленинград с его бездарными болванками Кирову, Добролюбову, Горькому, Ленину... Не понимал, да; не мог сформулировать, но всё-таки чувствовал...

Слава Богу, сегодня можно прогуляться по улицам Картахены, не вставая из-за письменного стола. И прочитать о её прошлом. В марте 1741 года британская армада в 196 кораблей и транспортных судов с экипажем чуть ли не в 24 тысячи человек, при почти трёх тысячах пушек, пыталась взять Картахену приступом — и не смогла, а защищали город, пусть и хорошо укреплённый, всего три-четыре тысячи солдат и моряков. Что тут скажешь! «Гнездо орлов королевских», по выражению Боровского. Возглавлял оборону дон Блас де Лесо-и-Олаварьета (Blas de Lezo y Olavarieta), бывалый адмирал (almirante; как чувствуется в этом слове вековая близость мавров!), воин, изувеченный в битвах: у него недоставало руки, ноги и глаза. Герой несомненный... Впрочем, прославленный только после смерти, да и то столетия спустя, — воспетый целой литературой о нём, а потом и памятниками на площадях в Картахене и Мадриде возведённый; тут к слову сказать, что ещё в XIX столетии памятник, изображающий калеку, был делом невозможным... Дон Блас посрамил Британию! Он-то, видно, и есть главный королевский орёл в переводных стихах Лопеса...

И стихи Лопеса, спасибо интернету, сейчас тоже легко найти, не вставая из-за стола. Вот они:

Noble rincón de mis abuelos: nada
Como evocar, cruzando callejuelas,
Los tiempos de la cruz y de la espada,
Del ahumado candil y las pajuelas...
Pues ya pasó, ciudad amurallada,
Tu edad de folletín... Las carabelas
Se fueron para siempre de tu rada...
Ya no viene el aceite en botijuelas!
Fuiste heroica en los años coloniales,
Cuando tus hijos, águilas caudales,

No eran una caterva de vancejos.
Mas hoy, plena de rancio desaliño,
Bien puedes inspirar ese cariño
Que uno le tiene a sus zapatos viejos...

Видим, что это сонет... но не видим, чтобы в нём водились королевские орлы. Águilas — точно, орлы; caudales можно перевести как могучие, повелительные... даже богатые. Откуда королевские? А вот откуда: из зоологии. Существительное caudal, при первом значении *достояние, изобилие*, — ещё и такое значение имеет: королевский орёл. Но это — только по-русски так; в испанском языке этот орнитологический термин начисто лишён какого-либо монархизма. Нет в нём короля. Кремлёвский орёл Боровский не знал испанского или знал его очень приблизительно. Чтобы найти это десятое значение слова, он заглянул в словарь и ухватился за нечто псевдопоэтическое, поэтом вовсе не предусмотренное... А если вспомнить, что ботинки при въезде в Картахену он называет бетонными, то и вовсе дурное можно заподозрить: бывал ли он в Картахене?

Правдец Боровский ещё много правды наговорил в своей статье. Он устраивает нам экскурс в историю: рассказывает, как (цитирую) «английский агент Уильям Уокер провоцирует на острове Кемада революцию негров-рабов, завезённых испанцами для работы на плантациях сахарного тростника. Освободившись от испанского господства, Кемада тут же попадает под английский контроль, и Британская сахарная компания захватывает четыре пятых плантаций».

Говорит это Боровский со слов итальянского режиссёра Понтекорво (брата сбежавшего в СССР физика-коммуниста), который тогда снимал в Картахене фильм *Queimada*, хоть и художественный, но очень идеологизированный. Говорит Боровский так, как если бы сюжет фильма не был выдумкой. Вот где Боровскому следовало бы заглянуть в энциклопедию!

Исторический William Walker (1824-1860) ни на крохотную секунду не был ни англичанином, ни агентом. Он был американцем (родился в штате Теннесси) и не служил никому, только себе. Он в четырнадцать лет окончил университет — и как? с отличием (*summa cum laude*), от чего дух перехватывает. Он был врачом, юристом, журналистом, расистом и авантюристом, пожалуй, и негодяем, но очень в духе времени и места. Он заслужил прозвище флибустьера. Он, пусть и как узурпатор, был в течение года президентом Никарагуа (страны ключевой; вся торговля Нью-Йорка

с Калифорнией шла тогда через Никарагуа; другого пути не было!), а до этого — президентом и ещё двух банановых республик, ныне не существующих. Он был расстрелян правительством Гондураса в возрасте 36 лет... Выдумка Понтекорво нехороша. Откуда взялась Британия?! Исторический Walker как раз угрожал её интересам в этом уголке мира...

В статье кремлёвского орла ещё много разной подобной правды. И язык хорош. «После по-испански любезного и высокопарного вступления хозяин и гости подвергли меня горячим, бурным, пристрастным вопросам о мире, жизни, нашей стране. Расстались мы друзьями; мне кажется, я приоткрыл немного железный занавес несусветной клеветы, которым долго отгораживали от этих людей правду о социалистическом мире...» Сейчас бы этот добрый человек написал так: «правду о православном мире», а изголодавшиеся по правде «хозяин и гости» слушали бы его благую весть с той же верой и надеждой на светлое будущее...

Незачем говорить, что Боровский не понимает имени города: пишет, что Картахена-де-Индиас названа так в честь знаменитого порта в Испании, — а что Картахена по-испански — Карфаген, и что «знаменитый испанский порт» назывался Новым Карфагеном две с лишним тысячи лет назад, ещё при Гамилькаре Барке, когда об испанцах и слуху не было, это кремлёвскому орлу невдомёк. Всё равно, спасибо ему — через полвека с хвостиком. Никто, никто на всём белом свете не читает сейчас эту его статью, не помнит о ней (да и о нём), — только я...

А сколько интересного я прочёл в связи с нею! Сколько понял и вспомнил! Среди прочего — и о многовековой обоюдной ненависти двух народов, англичан и кастильцев. Итальянский ирландец Сабатини донёс её отголоски до середины двадцатого века. Его испанцы в *Одиссее капитана Блада* — все как на подбор идиоты и негодяи. Теперь вижу, что это предвзятое отношение не осталось без взаимности. Дону Бласу, героическому защитнику Картахены, приписывают слова о том, что каждый добрый испанец должен помочиться на англичанина.

Спасибо и Луису Карлосу Лопесу. Я полистал его стихи. Поэт он был не ахти какой, немножко французил, откровенно работал под парнасцев: как они, упивался формой сонета; ради рифмы, случалось, гнул в бараний рог смысл... Вот ещё что мне пришло в голову над его стихами: русское слово *мегера*, которого не объясняет Фасмер, пришло из испанского: по-испански *mujer* — женщина... Может, для испанистов моя догадка —

дважды два четыре; а может, и не для всех; мне довелось (в 1998 году, в Чикаго) беседовать со специалисткой по английскому языку, которой никак не давалось очевидное: что bishop — искажение слова епископос (епископ).

Перевожу сонет Лопеса о Картахене с возможной точностью... однако ж не итальянским сонетом (он же и испанский), а сонетом английским. Сознаю, что в этом — большая вольность, лишаящая мой перевод самостоятельного значения. В русскую книгу Лопеса такой перевод не поместишь. Но есть тут и выигрыш. Итальянский сонет по-русски что эклер в патоке, английский — оставляет место естественности и живому чувству.

О доблести отцов, об их отваге
Молчат твоих проулков кирпичи.
Не вспомнишь тут времён креста и шпаги,
Эпохи серной спички и свечи.
Ты сник, мой город-крепость! Стены целы,
А блеск бывшего схлынул без следа.
Теперь ты захолустье. Каравеллы
Ушли с твоих причалов навсегда.
Ты встарь геройствовал. В морские дали,
В просторы неосвоенных краёв
Твои питомцы гордые взмывали
Орлами, а не стайей воробьёв.
Теперь — ты сердцу мил, как жили-были,
Как башмаки, что срок свой отслужили.

Другая вольность или неточность та, что я приношу в жертву «масло в кувшинах», el aceite en botijuelas, а с ним — и аромат испанского средневековья в слове botijuelas...

Между прочим, у Лопеса этому сонету предпослан испанский эпиграф из Эредиа (парижанина, родившегося на Кубе): Ciudad triste, ayer reina de la mar. То есть: *Грустный город, вчера царица морей...* это, конечно, о Венеции, я даже проверить ленюсь, так это очевидно. Но сравнение не работает, и эпиграф кажется мне лишним.

26-27.02.18



За иными находками далеко ездить не нужно... Десятилетиями я держал в памяти (и в папке под названием *Рептильная лира*) первые восемь строк этого стихотворения, написанного мною мальчишкой, в Чехии, над рекою Сазавою, 9 июля 1966 года; сегодня — нашёл его целиком у себя в закромах... в тумбочке у постели. Это было переживание!

Уходят лозунги и гимны,
и остается как-то вдруг
чужое слово ностальгия,
бесповоротное, как труд.
И облака идут над Прагой.
И дождь. И плачет город Ждяр.
И невзначай взрослеешь на год
за сутки чешского дождя...
Потом светлеет.

Так красиво,
спокойная, приходит ночь...

Но вот

движение России
я ощущаю за спиной —
и вдруг становится нелепым
всё наше вне её границ,
и остывают краски лета
и пустоты не объяснить,
и жутко-жутко, до озноба,
до белых ямбов
мысль — а вдруг?! —

Но —

в Чехии дешевле обувь!

Но —

в Чехии дороже труд!
И за рубаху из силона
берут каких-то сотню крон,
и, процветающий,

исконно

демократичнее закон,
и — ... обо всем не хватит силы —
ну, право, это рай земной...
Россия, вечная Россия,
встает, как время, за спиной...
Россия, — блудным есть ли право
теперь в глаза твои взглянуть?...
... Гроза. Стоит гроза над Прагой.
Наш поезд через пять минут.

Что тут скажешь?! Вот я какой был! Не представлял себе жизни без России! Невозможно не видеть, что эти безыскусные, ещё совсем детские стихи написаны со всей мыслимой искренностью, с живой, подлинной страстью...

Я вот что тут скажу: я горжусь. Горжусь собою тогдашним. Да, я был ребёнком, в двадцать лет не понимал того, что уже почти все мои сверстники поняли; но я был продуктом среды — и собою. Я жил по совести. И я рисковал, между прочим. Эти патриотические стихи не то что напечатать было немислимо в ту пору, за них в Гулаг можно было угодить. Как это «в Чехии... демократичнее закон»?! Сталинская конституция — демократичнейшая в мире. И путь построения социализма только один: наш, советский (читай: русский).

Когда в 1979 году я составлял *Рептильную лиру*, составлял наскоро, потому что уже чувствовал занесённый над собою топор, я выбросил все стихи в этом стихотворении, начиная со стиха «Потом светлеет...». Совдепию я уже люто ненавидел, Россию — всё ещё любил; собирался служить ей, на воле или в лагере. Волошину («С Россией кончено!») не верил.

Но я и собою теперешним горжусь над этой рукописью: не прячу неслестное, не приукрашиваю себя тогдашнего. Пусть с опозданием, а всё-таки я понял, что такое Россия; без тени ностальгии смог жить и быть счастливым вдали от скопища «носителей родного языка», от жалкой толпы, которую в ту пору я возводил в достоинство народа. Говорить о ней сегодняшней нечего. Кто имеет глаза, тот видит... Ты усмехнёшься... Твоя правда. Я медленно вырослел — да что там! так и не стал взрослым, только состарился.

...В Чехословакии, ты помнишь, я жил 45 дней в июле-августе 1966

года со студенческим строительным отрядом ленинградского политехнического института... имени какого-то советского вельможного недоучки. Точные даты поездки под вопросом.

3.03.18



Человек кусает себя за хвост — почище любого дракона-уробороса.

Не за то ли я (среди прочего) некогда упрекал Бродского, что он презирает читателя? И к чему в итоге пришёл я сам? не к тому же ли презрению? Правда, Бродский презирал читателя и искал читателя, кормился от читателя, а я под старость повернулся к читателю спиной. Я, выходит, последовательнее... Но эту последовательность преспокойно можно и малодушием назвать.

Десятилетиями я твердил: читатель не глупее писателя; читатель только тем отличается от писателя, что ещё ничего не написал. Но вот читатель написал. Написал — и назвался писателем. Лучше бы мне было умереть вовремя, как Бродский. Он и тут оказался мудрее.

А ещё были в Израиле два удальца, говорившие не словами, а бронзовыми канделябрами, тоже — из презрения к читателю, чтобы покрасоваться перед читателем. Их нет в живых. Оба ходили в гениях. Один воображал себя поэтом, другая — пророчицей Деборой, не иначе. Как я потешался над ними! Как отстаивал простоту! И что же? Вот и я то и дело сбиваюсь — и говорю канделябрами. Так, чего доброго, и в гении ужогу (хоть «мне туда не надо»). Читатель любит, когда его презирают. Схема известная: «Кричат: ура! Нас бить пора!» (Полежаев)... и — «сложное понятней им» (Пастернак)... Нет-нет, Бродский был прав, и эти двое были правы, удальцы-израильяне, гениальные он и она. Признаю с опозданием. Сдаюсь. При теперешнем читателе поневоле уканделябришься...

22.03.18



В сети хвалят какую-то книгу под глупым названием *Время сэконд-хэнд*. Неужто такую книгу можно открыть?! Не всё ли сказано в названии? Ведь автор русского языка не понимает, не говоря уж об английском.

По-английски конструкция *second hand* может быть существительным, прилагательным и глаголом. Пусть (вообразим на минуту) насущная потребность побуждает автора пересадить эту конструкцию в русский язык. Это, разумеется, чепуха; в русском языке слов пока хватает, английские требуются только хаму, — но пусть так. Тогда возможны варианты названия:

Время сэконд-хэнда

Сэконд-хэндное время (или Сэконд-хэндствующее время) и

Время сэконд-хэндствует

Но ведь этого нет. Автор выносит на титульный лист грамматическую бессмыслицу. Можно ли сомневаться, что и содержание книги того же пошиба? Что может сообщить нам автор, заблудившийся в трёх соснах? Ручаюсь головой, что если книга эта с претензией на мысль, мысли в ней *подержанные*, а если она с претензией на художественность, метафоры в ней *поношенные*.

4.05.18



Литературоведам не позавидуешь. Два роковых вопроса: что есть литература? и как отличить в ней хорошее от дурного? — ставят их в тупик с первых шагов литературоведения. Вопросы эти качественные и, по существу, основные; читатель ждёт на них ответа, подкрепляющего его читательский опыт. Но добросовестная критика в русской культуре отсутствует, и вот любознательный человек, даже помня предостережение, что специалист подобен флюсу, поневоле обращает свой взор на труды литературоведа.

Здесь обнаруживается курьёз: перед этими вопросами литературовед беспомощнее читателя. Литературного вкуса у него нет, ведь он исследователь. Усмотрев нечто не совсем привычное в тексте, который читателю скучен или отвратителен, специалист потирает руки и сломя голову кидается этот текст *изучать*, не выяснив главного: литература ли перед ним.

Хуже того: литературовед зависит от читателя с первых своих шагов: с выбора объекта исследования. Он опирается на читательское мнение, на *пошлый глас, вещатель общих дум*, всегда ориентированный на посредственность, и на мнение писателей, предвзятое в силу самой специфики их

занятия, немислимого без соперничества.

Учёный-естественник волен изучать дерьмо, которое, как ни поверни, неизбывный объект природы, но что мы скажем о химике, исследующем флогистон? Дерьмом в литературе называют то, что лежит за пределами литературы; выдаётся за литературу, но литературой не является.

Есть и переходная субстанция: плохая литература. Между тем литературовед не только не знает, что́ — литература, а что́ — не литература, — он и того не знает, что́ в литературе хорошо, а что́ плохо (ситуация поистине трагикомическая), *он не должен этого знать по определению*, — ведь он считает литературоведенье наукой, а в науке нельзя поставить вопрос, чем радий лучше или хуже натрия.

В поэзии два роковых вопроса сливаются в один. По Горацию, «в иных человеческих занятиях даже посредственность в дело идёт, а посредственным быть поэту не позволяют ни люди, ни боги, ни книжные лавки». Буало-Депрео вторит ему: «В стихах посредственность — бездарности синоним» (в блистательном переводе Линецкой). Плохие стихи — противоречие в терминах. Поэт — не профессия, а похвала, состояние, возглас изумления.

19.11.18

2019



Кто читал Камоенса? На каком языке? Вот-вот. Теперь поглядим: есть издавна три великих искусства, вышедшие из алтаря, из поклонения божеству: словесность, музыка, и искусство изобразительное (живопись со скульптурой). Берём их в их укрупнении, агрегированными. За скульптурой уже и архитектура вырисовывается. Словесность тоже поправки требует. Из алтаря вышла она в форме поэзии, не в форме прозы. Прозы вообще не было до Афин пятого века до новой эры.

Итак, их три: слово, звук и образ... Но, боже мой, какое неравенство! Образ и звук не требуют перевода, не нуждаются в нём... не нуждаются в слове! И вот — веками всё что мы на самом деле знаем об иноязычных поэтах суть их имена. Для наглядности заострим характеристики до крайности: никто не прочёл Камоенса, но все слышали его имя.

Но, кажется, этому приходит конец. Успехи техники обещают неверо-

ятное: ещё одно или два поколения, и любой человек, не зная португальского языка, будет читать или слушать Камюенса, понимая его от слова до слова без переводчика. Разумеется, смысл будет понимать. Никакая техника не научит пониманию стихов того, кто глух к поэзии.

4.01.19

ПРАВО НА ИМЯ

...Ты спрашиваешь, куда девалось моё отчество? Но его ведь нет ни в моём паспортном имени (вот уже полжизни, как нет), ни, тем более, в моём скромном литературном имени. Никто в мире не называет меня по имени и отчеству. Вот я и настоял на том, чтобы википедисты сняли отчество в статье обо мне. Снять-то они сняли, да потом опять его мне навесили. Загляни и убедись.

Боролся я с ними долго, натерпелся хамства — и всё зря. Википедисты хамоваты. В правилах русской *Википедии*, скверно переведённых с английского, заложена рекомендация быть вежливыми друг с другом, царит же у википедистов в их служебных диалогах именно хамство, притом зачастую непреднамеренное; чуждые культуре вообще, эти люди попросту не умеют быть вежливыми, даже когда хотят этого. Их слова дышат самодовольством. Почти каждая реплика напоминает начальственный окрик. Властолюбие ведь первая из человеческих страстей...

Но я отвлёкся. Написал я википедистам в декабре 2018 года примерно следующее: обращаю ваше внимание на два связанных друг с другом принципиальных вопроса, которые поясню на личном примере. Вход к моим биографическим данным совершается в *Википедии* через имя «Колкер, Юрий Иосифович», не имеющее ко мне отношения. Я чту память отца, горжусь им, его звали Иосифом, но *отчества в моём имени нет*, потому что я не россиянин, не русский. Вопрос этот для меня столь же важен, как и вопрос о подданстве. Структура *Википедии* позволяет указать имя, под которым человек родился, то есть предусматривает возможность изменения имени в течение жизни. И никто не вправе навязывать человеку имя, которое тот не считает своим. Мне совершенно точно известно, что не я один оскорблён этим произволом. Если *Википедия* склонна уважать права человека, она должна уважать и право на имя. Это во-первых.

Во-вторых, порядок слов в имени человека тоже теснейшим образом связан с человеком и его культурной принадлежностью. Основатели самой первой *Википедии*, английской, взяли за основу многотомную Британнику, но, будучи европейцами, с самого начала отменили прежнее правило именования биографических статей, принятое в бумажных индексах и энциклопедиях, потому что оно, не отвечавшее духу европейской культуры, было навязано необходимостью, отпавшей в наши интернетные дни. Форма *Dryden, John* уступила место форме *John Dryden*. Эпоха интернета позволила снять вековое неудобство. Человек европейской культуры (исключая венгров; у них возобладали их дальневосточные корни) чувствует себя униженным, когда его фамилию пишут или произносят перед его именем собственным. Такое заведено в тюрьме, в казарме, в больнице, в канцелярии: там, где личность на втором плане.

Дальше я сказал, что в развитых европейских языках, утративших флексии, порядок слов в имени закреплён не без практической нужды. Без этого порядка мы не знаем, где имя личное, а где фамилия в конструкциях типа Nelson Mandela, Dieudonné Gnamankou или, скажем, Trent Alexander Arnold.

Особенно этот порядок важен в именах литературных и общественных. Twain Mark (даже и Twain, Mark) — бессмыслица, никак не соотносящаяся с именем Mark Twain. (Запятая, правило у русских новое, заимствованное ими на Западе, помогает, но не снимает проблемы. Хорошо, что хоть до этого заимствования додумались.) Но и в русском языке возможна неразбериха. Недавно я наткнулся в сети на подборку стихов, над которой стояло *Мей Лев* — и споткнулся, не в первый момент понял, что речь идёт о поэте Льве Мее. А что поймёт человек, никогда не слыхавший о таком поэте?

Потому-то, писал я википедистам, статья по названию *Шекспир, Уильям* кажется мне дикостью, тем более в соседстве со статьёй *Сева Новгородцев*, создающей прецедент правильно построенного публичного имени. (Что имя Шекспира на самом деле по-русски нужно писать как Вильям, а не как Уильям, этого я писать им не стал; это и многим филологам не растолкуешь.)

Никакого понимания мои слова не встретили. Мне наговорили грубостей и глупостей, а по существу никто возразить не сумел.

Я тоже сделал глупость: попытался растолковать википедистам, что

обращение по имени и отчеству — не всегда вежливо. Я сообщил этим молодым людям, не помнящим родства, новое для них: что Ахматова не годовала, когда её в печати называли Анной Андреевной Ахматовой. «Анна Андреевна я для друзей и близких, — говорила она. — Для посторонних я Анна Ахматова.» То есть до большевиков обращение по имени-отчеству от постороннего считалось фамильярностью, грубостью, корректное же обращение было: госпожа Ахматова. Постороннему не полагалось знать моего отчества.

Всё это перевернулось с ног на голову. Механизм прост: большевики всех объявили товарищами... а товарищ, конечно, знает отчество своего товарища и вправе обратиться к нему по имени-отчеству.

Дальше включились советские госиздаты с их бескультурьем. Появилась неслыханная в истории гутенбергова пресса последняя страница книг с «выходными данными», где рядом с названием типографии и тиражом помешалось *метрическое* имя автора: фамилия с именем и отчеством — даже если на обложке самим автором было вставлено его литературное имя в форме имени и фамилии или в форме инициалов и фамилия. Тем самым нарушался вековой книжный принцип: нарушалось право на имя... но чего не сделаешь в раю, где все товарищи и братья? Эти люди были последовательны. Они строили новый мир. Невежливое — стало вежливым. У живых авторов не спрашивали, хотят ли они, чтобы читатели знали их по имени и отчеству. Мёртвых тем более не спрашивали, хоть и мёртвых очень можно было спросить: посмотреть, как сами они свои книги надписывали. И всех подряд, живых и мёртвых, повелось в этих «выходных данных» именовать на тюремно-казарменно-канцелярский лад. Теперь иные культуртрегеры уже и на титульных страницах пишут *Пушкин Александр Сергеевич*, не понимая, что этим они одновременно и фамильярничают с классиком, и унижают его...

Я этим википедистам ещё многое хотел сказать, но — как говорить с глухими, с чужими? Как объяснить им, что русская культура возникла и всегда существовала как культура европейская? Сегодняшние москвиты — не русские, не европейцы. Мало им азиатского способа производства и азиатского вождизма, им и культуру подавай азиатскую. Как втолковать этим людям, что русский язык и русская *Википедия* принадлежат не одним россиянам, но всем, для кого русский язык родной, безотносительно к этносу и подданству? В их сознании русская *Википедия* — московский

приказ. Навязывая мне отчество, искажая моё имя, Москва протягивает руки к чужому. У кремлёвской хунты на уме экспансия не только в политике, но и в культуре.

20.02.19

НЕ ЗНАЕМ И ЗНАТЬ НЕ БУДЕМ

Кажется, уже многие согласились: вид хомо-сапиенс вышел на свою финишную прямую. Тридцать лет назад мне чудилось, что я первый об этом догадался. Сейчас знаю: идея просто в воздухе висела, порхала из страны в страну и крылом своим задела многих. А раз так, самое время задуматься и начать итоги подводить. Например, понять, что нами, внутри нашего *вида* (чуть было не написал: биологического), понято быть не может.

1. Разумеется, первая неразрешимая для нас загадка состоит в том, *откуда* взялись материя, энергия, пространство и время в их нерасчленном единстве. Другая формулировка того же вопроса: что лежит за пределами этого единства. Религиозную точку зрения отмечаем как наивную, главное же — бессодержательную. Очень мило воображать вечно блаженствующие рядышком души муравья и мастодонта, тигра и человека, тигром съеденного, но о формах этого блаженства и этой вечности мы ничего не знаем и знать не будем.

2. Второй неразрешимый вопрос: как и для чего началась самоорганизация материи, именуемая жизнью. Совершенно ясно, что предпосылка к возникновению живого присутствовала в материи с момента возникновения материи — *в форме ритма*. Неживому очень часто присущ ритм, возьмите хоть море, но живому ритм присущ с необходимостью. Вращение планет вокруг звёзд, обращение Земли вокруг своей оси — уже шаг в сторону живого, без этих движений жизнь на Земле возникнуть не могла. Почему набегающие на берег волны — волнуют нас? Почему волнение и волна — однокоренные слова? А вот — поэтому. Почему ритмизованная речь — стихи — издавна волновала человека больше, чем речь, лишенная ритма? Поэзия вышла из алтаря, он неразрывна с представлением о божественном, и её притягательность — в ритме (звукоспись идёт на втором месте)... Но дальше этой догадки — что без ритма нет жизни — мы в понимании жизни не продвинемся. Не знаем и знать не будем, почему од-

ной молекуле стала небезразлична другая.

3. Третий неразрешимый вопрос: как возникла мысль. Кажется почти очевидным, что первым шагом к этому стало приручение огня, но как животное могло приручить огонь, мы понять не можем. Тут к слову спросить: а что такое мысль и что такое интеллект? Ла-Рошфукой подсмеивается: все жалуются на нехватку памяти, никто — на нехватку ума. Приемлемого для многих определения ума — не существует. Совершенно ясны компоненты интеллекта: наблюдательность, память, способность уловить причинно-следственную связь и сделать вывод, способность сделанный вывод обратить в воздействие на окружающее, — но всё это есть и у животных. Почему одно из животных стало человеком? — Не знаем и знать не будем.

23.06.19

ПАМЯТИ ЮДЖИНА ДУБНОВА

«Несомненный преемник Мандельштама», «соперник Бродского... не уступает Бродскому», — вот что писали о Юджине (Евгении) Дубнове британские университетские литературоведы и переводчики, как это значит на суперобложках его последних британских книг. Но из читающих по-русски мало кто слышал имя Дубнова даже в его поколении. Отчасти это объясняется тем, что Дубнов писал стихи и прозу ещё и по-английски, печатался по-английски больше, чем по-русски и, кажется, считал себя скорее английским писателем, чем русским; во всяком случае, новым знакомым представлялся в последние годы жизни как Юджин.

Евгений Дубнов родился в Таллине в 1949 году, детство провёл в Риге, английский превосходно выучил ещё ребёнком и дальше совершенствовал его всю жизнь. Он учился в московском университете имени Ломоносова, продолжал образование в Израиле, куда переехал в 1971 году, в университете имени Бар-Илана; затем в лондонском университете, где изучал психологию и английскую литературу и где писал диссертацию по английской литературе. Не позднее 1989 года Дубнов вернулся в Израиль и до конца дней преподавал в Иерусалиме английский язык. Он умер в Иерусалиме 5 августа 2019, не дожив нескольких недель до семидесяти лет.

Дубнов публиковал стихи, рассказы и очерки в русскоязычных изда-

ниях во Франции, Германии, Израиле, Америке и Канаде, а также во множестве англоязычных изданий в Великобритании, Ирландии, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии. Он издал две книги стихов по-русски и четыре книги по-английски (стихи и беллетризованные воспоминания).

Положение Дубнова в литературе необычно, двойственно. Он остался одинок в русскоязычном Израиле, где очень многие писали и некоторые всё ещё пишут стихи по-русски, — отчасти потому, что таков был его выбор, отчасти, можно допустить, потому, что русским авторам, как правило, не знающим английского, Дубнов казался чужим и непонятным. Настоящего признания не было.

В литературе английской Юджин Дубнов тоже не получил широкой известности. Восторженные эпитеты на суперобложках английских книг — вещь вообще очень обычная, ведь кто-нибудь да похвалит, а здесь ещё и дань английской всемирной отзывчивости примешивается, английскому гостеприимству. Люди, не чувствующие русской просодии, хвалят русские стихи Дубнова без должного понимания их достоинств и недостатков, английские же его стихи и прозу они хвалят от доброты сердечной («этот человек свободно говорит и пишет на нашем языке, знает нашу литературу не хуже нас, тутошних, — как его не поощрить?»).

Дубнов не получил и не мог получить настоящего признания в английской литературе ещё и потому, что писал на выученном языке. Английская литература неимоверно богата. Она много богаче русской, превосходит русскую в своей сумме, даже если говорить о коротком периоде подлинного величия русской литературы в XIX веке, с её непревзойдёнными, но считанными по пальцам гениями. Язык, не впитанный с молоком матери, — ставка в английской беллетристике безвыигрышная, будь человек хоть Толстоевским: его не услышат, он затеряется, захлебнётся. И на потомков, которыми грезят поэты со времён Горация, если не со времён Архилоха, надежды мало: времена слишком разительно переменились, значение литературы в обществе слишком быстро идёт на убыль.

Но можно сказать и другое: при всём сегодняшнем упадке литературы книги живут долго и обычно переживают своих авторов; так было веками, а значит, и ещё на какое-то время это может продолжиться. Мы — в междущарствии: книгопечатание в обычном смысле, по некоторым признакам, умирает, но подходящей замены ему не видно, а такая замена необходима. Первую свою книгу Дубнов опубликовал, когда об электрон-

ных изданиях не слыхивали, — не исключено, что эту его бумажную книгу 1978 года прочтут и тогда, когда о сегодняшних электронных книгах забудут. Она — проба воздуха эпохи.

...Я пишу о Дубнове не потому, что я горячий поклонник его таланта (мы держались разной эстетики) и не по дружбе (мы больше пикировались, чем ладили), а потому, что его присутствие в культурной жизни — объективная реальность, и он заслуживает нашей памяти.

У меня сохранился в машинописи цикл стихотворений Дубнова под названием *Здесь бытие...*, пересыпанный эпиграфами на пяти языках. Первое стихотворение этого цикла — моё любимое у Дубнова. Вот оно:

Здесь бытие шагами
Измерено в садах,
И днями и ночами
В растерянных трудах —
И вновь одна попытка,
Не жизнь, не смерть, не пытка,
И замер за плечами
Творенья вечный страх.

Над бездной дух витает,
Дыхание от уст;
Горит и не сгорает
Невзрачный, мёртвый куст,
И подойти отсюда
Туда, где длится чудо,
До слёз в глазах мешает
Льда кисло-сладкий хруст.

Интонация этих стихов, при всей их видимой простоте, кажется мне подлинной и оригинальной, не вызывает в моей памяти никакого прообраза, — а ведь именно интонация чаще всего заимствуется и эксплуатируется подражателями.

И ещё по одной причине я пишу о Дубнове. Моя попытка поместить о нём статью в русскую *Википедию* натолкнулась на тупость и непонимание. Википедисты, начальствующие в народной энциклопедии не благодаря своим культурным достижениям, а благодаря лишь техническим

навыкам, люди, к культуре равнодушные, не умеющие связно написать двух фраз на родном языке, — в моём душевном движении заподозрили личную заинтересованность и потребовали от меня... доказать, что Дубнов жил на этом свете. Я возражал, сколько было сил, и в итоге моя статья удержалась. Статья о Дубнове в английской *Википедии* тоже написана мною. Там препятствий мне не чинили.

23.09.19



Шолом-Алейхем не дожил до 58 лет... Его хоронили — сто тысяч человек! И где? Не в Одессе, в Нью-Йорке. А гроб Некрасова — четыре тысячи человек провожало. Правда, было очень холодно... А гроб Пушкина — фельдъегерь провожал... Благодарный народ евреи, памятливые! Может быть, именно память выражает суть еврейства в одном слове. Но ведь с памяти начинается совесть, разве нет?

...Знаю, и Фруга сто тысяч человек провожало, было это в Одессе, но это совсем другая история. Фруг, при всех его благих намерениях, едва ли не унизил еврейства. Пойми меня правильно: человек волен писать на любом языке, русский не под запретом. Но если пишешь по-русски, будь гражданином мира, как Толстой или Мандельштам... да что там! как Шолом-Алейхем. А Фруг — это жалоба обидчику на обидчика! «Вопль дщери иудейской» из черты оседлости! Это чувство невозможно отстранить при чтении Фруга. Это только видимость, что он к евреям обращается, выросшим в русском языке... Впрочем, всё дело, конечно, в таланте... Чисто, очень чисто писал Фруг по-русски, с боязливой оглядкой на русскую классику. Помнишь ли у Леонида Мартынова стихотворение «Вода благоволила литься»?

...Она блистала так чиста,
Что — ни умыться, ни напиться,
И это было неспроста. (...)
Ей не хватало жизни — чистой
Дистиллированной воде.

Не все признают, что это стихи о стихах. Не о Фруге, конечно. Не дотянул Фруг до русского читателя. Но как эта насмешка Мартынова к нему

подходит!

...Я перескакиваю на другую тему, прости. У меня есть догадка, в кого Мартынов метил этим стихотворением: в еврея другого поколения и другого масштаба, в Александра Кушнера, схожего с Фругом только непомерной плодовитостью. Или, может быть, не столько в самого Кушнера (в 1970-е Кушнер был ещё едва замечен при взгляде из Москвы), сколько в ту традицию, которую сегодня связывают с его именем. Как раз в 1970-е годы в Москве бытовала премилая шутка: «стихи бывают плохие, хорошие и ленинградские». Крикливые москвичи не понимали стихов приглушённых, идущих от сердца к сердцу; стихов не для подмостков, без вычурной, выпирающей из строки рифмы. Сам-то Мартынов, — а он ни на минуту не отказывался от своего юношеского футуризма, — держался рифмы точной, но он всё-таки москвич, хоть и сибиряк по рождению, москвич уже потому, что футуризм — явление московское... И «Вода благоволила литься» — чистой воды футуризм, рассчитанный на зал Политехнического музея...

2.10.19

НА ЖИЗНЬ И НА СМЕРТЬ

В моей статье 2008 года *Хорам над мародёром* (об известном стихотворении Иона Дегена) я не сказал о Дегене худого слова, наоборот, с чужих слов всячески выгораживал Дегена-человека, подчёркивал, что он прожил достойную жизнь. Теперь скажу иначе.

Межиров мальчишкой написал на фронте стихотворение-лозунг *Коммунисты, вперёд!*, написал в страшную минуту и совершенно искренне. Войдя в возраст, он этих стихов, не делавших ему чести, публично не читал и сам не перепечатывал; вообще, будучи человеком умным и талантливым, сумел подняться над советской парадигмой, над социалистическим реализмом. И никто никогда не попрекнул Межирова грехом его молодости.

Деген мальчишкой написал на фронте позорные стихи, написал в страшную минуту и совершенно искренне, но войдя в возраст, не стыдился этих стихов, читал их публично и перепечатывал; не делал оговорок, что он, автор, — не с лирическим героем, мародёром. Деген был и целиком остался внутри советской парадигмы, внутри социалистического реа-

лизма и жестокого русско-советского ура-патриотизма. Это не делает ему чести, и его последующую жизнь не назовёшь незапятнанной. Деген так и не понял того, что он совершил мальчишкой; остался не с умирающим, а с тем, кто с умирающего снимает валенки. В этом я вижу низость нравственную и низость поэтическую: нехватку совести, ума и таланта.

С молодости я взял за правило не читать того, что обо мне пишут: ни хулы, ни хвалы (которая бывает хуже хулы). Сейчас друзья говорят мне, что мою статью 2008 года опять ругают, стихотворение Дегена называют великим, а меня приглашают извиниться перед лирическим героем этого стихотворения, мародёром. Я не стану возражать людям, неспособным мыслить: тем, кто на довод: А равно Б отвечает: сам дурак. Вместо этого я приглашаю всякого, кто оскорблён моей оценкой стихотворения Дегена (и вообще любой из высказанных мною мыслей), вызвать меня на дуэль. Пусть человек не отговаривается законом. Люди и сегодня дерутся на смерть. Я живу по совести и пишу по совести. За мою правду я отвечаю кровью, и с этим человеком буду драться до последней капли крови — как дрался бы с нацистом. Мне семьдесят четвёртый год, но моему противнику я возрастного ценза не выставляю. Я здоров, полон сил и буду драться хоть с двадцатилетним. На жизнь и на смерть.

10.10.19

ЛУКАВЫЙ ЭРЕМИТ

...Ты спрашиваешь, легко ли мне даётся моё старческое отшельничество. Отвечу по совести: и да, и нет.

Мои последние годы — счастливейшие, иначе не скажешь. *Noras non numero nisi serenas*. Часов не считаю, живу при свете дня (можно ведь и так это перевести). Живу в тютчевском «бездействии глубоком». Новостей не наблюдаю. Для журналов не пишу уже десять лет. Известности не ищу. Общаюсь с горсткой самых дорогих мне людей. Не тяну лямку, не работаю ради куска хлеба — наконец-то, после стольких лет рабской, каторжной жизни. Чего ещё желать? А вместе с тем эти годы — всего лишь ожидание смерти. Помнишь героиню Вересаева, восклицавшую: «Умирать так интересно!» Поприще, какое ни на есть, позади.

Любое анахоретство, любое добровольное уединение противоречиво, в любом присутствует самообман, если не прямое притворство. Полный

разрыв с обществом невозможен, это азбучная истина. Христианский отшельник, живущий в пустыне, питающийся акридами, пекущийся только о спасении души, ни на минуту не покидает своей общины, общины избранных, знает (пусть и бессознательно), что он в этой общине славен, что в ней — его бессмертие.

Ты всё это понимаешь не хуже меня... Спасибо ещё, что не спросила, когда я возглашу моё *не могу молчать*... Вопрос этот я прямо-таки читаю между строк твоего письма, и он к месту. Что ж, и тут скажу, не кривя душой: вовсе не писать — я не могу. Я родился сочинителем, графоманом; поражения от победы не отличаю. Урбан VII, если мне память не изменяет, учредил богадельню для нищих сочинителей — как неизлечимо больных. Ну, а теперь, при нынешнем богатстве народов, весь мир — богадельня. Меня кормит социалистический принцип в стране классического капитализма. Сижу на пособии. На жизнь хватает. Я себя и аскетом не назову.

Насчёт религии, слава богу, мы с тобою согласны. Ни одна из религий — не о Боге, каждая — о коллективе: об *умме* избранных. Ихний Бог — социобиологическая реальность, вот ему определение. Где нет общины, нет и бога (Бога). Пусть потешатся!

Не сочинять я не могу... и, значит, я ничем не лучше христианского пустынноика: как и он, живу обольщением, надеждой на воздаяние, — иллюзией, которую, правда, пытаюсь не пускать на порог сознания, вот и всё отличие. Это ведь сущая правда, что я не хочу ничего менять в моей жизни, не хочу никого видеть и слышать, кроме тех, кого вижу и слышу. Но вот ты ко мне обратилась после стольких лет молчания, и разве я не рад твоему письму?

То же и с журналами: в тех редких случаях, когда ко мне обращаются, я — соберёмся с духом и признаём горькую правду — чувствую себя польщённым и не отказываю. Выходит, что моя несбыточная подсознательная мечта не лучше христианской: мне тоже грезится какая-то община избранных, отличная от сегодняшнего писательского быдла, идеальная община ценителей, в которой я буду славен... и, хм, бессмертие обрету — это при моём-то отрицании какого бы то ни было бессмертия... Рассудком я понимаю, что моё обольщение — вздор, но биология берёт своё. Ибо таково биологическое задание человека и былинки: отстаивать свою отдельность и особенность, себя предпочитать другим, подозревать (а то

и утверждать) в себе избранника. В просторечии всё это зовётся эгоизмом.

Скажи христианину, что его Бог — имя собирательное, что этот Бог лишён личностных качеств и знать не знает о верующем, возносящем к нему молитвы; что Бога, попросту говоря, нет; нет и быть не может никакой загробной жизни с воздаянием за вериги, — и кротчайший христианин, чего доброго, пошлёт меня на костёр своего презрения. Но и я ему оттуда отвечу не словами *sancta simplicitas*, а тем же презрением. Мы с ним в чём-то равны, стоим друг друга в нашем вздоре, в нашей иллюзорной несбыточной эгоистической мечте.

Я недавно нашёл замечательное четверостишье-эпиграмму:

Жажда господства гнусна и ничтожна,
В сути своей ослепительно ложна,
Если ты счастлив, владея толпой, —
Значит, толпа овладела тобой.

Автор — как раз христианин-отшельник, пустынный, последние годы своей святой жизни спавший в гробу, а начинавший жизнь весьма богом-ным образом; человек моего поколения, между прочим; даже, кажется, чуть моложе меня. Мысль тут высказана безупречная, хоть и не новая, а стихи хороши, убедительны. У Байрона в *Манфреде* — не лучше:

I could not tame my nature down; for he
Must serve who fain would sway —
 and soothe, and sue,
And watch all time, and pry into all place,
And be a living lie, who would become
A mighty thing amongst the mean, and such
The mass are; I disdain'd to mingle with
A herd, though to be leader — and of wolves.
The lion is alone, and so am I.

То есть: хочешь повелевать ничтожными — сам стань рабом, растворяйся в ничтожестве... И вот Манфред говорит: я мог бы повелевать, да не хочу, я одинок, как лев... Есть, впрочем, перевод Бунина:

Я обуздать себя не мог; кто хочет
Повелевать, тот должен быть рабом;

Кто хочет, чтоб ничтожество признало
Его своим властителем, тот должен
Уметь перед ничтожеством смиряться,
Повсюду проникать и поспевать
И быть ходячей ложью. Я со стадом
Мешаться не хотел, хотя и мог
Быть вожаком. Лев одинок — я тоже.

Очень близкое совпадение, но четверостишие монаха-эремита уж как-то слишком наступательно по своей интонации. В нём — гневный вызов. Где христианское смирение? У Байрона слышим скорее раздумье, чем агрессию, а уж Манфред-то его — воплощённая гордыня, готическая родня Фаусту и Мельмоту, — сверхчеловек, прямая противоположность монаху и вообще христианину.

Выходит из всего этого старая истина: унижение паче гордости. Смирение как раз и есть воплощённая гордыня. Каждый из семи смертных грехов преспокойно разворачивается на сто восемьдесят градусов, становится добродетелью, оставаясь самим собою... Кстати, грехи эти потому *смертные*, что присущи *всем смертным* (не случайно среди них нет ни воровства, ни убийства). Правильно не *семь смертных грехов*, а *семь грехов смертных*.

Монах-стихотворец (не называю его имени, он ведь, кажется, не хотел мирской славы?) был полным вегетарианцем, если не веганцем; говорил: «никто не должен умереть, чтобы я жил». *Но разве это не святотатство?* Ведь Бог, его Бог, создал человека всеядным, создал мир, в котором имеющие зубы пожирают живое. Значит, монах возражает Богу, хочет поправить его божественное творение, отрежиссировать божественную пьесу. Монаху такое не к лицу.

И насчёт властолюбия нет полной ясности. «Жажда господства гнусна и ничтожна» — кто же с этим не согласится из людей просвещённых? Но это — если о людях. А вот Господь Бог (у верующих непременно с прописной буквы) господствует себе над людьми, хоть и любит их как отец, и от этого господства в ничтожество отнюдь не впадает. Может, он господствует без жажды господства?

Ты скажешь: всё это отдаёт риторикой, игрой слов. Пусть так. Но вот что не риторика: осудив жажду власти замечательными стихами, монах-отшельник этим же четверостишьем обнаруживает в себе жажду власти и

на деле осуществляет её. Разве нет? Ведь эти стихи покорили тысячи сердец, потому что их прочли и приняли к сердцу тысячи людей. Тысячи людей пошли за монахом-стихотворцем: целая толпа! Та самая толпа, которую монах презирает вместе с Манфредом, толпа, от которой Сенека предостерегал Луцилия. И эта толпа пополняется! Вот и я в этой толпе, ведь и я принял к сердцу эти стихи. Монах властвует надо мною из своего загробного мира. Жажды власти у него нет, но только потому, что его нет на свете, он обратился в прах, а когда он сочинял эти строки, жажда власти у него была, хоть он и не сознавал этого. Власть и одиночество не исключают друг друга: «Ты царь — живи один...»

Кажется, я ударился в литературную критику и отошел от твоего вопроса. Возвращаюсь к моему отшельничеству.

Я не хочу никого видеть — и я рад гостям: и то, и другое правда (хотя любая анкета для измерения IQ выставит меня в своём последнем пункте лицемером за такие показания). Я счастлив в моём уединении, но я по временам порываюсь его нарушить. Я презираю власть вместе с монахом-отшельником — и я же, хоть это и не на поверхности моего сознания, а добывается посредством пренеприятной нравственной хирургии, хочу, как и он, опосредованной власти над людьми через написанное мною слово... вот сейчас — над тобою, да-да. И не потому, что я безнадежно испорчен, а потому, что моя слабость присуща всем. И не оттого, что все испорчены «первородным грехом». Слава богу, что для тебя это чушь и вздор. Берусь, оставаясь внутри Писания, доказать, что идея первородного греха святотатственна.

Бывает счастливое отшельничество, но не бывает анахоретства полного и последовательного. Человек не может только *быть*, он должен ещё и *казаться* (об этом дивно пишет Паскаль, но его следовало бы дополнить и поправить). Гордыня и смирение суть две стороны одной медали. Любая добродетель есть вывернутый наизнанку порок, и цена им, при ближайшем рассмотрении, одна. Никакая философия, никакая жажда истины не может распутать клубок противоречий, имя которому человек. Распутывает этот клубок только смерть, полное и окончательное уничтожение человека, обращение его в *ничтожество*, как говорили в эпоху Пушкина.

20.12.19

2020

УМЕР ЯСНОВ

Умер Миша Гурвич, он же Михаил Яснов... Во дворце пионеров Миша радовал старших тем, что писал, как подобает подростку: звонким правильным хореем, оперённым рифмой парной. Таким остался и в XXI веке:

...Мама служит в банке.
Сын уходит в панки...

В 1962 году, в царской гостиной Аничкова дворца, одна из руководительниц литературного кружка (не Наталия Грудинина; но, разумеется, тоже еврейка) кричала ему:

— В Советском Союзе нет антисемитизма!

Гурвич ей в ответ тоже не говорил, а кричал:

— Мне шестнадцать лет, и я езжу в трамваях!

Внешность он имел ту самую: не ошибёшься. Густые негроидные волосы, очки; росту был небольшого, сложения хрупкого; сутулился. После университета числился какое-то время секретарём литературоведа Ефима Эткинда (что означало: жил за счёт родителей; секретарям не платили). Яснов — не псевдоним: Гурвич поменял фамилию, стал Ясновым по паспорту. Зачем, бог весть. Кого это могло обмануть, вразумить?

В 1972 году я написал на него эпigramму, злую и несправедливую:

Не любил его никто.
Всем фамилия мешала,
Рецензентов раздражала,
Как немодное пальто.
Грустно лира отзывалась:
Миши Гурвича не стало —
Сокрушителем основ
Появился Эм Яснов.

Никому я эту эпigramму не читал, уж не говорю: не публиковал. Верна она с точностью до наоборот: во-первых, его любили; во-вторых и в главных, Яснов, человек умный и талантливый, прекрасно понимал природу своего умеренного таланта, эксплуатировал его честно — и ни на

крохотную секунду не смешался с нашей тогдашней многолюдной толпой гениев: никогда не метил в сокрушители основ.

29.10.20



Один добрый человек говорит мне в сети, что моё четверостишие под названием *Из Бориса Кузина*:

Истина непроницаема, как ядро.

Инь и Ян не сливаются никогда.

Где уж нам о добре, когда бес в ребро!

В спорах не мысль рождается, а вражда.

— не поэзия. Я тотчас кинулся ему заочно руку жать и благодарить его. Я ведь и сам так думаю. Где тут поэзия? Но он говорит: «к сожалению, не поэзия». Откуда, дорогой друг, сожаление?! Настоящему поэту без меня, без моих неудачных стихов, больше простору остаётся, так сказать, *Lebensraum*: твори, выдумывай, пробуй. Вот хотя бы и вам, «поэту и программисту», как вы себя определяете.

Но как странно: моё четверостишие потому не поэзия, что я прозу пересказываю! Тут, признаться, я почесал в затылке. И вспомнил я некоего Лермонтова, поэта и кавалериста, который похожим образом облапошился: пересказал русским амфибрахией французскую прозу Сент-Бёва в стихотворении «Дубовый листок оторвался от ветки родимой» (наблюдение принадлежит Самуилу Лурье)... А бедняга Заболоцкий и вовсе в дураках: газетную заметку анапестом пересказал (*Смерть врача*). И Державин хорош! Его «Река времён в своём стремленьи», его грифельная ода, — тоже ведь пересказ прозы, написанной в Византии в XII веке: первого абзаца *Алексиады* Анны Комнины...

Конечно, все эти наблюдения принадлежат людям с какими-то неприятными для русского уха фамилиями, Лурье да Колкеру. Эти люди, известное дело, соврать норовят. Но что моё четверостишие — сушая фигура, тут спору нет. Ещё раз спасибо поэту и программисту.

6.11.20

МЕНЯ ХОТЕЛИ ЛИНЧЕВАТЬ

Двадцать лет назад, 5 августа 2000 года, на улицах Нью-Йорка произошла демонстрация... против меня. Меня линчевать хотели. Добрые люди собрались под окнами газеты *Новое русское слово* и требовали выдать меня на расправу, а когда выяснилось, что я далеко, грозили линчевать редактора Ирину Лейкину. Народный протест был вызван другой годовщиной: двадцатилетием со дня смерти барда Высоцкого... точнее, моей статьёй к этому юбилею, в которой я несколько отступаю от юбилейного славословия.

В этом году, вероятно, во всём мире отмечалось сорокалетие со дня смерти Высоцкого, но меня тогда в ФБ не сидело. Юбилейный год, однако ж, ещё не кончился, а статья моя, ей-богу, не полиняла ни пёрышком. Предвкушаю, что теперь состоится демонстрация на стогнах многолюдного города Фэйсбука.

5.08.20



Меня спрашивают, дано ли я живу во Флоренции? Да всю жизнь! Она — моя духовная родина, моя грёза с 12-ти лет. В 15 лет я писал:

Протяни мне руку, Алигьери,
Мы пройдем по улицам вдвоём,
Я тебе прочту на каждой двери
Имя скромённое твоё.

В приглушённом шёпоте столицы
Сплетни будут реже день за днём;
Каждому сегодня ночью снится
Правда о величии твоём,

(Рифма *вдвоём/твоё* давно уже для меня не рифма, а в ту пору была нормой; но это к слову...)

Подлая Совдепия не пускала меня во Флоренцию, и я увидел мою духовную родину поздно, в сорок лет, полуживым вырвавшись из когтей моей родины фактической. Не только подлость и не только ложь были от-

личительными особенностями советской власти, но ещё и бездарность. Кремлёвские недоумки полагали, что «простой советский человек» перестанет быть патриотом, увидав, что за границей живут лучше. Что человек не может жить, не побывав в Уффициях, — это им в голову не шло... Поздно, слишком поздно я увидел мою Флоренцию! Только в 1986 году.

А с 1989 года живу я в графстве Хартфордшир, месте хоть и не столь поэтическом, но замечательном. Нужно ли говорить, что я люблю Англию и здесь умереть надеюсь? Ещё одна дата: как раз четверть века назад я написал стихи об этом:

Умрём — и английскою станем землёй,
Смешаемся с прахом Шекспира,
Навеки уйдём в окультуренный слой
Прекраснейшей родины мира.

Флит-стрит благодарной слезой напою.
В насмешку предавшей отчизне
Мы счастливо прожили в этом краю
Остаток погубленной жизни.

Обиды забудем и злобу простим
Малютам ее туповатым, —
Да всходит на острове злагом простым
Кириллицей вскормленный атом.

Флит-стрит — это, конечно, о проклятых бибисях, худшем из моих рабочих мест за всю мою жизнь. Флит-стрит — улица журналистики. Но я и фактически именно по Флит-стрит шёл в Буш-хаус от станции электрички. Тринадцать лет ходил этим путём... Да-да: спасибо поганым бибисям, я британец и не бедствую в старости, но — тринадцать лет душевной жизни из жизни вон!

8.11.20

ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ

Невероятно смешно! Два народа, евреи и русские, всерьёз спорят за право считать своим — что? — стихотворение «Мой товарищ, в смертельной агонии»: про мародёра, снимающего на фронте валенки с това-

рища-солдата в последние минуты его жизни. Что спор этот международный, что это именно распря национальная, тут и сомнения быть не может: достаточно посмотреть на имена спорщиков и на имена кандидатов в авторы.

Смех и грех! Ну, прямо Одиссей и Аякс над оружием Ахилла! Но там-то, под Троей, честь была несомненная, а здесь — позор несомненен: кто перетянет канат, тот до скончания века не отмоеся. Спорят до хрипоты за стихи заурядные по исполнению и гнусные по наполнению. Люди не в состоянии опомниться и открытыми глазами перечитать восемь незамысловатых строк анапестом — потому что никому дела нет до стихов, всем кажется, что дело идёт о народной чести. Да и не смешно это, а глупо, ей-богу! Нет и не было лучшего свидетельства тому, что стихи ушли из нашей жизни: что они больше никому не нужны и всем непонятны.

Чтобы убедиться, что речь не о стихах, сделаем простой опыт: в двух заключительных строках стихотворения —

Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
Мне еще наступать предстоит —

изменим один слог: вместо *наступать* поставим *отступать*. При этом стихотворение как художественное целое не полиняет ни пёрышком. Смысл его — тот же: снятие валенок с умирающего. Наступать или отступать — на войне и то и другое случается, иной раз отступающие и побеждают. Если говорить о художественной стороне, перед нами в точности то же стихотворение, что и было; поменялась приставка в две буквы в одном-единственном слове, а рифма, ритм и звучание ничуть не пострадали.

Но из стихотворения ушёл русско-советский ура-патриотический пыл, ушёл парад на Красной площади. Для тех, кто славит эти стихи, «гениальное стихотворение» схлопнулось в нонсенс. Его никто уже не похвалит. Поправка в две буквы убила лозунг и обнаружила глумление над умирающим: обнажила позорное поведение лирического героя.

Я подаю свой голос в международном споре: я уверен, что позор ляжет на евреев. Я не сомневаюсь, что автор гнусного стихотворения — поэт-любитель Ион(а) Деген, отважный танкист в годы войны, превосходный врач в мирное время. Он прожил достойную жизнь. На фронте он не мародёрствовал: перепоручил гнусность своему лирическому герою.

Стихотворение, вокруг которого копыа ломают, — лучшее из написанного Дегеном, остальные его стихи уже не заурядны, как это, а ничтожны с точки зрения любого художественного критерия. Как стихотворец Деген был бездарен.

Но позор ляжет на евреев лишь в том случае, если эти, с копыями, будут продолжать своё сражение, продолжать лгать, утверждая, что стихи Дегена «входят в золотой фонд русской поэзии и считаются лучшими стихами о войне». Человек, сказавший эту гнусность, не просто солгал, он плюнул на всю русскую поэзию, от Пушкина до Мандельштама. Перед нами типичная физиономия нашего времени: ложь под личиной правды, зло под личиной добра. Этот болтун не смыслит в стихах ни уха ни рыла, ему важна сиюминутная конъюнктура, важно сказать, что евреи лучше, — и он всем нам, любящим стихи и способным думать, с наглядностью показывает свою глупостью, что евреи — хуже!

Конец спора мне представляется вот каким: беломраморную статую Дегена работы Церетели, в треуголке и со скальпелем наголо, установят на верхушке колонны Низкор в Иерусалиме (название колонны значащее, оно переводится как *Не забудем*). Точную копию этой статуи, но уже как памятник Иванову, Петрову или Сидорову, которого русские признают автором позорных стихов, установят на верхушке Александрийского столпа в городе с переменчивым именем, сняв с этой верхушки устаревшего и всем надоевшего ангела. Свары утихнут. Имена двух великих поэтов войдут в учебники. Каждый из народов будет вволю идолопоклонствовать перед своим истуканом... а строка «Роняет лес багряный свой убор» уже не старшеклассников будет ставить в пень, как она ставит их в наши дни, а докторов филологических наук.

12.11.20

2021



Вот стихотворение в шесть строк, написанное в 1884 году в Петербурге:

Прозрачна и ясна осенняя заря;
Как свечи, теплятся кресты монастыря

Под заходящими багровыми лучами;
И ночь, в слезах росы и трепете луны,
С дождём падучих звёзд с лазурной вышины
Идёт, повитая сияньем и теньями...

Ничего особенного, не так ли? Стихи как стихи. Перечитаем ещё раз и подтвердим: ничего особенного... с той оговоркой, что перед нами — совершенство. Не знаю, как ты, дорогая, а я потрясён. Посмотри, как взаимодействуют звуки в каждом стихе, как звуковое исполнение соответствует зрительной картине, как вторые три стиха отвечают первым трём подобно строфе и антистрофе в античном хоре.

Возьмём первый стих: звук З в начале и звук З в конце, как два пилястра, поддерживающие мраморный архитрав портика из трёх звуков Н. А как прекрасен звуковой переход от А к О в цезуре, в паузе в середине стиха!

И так в каждом стихе: всё уравновешено, гласные и согласные перекликаются и словно за руки взялись, ни одного лишнего или сомнительного звука, ни одного приблизительного слова... Говорят, шестистопный ямб нуден и заунывен; ещё говорят, что писать этим размером просто, оттого-то он и ушёл, — всё вздор. Напиши такие шесть строк и отложи перо: ты жил не зря.

А между тем автор, после окрика Брюсова в 1908 году, осмеян и только что не оплёван диадохами вождя символизма, а потом, по инерции, и всеми прочими, кому не лень. Его нельзя похвалить — и не увидеть в ответ иронической улыбки: ведь это Надсон, тот самый, который «на Ща» (по определению того, кто «на Эм», хоть он — и близко ничего подобного написать не смог и его настоящее место — «на Я»).

Верно: в русской поэзии можно найти более яркий законченный период в шесть стихов, а более совершенного — утверждаю — найти нельзя: перед нами само совершенство, сама Венера Милосская, не изувеченная временем.

Стихотворение беру из книги 1962 года, изданной в Большой серии библиотеки поэта. Помещено оно в разделе незаконченных произведений, что уже ошибка: может, Надсон и что-то большее по объёму планировал (он вообще мало что завершил из начатого), да читателю дела нет, поскольку перед ним — законченный шедевр, способный жить самосто-

ательно, на деле живущий самостоятельно, способный поражать спустя сто сорок лет после своего написания... конечно, тех немногих поражать, кто любит и понимает стихи. В примечании сообщается, что отрывок опубликован посмертно в 1900 году в №10 *Русского богатства*, — только это. Даже того не догадались добавить, что упомянутый в стихотворении монастырь — Смольный.

Как Надсон, при его репутации и его сомнительном происхождении, удостоился книги в БСБП, для меня загадка...

Если собрать все неудачи Надсона и выстроить их в ряд, — да, хорошего не увидим, хотя бы отчасти согласимся с Брюсовым. Работать над словом Надсон не умел, физически был слаб, болел, не то что здоровяк Пушкин. Но ведь и самого Пушкина, и вообще всех, мы судим не по провалам, а по вершинам. Наоборот, если собрать все удачи Надсона, которых немного, а неудачи поместить в примечания, то станет понятным, как случилось, что этот несчастный чахоточный сирота, умерший в двадцать четыре года, не увидав жизни, целую четверть века почитался в России большим поэтом — и не начальством почитался, а народом, русским народом (в ту пору ещё был русский народ).

И вот ещё что находим в Надсоне: он, в отличие от бахвала «на Эм», выразил и себя, и своё время. Из Надсона видно, как марксисты завладели умами русского народа в 1890-е годы. Надсон как никто показал доходящую до отчаяния растерянность, владевшую молодёжью в 1880-е годы. Народничество рухнуло, потому что простонародье не поняло народа (настоящим народом, конечно, был дворянин и образованный мещанин, не мужичок-христофор), а гнёт казенного петербургского режима был реальностью, бедность и бесправие были реальностью, — и вот поколение Надсона его голосом вызывает: «Вождя! Пророка! Пусть хоть лжепророка! Мы пойдём за ним, мы положим свои жизни на то, чтобы облегчить участь обездоленных!» Вожди-лжепророки нашлись. Правдоискатели пошли за ними — и получили ГУЛАГ.

23.01.21

ПЕРЕВОДЧИК НЕДОДУМАЛ

...Ты, помнится, написала полвека назад такие вот чудесные стихи:

Горит надо мной семизвездье,

Распахнуто ветром пальто.
Учили, что юность — возмездье,
Да не объяснили, за что.

Мне, в мои пятнадцать лет, в словах Ибсена тоже откровение грезилося, пророчество. Надо же так сказать: «Юность — это возмездие!» Спасибо Блоку, он поставил эти слова эпитафией над своим *Возмездием*, — без него бы мы этого эпического ужаса не вкусили. В этом афоризме угадываются бездны, за этими словами — хаос шевелится. И сколько тут поэзии! Юность — это страдание, ниспосланное за неведомые грехи... уж не за будущие ли?! Не за первородный ли грех? Юность — это греческая трагедия, в которой боги забавляются над людьми... Ведь так?

А между тем это всего лишь ошибка или небрежность переводчика. По-норвежски никакого излишнего ужаса тут нет. В оригинале вот что стоит: *Ungdommen, — det er gengældelsen*. Слово *ungdommen* (или даже слово *ungdom*) переводится как *молодёжь, юноши и девушки*, — не более того. Ибсен сказал нечто не столь уж загадочное: Наши дети — наказание нам за наши прежние (юношеские) грехи, — только это. Хотя, конечно, и в этой формуле присутствует и трагизм, и важная символика.

Но есть тут и другое. Смысл слов дрейфует. Сегодня *юность* по-русски — возраст или состояние души. Это значение было и в начале двадцатого века, но было вторым, нарождавшимся и в итоге вытеснявшим первое, а первым значение было: юноши и девушки, молодёжь.

Перечитываю в сотый раз предисловие Блока к его *Возмездию* и решаюсь допустить, что первого значения Блок уже не понимал. Мог понимать, а мог и не понимать. Уж больно привлекателен мистицизм второго значения.

И ещё одно: переключка Ибсена и Уайльда. *Bygmester Solness* появился и стал европейской сенсацией в 1892 году. А в 1893 году выходит *A Woman of No Importance*, где мы читаем такое: *Children begin by loving their parents. After a time they judge them. Rarely, if ever, do they forgive them.* (Дети поначалу любят родителей. Затем судят их. И редко прощают — если вообще прощают.) Oscar Wilde расшифровал Ибсена для непонятливых, прочёл с его *Ungdommen, — det er gengældelsen* так: Дети — это возмездие...

А вот другое.

Мы с детства знаем: нет худшего упрека сочинителю, чем упрек в подражании. Боратынский упрекает в подражании даже Мицкевича, которого справедливо почитает гением:

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;

...

С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!

Но ведь всякое понимание начинается с подражания. Веками подражание было путеводной звездой культуры в форме исторических жизненных идеалов. Разве Карл Смелый не подражает Цезарю, Ганнибалу, Александру? Разве *Энеида* не отклик на *Илиаду*? А Пушкин — разве не держит он в уме Ариосто, Парни, Шенье, Шекспира, Байрона, а в своей прозе — и Вольтера? Его переложения западных поэтов — в числе его лучших стихотворений.

Аристотель — тот прямо велит подражать. Он, как не раз уже сказано, был в первую очередь биолог — оттого-то и учит поэта подражать природе... а природу понимает в очень широком смысле, включает в неё человека и его внутренний мир; трагедию Эсхила тоже понимает как явление природы, как химическую формулу. Вот фрагмент из его *Поэтики*:

«состав [σύνθεσιν] лучшей трагедии [καλλίστης τραγῳδίας] должен быть не простым, а сплетённым, и она должна подражать страшному и жалкому...»

Понятно, что «страшному и жалкому» — ошибка переводчика, калькирующего древний текст: Аристотель говорит о *потрясении* и *сострадании*. Да и простому противостоит сложное, а не сплетённое, — ещё одна ошибка. Это мы видим сразу. А вот что слово *подражать* идёт у него в значении *изображать* — тут, сознаюсь, я не сразу ошибку переводчика увидел... Аристотель говорит: «трагедия должна *изображать* потрясение души человеческой, притом так, чтобы у зрителей это потрясение вызывало сострадание». (Жалкое и вызывающее жалость по-гречески передаётся одним словом.)

Понятно и то, что пояснения в примечаниях могли бы облегчить мне

чтение, но в издании 1957 года, которое оказалось у меня под рукой, они скудны и не проливают света на мои вопросы. Кстати, издание это берёт перевод В. Г. Аппельбота (1865-1897), человека молодого, из его книги 1893 года.

...Ты скажешь, что я, скорее всего, открываю Америку и вообще суюсь не в своё дело, что мой древнегреческий — на уровне первых двадцати уроков Козаржевского... Но, во-первых, чем бы старик ни тешился, лишь бы не охал; а во-вторых и в-главных, вывод мой кажется мне не только правильным, но и универсальным: дословный перевод всегда искажает смысл, желание переводить точно, слово в слово, портит перевод даже и в прозе, не говоря уж о стихах.

10.02.21



Составитель Этимологического словаря русского языка Макс Фасмер и его референтная группа пренебрегали семитскими языками. Смотрю у Фасмера слово *цыплёнок* — и глазам своим не верю:

WORD: "цыпленок"

GENERAL: мн. цыплёта, цыпка — то же, цыпаш
"птенец", арханг. (Подв.1), цып, цып!, укр. ціпка,
цип, цип!, блр. цыпа "цыпленок", словен. síra
"вид жаворонка", síra "курочка", слвц. síra
"наседка". ORIGIN: Все эти слова произошли от
подзывания.

А подзывание-то откуда произошло?! Фасмер не знает, что *ципор* — по-еврейски *птица*!

16.02.21



Был такой Борис Корнилов; стихи писал... Может, кто помнит? Застрелен (согласно легенде) в советском лагере, когда вышел из шеренги цветов сорвать. Шаг вправо, шаг влево — считается побегом. Автор песни, которую вся Совдепия пела: «Нас утро встречает прохладой, / Нас

ветром встречает река...». И была лихая песня ещё до большевиков: «Ору-
жьем на солнце сверкая...». Интонационно, просодически эти два первых
амфибрахия — сущие близнецы. Мелодия в них уже заложена. Мелодию,
по моей догадке, заимствовали оттуда с небольшой поправкой (мазок ге-
ния; Шостакович руку приложил), и приспособили к советским нуждам.

Корнилов был человек достойный и поэт талантливый. Но припев его
песни (может, не им сочинённый?) прямо-таки просится на пародию «Не
спи, вставай, кудрявая! / В цехах звеня, / Страна встаёт со славою / На-
встречу дня!» Один из вариантов пародии не даёт мне покоя годами. Сей-
час выложу и опростаюсь:

Нас утро встречает засадой,
Облавой встречает река.
Шалавая, что ж ты не рада
Бодрящему блеску штыка?
Убимая, что ж ты не рада
Тычку боевого клинка?

Не спи, вставай, гунявая!
В цепях звеня,
Страна встаёт легавая,
Жидов кляня.

Иные осуждают меня за эту грубоватую шутку, я и сам ей не рад, но
деваться некуда: пристала, как банный лист. Да и всем-то ведь не уго-
дишь.

16.04.21

ВРАГ НАРОДА

Мне только что рассказали, что власть в Москве убивает Алексея На-
вального, борца с путинским режимом. Нужно ли говорить, что моим
первым душевным движением были жалость и сострадание к этому ге-
рою и мученику? Но я сразу же и то увидел, что этот несчастный — враг
народа: чистый случай, когда эта формула к месту. Если хоть на минуту
признать сегодняшних «русских» народом, то придётся немедленно и то
сказать, что Путин — их законный демократический вождь. О Навальном

я ничего толком не знаю, но пусть он — лучший из людей, благороднейший из политиков со времён Аристиды. Тогда он выражает волю горстки мечтателей, которых ни один философ, начиная с Платона, никогда не пускал в своё идеальное государство; в *стране с переменчивым именем*TM их — горстка. И пусть произойдёт чудо: пусть завтра Навальный восторжествует и сядет на место Путина. Если он и в самом деле новый Аристид, он не просидит и недели. Если просидит дольше, то придётся признать, что он узурпатор и угнетатель, что он попирает волю большинства. А если, сев на трон, он пожелает эту волю большинства исполнить, он будет не лучше Путина. Есть такая китайская сказка: благородный юношамститель побеждает царствующего дракона-угнетателя и садится на его место, а на другой день у него начинают расти клыки и когти. Режимы Сталина, Гитлера и Путина глубоко народны. Охлократия — всё-таки форма демократии, а не аристократии. И вот — я всем сердцем сочувствую этому Навальному как человеку, но ничуть не сочувствую его делу. Я знаю, что дело его безнадежно, хуже того: ошибочно и бедственно, ибо он делает ставку на народ, *которого нет*. А сброд, который есть (и который, конечно, не является русским народом, а только прикидывается им), дал в последний век примеры такой жестокости, перед которой бледнеет жестокость немецких нацистов. Не шесть миллионов «чужих» (евреев), а десятки миллионов самых что ни на есть по любому счёту своих были этим якобы народом убиты и замучены ни за что ни про что, из дикой прихоти, из любви к жестокости. Так что пусть Путин здравствует. Он не лучше Сталина и Гитлера, но как он ни плох, он много лучше нынешних московитов, а его наследник может оказаться «ближе к народу», то есть ещё хуже Путина, и тогда — берегись.

21.04.21



...иные мне не верят, не верят своим ушам, переспрашивают, не ослышались ли. Нет-нет, всё так и есть. Вам сказано, а я говорю: отказ от знаков препинания при написании стихов есть отказ от искусства, надругательство над искусством — и невольное, зато выразительное признание своей несостоятельности, своей душевной пустоты. «Рифмачи мутят воду, чтобы она казалась глубже» (Ницше). Когда человеку есть что сказать, он хочет, чтобы его поняли, и скажет своё слово как можно

проще, — что бы ни утверждал на этот счёт ихний ыстеблишмент. Мандельштам, говоришь ты? Что ж, и он не святой. Отдал-таки дань *шестипалой неправде* своего времени. В левизну играл, Маяковского похваливал.

25.04.21

УПАДОК ВЕЛИКОЙ И МОГУЧЕЙ

...ты спрашиваешь, когда начался упадок «великой русской литературы»? Мне кажется, я знаю, когда. Но сначала вот что: не раз и не два в моей жизни я слышал — от людей, близких к природе, но далёких от литературы (от твоей матери, между прочим) — такое четверостишие:

Что-то рано осень
В гости к нам пришла.
Ещё сердце просит
Света и тепла.

Это изуродованный Алексей Плещеев (1825-1893). Вот уж он изумился бы такой переделке, оскорбился бы ею! Но таков уж народ: ему подавай попроще, на скорую руку.

В оригинале третья строка читается так: «Ещё просит сердце». Ни Плещееву, ни его современникам, ни Пушкину, никому вообще в XIX веке в голову не могло прийти, что «осень-просит» — рифма. Эта рифма годилась для полей и весей, для людской. Зинаида Волконская или Смирнова-Россет только брови бы воздели, услышав такое.

Началось это в 1905 году, в московском Литературно-художественном кружке. На подмостки взошёл юноша и прочитал стихотворение, где была рифма «камень-веками». Дантистки в первых рядах партера (сплошь еврейки) ахнули: как ново! как смело! Молодые литераторы в задних рядах и за игорными столами этажом выше, из державших нос по ветру, почесали в затылке.

И пошло-поехало. Людская пришла в русскую литературу и расселась по-барски. Цветаева в 1925 году рифмует уже «бургомистру-выстрел», а ей кричат из партера: мало! круче заворачивай! В 1973 году выскакивает на сцену Додик Кауфман с *Книгой о русской рифме*, где утверждает, что в рифме есть прогресс — от низших форм к высшим! — и поэт Д. Самойлов не одёргивает молодца, не говорит своему alteri ego,

что это прямая глупость. Центрифуга работает десятилетиями, и результат налицо: «великая русская литература» кончилась. С пустячка началось: бабочка крыльями взмахнула, а вышло цунами; так ведь по теории катастроф? «Враг вступает в город, пленных не щадя, оттого, что в кузнице не было гвоздя.»

Чем отличается рыцарь от смерда? Не облачением, даже не смелостью, а — верностью.

25.04.21



...Да-да, ты правильно это у меня прочла: естественность в искусстве достигается через искусственность. Попытки внести в искусство естественность неестественны. Возьми оперу: нет ничего более условного, но это живая правда... если, конечно, Радамеса не одевают в мундир штандартенфюрера.

28.04.21

РОССИЯ И ЕВРОПА

С Совдепией всё ясно, с Путляндией всё ясно, — не время ли пристально и с прежней страстью посмотреть на Россию Пушкина? За что мы обожали эту страну? За её порыв к Европе, это немисливо отрицать. Пушкин — самый европейский поэт Европы за всю историю Европы, потому что Петербург был меристемой (растущим краем) Европы. А что вышло? Европа Пушкина не заметила. Его там почитают со времён политической корректности, а до этой эпохи — французы кривили губы при его имени, говорили: «Ваш Пушкин — это какой-то Эжен Манюэль!»

Мы обожали в той России её порыв к Европе, почти прорыв к Европе, но с 1840-х пошёл откат, и Чехов уже в Азиопе живёт и творит. «Россия не состоялась» — это не злопыхатель сказал, не гой пархатый вроде меня, а страстный русский патриот Владимир Вейдле (да, приёмыш в петербургской немецкой семье, но едва ли немец; об его этносе, о «крови» мы ничего не знаем — и знать не хотим, если мы не сумасшедшие, ведь так? он был православный, то есть русский).

Это вопрос на засыпку: можно ли любить Россию, не рвущуюся всею

душой к Европе? Ответ сразу возводит между нами баррикаду. Для меня Россия в отрыве от Европы — комок глины. Россия представляет собою что-то, она достойна упоминания — только в семье европейских христианских народов, куда Московию поместил Пётр... Да-да: христианских народов. Как-то не всем даётся простая мысль, что Пётр — христианин в каждом своём проявлении (включая и его жестокость), что его главное достижение как раз в этих терминах и обозначается: он вернул азиатскую Московию в семью христианских народов Европы.

1.05.21



Нынче, 8 мая, в Европе день победы над нацизмом — и день скорби. Встречаются ветераны, сражавшиеся друг против друга, сокрушаются о погибших, о безумствах и жестокостях той страшной поры... Завтра, 9 мая, — день всемирной ненависти у лилипутов и великопутов Путляндии: единственный день в году, когда все там перестают презирать и ненавидеть друг друга (чем заняты все прочие дни), объединяясь в ненависти к цивилизованному миру. Они будут грозить нам, кричать: «Можем повторить!» — они даже того не понимают, что не их деды, а британцы и американцы, выиграли ту войну, которая не была для Совдепии ни великой, ни отечественной, а была для неё позорной с первого до последнего дня. Они гордятся тем, чего следовало бы стыдиться.

8.05.21

ТЕАТР ИЛИ КИНО?

...Станный вопрос! Ответ очевиден. Немыслимо всерьёз спрашивать, что выше. Кино — вообще низшее из всех искусств, не случайно оно и появилось последним, — театр же возник одновременно с прозой: гениальные афиняне догадались вынести из алтаря действие и, параллельно с ним, неритмизованное слово (стихи, сама понимаешь, много древнее прозы и театра, они первыми вышли из алтаря — да и не до конца вышли, остались, без них алтарь не алтарь).

В чём низость кинематографии? В сложности и высоте строительного материала, который уже сам несёт в себе готовый заряд искусства,

так что художнику делать почти нечего. Кирпич кинематографии, её неделимый атом, — человек. Выведи на экран десять человек с незаурядной внешностью, пусть они молчат и только стоят или сидят, даже не переглядываясь, или за стол их посади: пусть едят, — дело сделано, произведение искусства, пусть совсем примитивное, готово. Неслучайно режиссёры так настойчиво суют нам в нос красавцев и уродцев.

Настоящий же театр обходится без парикмахерских рож. Не случайно театр Эсхила выводил на сцену актёра в маске: не лицо актёра должно было действовать на души зрителей, не его фигура или движения, а слова, которые сами по себе не хороши и не плохи, но могут потрясти, если написаны поэтом. Не случайно и то, что в театре Шекспира женщин играют мальчики: не сексуальная привлекательность женщины должна была поражать зрителей, а её судьба, плюс, опять же, слова, которые и у Эсхила, и у Шекспира — стихи, то есть самый высокий языковой строй. Естественность в искусстве достигается через искусственность. Хотите естественности полной и незамутнённой — живите обыденной жизнью, не убеждайте себя и других, что вам требуется искусство. Кино — отдушина для тех, кто не довольствуется собою, не до конца верит, что его жизнь — настоящая. Кино — для тех, кто лишён художественного воображения.

Дальше: кинематография вызывает в человеке к чувствам самым приземлённым, самым примитивным. На ваших глазах тонет громадный океанский пароход или человека съедает динозавр — как тут не испытать ужаса и потрясения? К этому и сводится ныне искусство кинорежиссёра: к умению испугать, удивить или (в лучшем случае) рассмешить.

Ты говоришь: есть другие фильмы, без этой примитивности. Есть, кто бы спорил, но они — измена жанру, измена самой сущности кинематографии, где главное — движение, в идеале — погоня. Однако ж изменяя сущности жанра, художник ведь и искусству изменяет! И все это видят и чувствуют, недаром знаменитые в узком кругу бывших соотечественников фильмы Андрея Тарковского не собирали зрителей на международных кинофестивалях. Мы-то знаем: Андрей Тарковский был талантлив, что вообще исключение среди режиссёров, а не правило, но талант его был местный, локальный, приспособленный к запросам одной отдельно взятой страны в одно отдельно взятое время.

Следующий пункт: что такое труд актёра? Театральный акт может

длиться до получаса, но выдержать на сцене и десять минут — выразительно говорить и двигаться, без скованности, не сбиваясь, под пристальными взглядами десятков глаз — это многих человеческих качеств требует, которые и составляют талант актёра. Актёры бывают талантливы, я верю в это (хоть и не видел таковых); недаром легенды об иных живут десятилетиями и даже веками, взять хоть Рашель и Сару Бернар (обе, между прочим, еврейки) — и поэт сокрушается «Я не увижу знаменитой Федры!». А в кино что? Десять дублей по тридцать секунд и никакой самостоятельности, всё — по прихоти режиссёра. Ни труда тут художественного нет, ни таланта не требуется. Если у тебя прямой нос и звучный голос — ты актёр в очереди за голливудской статуэткой.

Бывают, бывают гениальные актёры в театре, кто бы спорил! Об этом гениальные свидетельства сохранились. Но не забудем и того, что талант актёра уж очень необычен: он состоит в том, чтобы на время перестать быть собою, став другим... потом ещё другим, потом ещё другим. У актёра нет ни своих слов, ни своих мыслей, — только своя внешность, умение двигаться, говорить, петь. Это немало, это трогает и увлекает! Но — в этом есть что-то от машины, даже от кувшина, в который содержимое, притом любое, наливают другие. Когда мы говорим об искусстве слова или об изобразительных искусствах, мы выше всего ценим индивидуальность художника, его неповторимую душевную жизнь (помноженную на мастерство), а тут — нет душевной жизни, тут она напрокат берётся! Как в том анекдоте: актёр превосходно играет пылкого любовника не только на сцене, но и в постели, когда же его просят быть собою, он оказывается импотентом. На чём веками держалось представление о том, что труд актёра безнравствен? Не на том ли, что человек продаёт своё тело, а с ним — через отказ от себя — и душу? Общество, в котором актёра любят, знают в лицо и по имени миллионы, не кажется мне здоровым.

Труд режиссёра ещё более странен. Когда театр был велик — при Эсхиле, Шекспире, даже при Рашели, — режиссёров не было. Режиссура была, а вот профессии режиссёра не существовало за полной ненужностью, и никому в голову не приходило спросить, «кто поставил спектакль». Нужно ли говорить, что актёр был свободнее в своём творчестве? Значит, и театр не выиграл с появлением этой новой должности.

И каковы эти режиссёры! Это всё какие-то несостоявшиеся полковод-

цы или диктаторы, пожираемые властолюбием и жаждой славы, но лишённые мужества. Они норовят всё перевернуть с ног на голову — лишь бы о них говорили! Они уродуют великую прозу, вовсе не рассчитанную на подмостки. Нам ставят в пример Мейерхольда, восхищаются им, — но ведь этот несчастный, убитый в большевистских застенках, был всё-таки, если пристально взглядеться, карикатурой на человека и на художника, и театр его был уродлив, крикливо-уродлив — совершенно в духе запросов его уродливого и жестокого времени. А если взять кого-нибудь из тех, кто поближе к нам по времени, хоть Юрия Любимова, — тут вообще один только стыд и фиглярство...

О сегодняшних — ни слова не скажу. Пусть люди потешатся. Но вот общее правило: хороший режиссёр — незаметен. Лучший из режиссёров — Господь Вседержитель, про которого в точности не известно, есть он или его нету. Чем больше режиссёр заметен, тем хуже спектакль, притом не только на сцене. Двадцатый век — век режиссуры, которая со сцены перешла на площадь. Бога прогнали, историю решили режиссировать. Самые знаменитые режиссёры — Сталин и Гитлер, их достижения — лагерь смерти.

Наконец и то спросим, сколько авторов может быть у произведения. Даже два автора — много; редкая удача, когда мы не задаёмся вопросом, кто из них главный (среди таких удач — Аркадий Стругацкий и Борис Стругацкий). Живописное полотно из мастерской Рафаэля — не то же, что картина Рафаэля. А у фильма теперешнего может быть хоть пятьдесят авторов, и от вопроса, кто на самом деле автор, не уйти.

Кинематография, что и говорить, всенародна: то есть — служит черни, ублажает середняка. Защитники кинематографии как-то упускают из виду, что настоящее искусство всегда обращено к лучшим, иными словами: аристократично; что *художник — враг народа*. И деваться некуда, приходится повторять знаменитые слова Ленина, хоть и с поправкой на эпоху поголовной грамотности: из всех искусств для нас главным было и остаётся кино, потому что читатель наш, он же и писатель (теперь это одно и то же) безграмотен.

9.05.21

КАИН В ОБЛИЧЬИ АВЕЛЯ

Мне стыдно, что я не в Израиле, а в безопасности. Страшные вести получаю в пересказе, потому что физически не могу читать, слушать, а тем более смотреть политические «новости». Нет для меня там ничего нового. Всюду вижу одно: Каина под личиной Авеля, — вот суть политической жизни, — а подробности мне неинтересны. Каин, в лавровом венке, с плакатом «Я — Абель!», шествует по планете под несмолкающие овации, по дороге, усыпанной цветами. Цветы рассыпают не в последнюю очередь те, кто «делает новости». Не будь этой машины новостей на службе Каина, не было бы Каину его сегодняшнего триумфального шествия...

Мне стыдно, что я не в Израиле. Мне стыдно говорить общие слова, когда дуло автомата направлено не на меня. Но я всё-таки скажу, потому что эти слова должны быть произнесены, повторю то, что говорил не раз: вид хомо-сапиенс вырождается. Теперешнее человечество делится на тех, кто понимает, и тех, кто не поймёт никогда: на Авеля и Каина. Вижу не один, а два биологических вида. Нужно ли объяснять, который из них возьмёт верх? Лицо Каина, его прижизненная маска, меняется день ото дня (те самые пресловутые подробности). Одна из гримас Каина, арабский бандитизм, исчезнет без следа, когда бензин перестанет быть хлебом и воздухом, но Каин и бровью не поведёт. Критическая масса уже набрана; если взять за основу большинство, мы — уже не люди.

19.05.21

БОМБОМЕТАНЬЕ

В русской поэзии есть одна совершенно уникальная рифма. Она была произнесена один-единственный раз, никогда не повторялась и никогда больше не повторится — разве что в память о её творце. Вот она: *магометане / бомбометанье*.

Да-да, это Леонид Мартынов. Год этой эпохальной рифмы я запомнил, но время было советское, скорее всего — конец 1960-х, и я хорошо помню, что в этом же стихотворении Мартынов позволил себе дерзость по тем временам совершенно немыслимую: употребил слово *евреи*. Теперешним этого не объяснить: слово евреи — для печати не предназначалось, оно было запретным, евреи не считались народом (почему и оперу

Навуходносор никогда в советское время на оперной сцене не ставили: шутка ли, рабы-евреи поют о родине и готовы за неё всё отдать!).

Как это стихотворение прошло в печать? А вот как: Мартынов напи-хал туда всех: христиан, индуистов, чорт знает кого, даже буддистов, которые, уж конечно, никогда и нигде бомб не метали, — всех уравнил, и вышло, что и для евреев есть местечко; перехитрил советскую сволочь. Стихотворение Мартынова было, разумеется, вызвано очередным актом арабского терроризма в Израиле, но эту исходную точку ему удалось за-камуфлировать, ведь советская цензура была глуха и бездарна.

И это был не первый случай, когда Мартынов позволял себе риско-ванную выходку в пользу евреев и Израиля (достаточно вспомнить его стихи о физике Фридмане). Зачем всё это ему требовалось? Ведь русский же человек, сибиряк, дороживший своею русскостью как немногие! Вот уж настоящий певец русского имени! Как он восхищается Россией, как воспекает её! Ни отнять, ни прибавить... Да: Мартынов — русский. Кто скажет иное, того я вызову на дуэль и застрелю из лепажа, как другой Мартынов застрелил Лермонтова. Русский — не кровь, не этнос, а — культура, призвание. Что же до этноса, то Мартынов, если приглядеться, на восьмушку был евреем: происходил из кантонистов, и как раз по мате-ринской линии: то есть был евреем галахическим. На восьмушку! Вось-мушки довольно, чтоб совесть была жива!

Мартынова теперь забыли, а иные и презирают за его советскость. Он ведь Пастернака в год его травли осудил, против Солженицына письмо подписал: куда дальше?! Но продажен Мартынов не был, советскую власть с отрочества считал родной, её сущности не понял — как и мно-гие, а главное — он был не по части политики, а по части рифмы: рифма занимала в его жизни такое место, какого не занимала в жизни ни одного русского стихотворца за всю историю русской поэзии. Отсюда и его находка, с которой я начал: *магометане/бомбометанье*. Стихотворение вышло из этой рифмы, написано ради этой рифмы. Мартынова не назы-вают великим поэтом даже его поклонники. И он — не мыслитель (куда там), а всё же место его в русской культуре бесспорно и уникально.

20.05.21



Вот две русских фамилии: Левков и Левтов. Ведь русские? Русее некуда? Но Левков — от греческого левкос (белый), а Левтов — целая фраза на иврите: *Доброе сердце*. Это ли не всемирная отзывчивость?

10.05.21



Утверждают: поэт должен быть оригинален. Помилуйте, да с чего бы?! Не сумасшествие ли это? Нужна оригинальность — ступайте в модную лавку. Оригинальность уродлива. Гёте говорил, что вполне оригинального поэта он читать не станет. У китайцев, по слухам, за три тысячи лет непрерывной традиции сочинительства случился один оригинальный поэт... — но его имени никто вспомнить не может...

Я это вот к чему: переключка поэтов — сильнейший лирический приём (тоже китайцами открытый). У Бахыта Кенжеева читаем: «Один не услышит, другой не поймёт...» Какой стих! И какой поэт был... был, пока от пунктуации не отказался в угоду моде, она же Мамона. Но это именно переключка. Потому что практически то же самое, и тоже амфибрахийем, за сто лет до него сказал Надсон: «Одни не поймут, не услышат другие...»

29.05.21

«ЗЕМНОЕ И ГОРНОЕ»

Читаю и глазам своим не верю: «земное и горное» — в статье некого-нибудь, а Юлия Айхенвальда (1872-1928), человека высокой культуры и самостоятельной мысли. Может, книга в Саранске издана или в штате Оклахома? Нет, в Москве, в издательстве *Республика*, в 1994 году, и с тем же хамством тем же издательством переиздана в 1998 году; редактор — некая Н. Красильникова... Может, Москва неприятелем захвачена? Похоже на то. Русские люди знали слово *горный*, тамошние теперешние — не слыхивали о таком и, нимало сумняшеся, заменяют его на *горный*. Не доучки — правят Айхенвальда!

В этой же книги и такое нахожу:

Роящимся мечтам лететь, дав волю,

К твоим стопам,
Тебя никак смущать я не позволю
Любви словам.

Это Фет — только изуродованный. Нужна безграмотность госпожи Красильниковой и этих теперешних захватчиков, чтобы заключить в запятые оборот «дав волю». Первая запятая — безграмотность вопиющая! Люди слышали звон, да не знают, где он. Разве они русские?! Смешно и спрашивать.

Обманулась Ахматова: великое русское слово сохранить не удалось.

12.06.21

НА СМЕРТЬ ПСА

Мотька был пёс... не собака, нет, это слово татарское, его отложим, а пёс. Не самый, пожалуй, красивый из трёх моих псов в моей долгой жизни, и едва ли не самый глупый из трёх... да-да, пусть так, но что такое ум? зато — самый любимый, самый родной, как раз мне по уму. Не за ум ведь любим, не за красоту. Свообразием же он превосходил всех известных мне псов.

Десять лет Мотька скрашивал мне жизнь. Если всю правду сказать, он спас мне жизнь — своим появлением в январе 2009, когда ему было три месяца, а мне тогда незачем было жить и некуда жить, я хотел умереть, — но он появился, и жизнь моя обрела смысл. Десять лет он был моей радостью, а ещё два с лишним года он был моим пациентом, я его выхаживал, удерживал в жизни от стоявшей над ним смерти, выносил его на траву, кормил с руки, убирал и подтирал за ним днём и ночью.

Не знаю, много ли он страдал в те два года, что болел. Тут разное можно сказать, а сам-то он сказать не мог, так и остался бессловесным... Сирингомиелия, у всех псов этой породы обычная, артроз (бедные, несчастные лапки! как больно ему было ходить!), сердечная недостаточность, зубная боль... всего не перечесть.

Своеобразие же Мотьки было вот в чём: он никогда не играл с другими собаками, включая сук... пардон, собак противоположного пола, уж не говорю с котом Василием-Веласкесом: его он боялся (зато, собачка маленькая, на сенбернара мог напасть, если тот близко подходил к скамейке в Сент-Олбансе, на которой мы сидели). Не было у Мотьки ин-

тереса в том, чтобы продолжить себя в потомстве: он хотел продолжить себя в нас, в любви, и успел в этом! Никого он знать не хотел, кроме людей, а из людей — немногих, совсем немногих: в основном двоих.

Он долго болел; начал болеть за четыре года до смерти. Пять раз ветеринары говорили мне, что пора усыпить животное. Пять раз я отвечал: нет, он умрёт своею смертью. И вот настал момент, когда он перестал есть; отказывался от еды самой любимой: от варёной и жареной курицы. Тут я понял: он жить больше не хочет...

Он умер на моих руках от укула ветеринара, но я утверждаю: он умер своей смертью... Ещё я утверждаю, что мои переживания в связи с этой смертью — малодушие и стариковская сентиментальность, хуже того: пошлость, но — мне дела нет до этого приговора. Знаю: жизнь и смерть — одно. Вот сейчас, когда я пишу эту глупость и сентиментальную пошлость, тысячи людей умирают в муках, а когда я закончу, тысячи умрут. Как там у Заболоцкого? «Шёл смутный шорох тысячи смертей...» А уж собаки!

Первая, сколько я знаю, собака, упомянутая в истории человечества, — безымянная собака Алкивиада, которой этот отважный и талантливый мерзавец отрубил хвост, чтобы о нём, Алкивиаде, заговорили в Афинах. Главное в жизни Алкивиада не удалось при всех его дарованиях, в Сицилии он был бит, Афины от него отвернулись — и поделом ему! Зато его безымянный пёс красуется в истории человечества и никогда из этой истории не изгладится, пока сама эта история существует, а имя — дело пустое, его и перевернуть недолго. Да-да: именно так; Гомер, Аристотель и собака Алкивиада — их прах смешался, они были одной крови...

Что до Мотьки, то он официально был Маттью, а на самом деле он был Мотек... — и вот теперь он не с нами, а нигде, даже не в истории, не рядом с безымянной собакой Алкивиада, рядом с Полярной звездой или чёрными дырами; но ещё он в моём сердце, которое бьётся в своём малодушии и в своей пошлости. Меня Мотька любил, вот ведь что. Случалось, спал, положив голову мне на руку. Ради этого стоило жить. Прощай, Мотька!

18.06.21



Кто не знает этих строк? —

И средь детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

А между тем их мы вполне могли получить с редакторским искажением. Ведь их и так можно прочесть:

И средь детей ничтожных мира
Быть может всех ничтожней он.

Конструкция «быть может» — быть может, а может и не быть вводной. Она может быть сказуемым.

Как было у Пушкина? У него в рукописи, как обычно, небрежной, — не так, и не сак: торчит одна запятая... понимай, как знаешь, в меру своей испорченности; возможны оба прочтения. В первой публикации появилась вторая запятая, добавленная публикатором и, предположительно, авторизованная Пушкиным, — конструкция стала вводной. Но не по небрежности ли авторизованной? Я слышу и вижу тут сказуемое. Другие, понятно, вольны видеть тут вводное дополнение и вообще что им заблагорассудится. А Пушкина не спросишь... Но если б можно было спросить, в какой бы хохот этот классик ударился! Мы ведь знаем его смешливость. Кричал бы: — Идиоты! Не всё ль равно?! — И тут вся правда с классиком: в данном случае что сказуемое, что вводное дополнение — разница невелика.

Но это далеко не всегда так. Иногда эта ошибка гадостна, отвратительна. Подобного рода ошибками испещрена вся при-советская и после-советская литература. Классиков правят, подгоняют под культурный уровень черни.

Открываю наугад другого классика, Гончарова, перелистываю одну только страницу — и пожалуйста: «...корова носит свои рога, не умея, кстати, их спрятать». Кем нужно быть, чтобы заключить слово *кстати* в запятыи?! Недоучкой и дураком. И так всюду. Не встаю из-за стола, снимаю с полки замечательную книгу *Аз и я* Олжаса Сулейменова и тоже больше одной страницы читать не приходится: «Грамматическое родство предложений из двух мест "Слова", мне кажется, вероятным...» Позор!

Обе запятые — безграмотность. Ложные вводные слова — всюду, всюду...

Но Бог с ним, с Сулейменовым; его эпохальная книга вышла при его жизни, будь он внимателен, он устранил бы вздор, просматривая гранки. Ещё может устранить. А как быть с покойниками? Ведь они за себя не постоят! Обирать мёртвых — мародёрство. Редактор деньги получает, правя классика под себя. Он попирает последнюю волю автора, воля же эта — рукопись автора и его прижизненная публикация, даже если в этой публикации есть отклонения от тогдашних норм, уж не говорю о нынешних, или даже преступления против этих норм. Нам всё драгоценно в тексте человека, которому мы поверили. Редактор по отношению к автору — слуга, воля господина для него — закон, и вот пожалуйста!

А началось с так называемой «новой орфографии», не к столу будь помянута. Мало кто сознаёт, что эта советская выдумка даже фонетику языка изменила: есть ведь существенная разница не только в начертании, но и в звучании, скажем, «нет», и «нѣт» (в XIX веке как раз начертание этого слова было лакмусовой бумажкой грамотности). В сущности, Совдепия надругалась над Россией и здесь... но Совдепия по-видимости прекратилась, её не стало, а надругательство продолжается.

Если русская литература действительно была великой (до большевиков, конечно), то все настоящие русские классики должны быть изданы в своей родной орфографии... Но совершится эта работа не раньше, чем прекратит своё существование теперешняя так называемая Россия, в которой от России настоящей ничего не осталось.

16.07.21

TOUT BEAU SBOGAR

Не знаю, как в новых изданиях Пушкина, а в старых советских — имя собаки Алексея Берестова из *Барышни-крестьянки* никак не поясняется, зато даётся перевод tout beau: тубо. Спасибо добрым большевоющим пушкиноведам! А ведь имя это прелюбопытное: это имя благородного разбойника из романа Шарля Нодье *Жан Сбогар*. В этом весь Пушкин: дать в одном слове и важную портретную черту героя, и — портрет среды, портрет эпохи. Берестов — не мыслитель и не поэт, мечтает в гусары поступить, он не чужд достоинств, но в целом — середняк, по-

средственность, как и всё его окружение, включая мнимую крестьянку, бойкую и смелую Лизу. Но какова эта посредственность! В русской крестьянской глуши, в варварском помещичьем захолустьи — видишь Европу, меристему Европы. И — понимаешь, отчего Пушкин смотрит чуть-чуть свысока на англичанку Лизы «мадам мисс Жаксон» (Jackson, разумеется) и прочую европейскую прислугу в русских дворянских домах. Эта тогдашняя русская посредственность вроде Берестова — восхищения заслуживает... Культурный расцвет держался на рабском труде крестьян и никогда бы не достиг этой свой пышности, не будь этого труда, не будь сословия тёмных доисторических людей, имевших рыночную цену. И как этот расцвет был недолог! Россия Чехова — уже не Европа. То, что за нею последовало при большевиках, можно не обсуждать. Доисторический раб прослышал, что его угнетают, вышел на историческую арену и научился переводить *tout beau*, но о Сбогаре не услышал даже и спустя полвека от начала своего господства.

4.09.21



...как? чавстер, ты говоришь? Слово вполне укоренённое в современном разговорном английском: *chavster*. Ничего нового... кроме того, что оно цыганского происхождения — и впервые прозвучало в 1845 году, в новелле *Кармен*... да-да, в той самой, у Мериме. Прозвучало, да никто не услышал. Точнее, там ещё только корень прозвучал... С *Кармен* ведь почти тот же фокус, что с гётевским *Фаустом*: все знают рамку, канву, а не суть. Никто внимательно не прочёл. А Мериме, поклонимся ему, был лингвистическим гением, из тех, что усваивают новый язык за две недели (их человечество числит по пальцам на руках). Не кто-нибудь, а он, знавший русский язык почти как мы с вами, сказал в глаза Виктору Гюго, что лучший современный поэт — Пушкин. Нужно ли объяснять, что Гюго его возненавидел? Кстати, и было за что: в политическом отношении Мериме был... как бы это определить поделикатнее: приспособленец, конформист, уж это точно, если не блюдолиз: состоял при дворе ничтожного Наполеона III. Тут я присоединяюсь к Гюго... но только тут; в остальном — восхищаюсь Проспером Мериме. Да-да, он был феноменален как писатель, возьми хоть его *Хроники времён Карла IX*... какое неудачное назва-

ние, и какой замечательный, ошеломляющий роман!

Есть, кстати, нечто неустраимо общее между прозой Мериме и прозой Пушкина, именно: мы восхищаемся — но не насыщаемся. Нам всё кажется, что последний пир, свадебный или поминальный, у нас украден, но это и есть печать гения: гений — не хочет произнести то, что подразумевается. Как в этом смысле ошеломляюще прекрасны концовки *Метели*, *Барышни-крестьянки*, *Капитанской дочки*! Читатель уже знает о счастливом конце, а герои — ещё не знают!

Уф! Возвращаюсь к Мериме... Чавстер сегодня вот кто (безотносительно к полу): массивная золотая цепь на шее с крестом или дукатом, серьга в ноздре и в ухе, а то и в пупке, татуировка на шее, на щеке, под мышкой и на заднице, волосы зелёного цвета, и, главное, штаны драные на коленях и выше, — поразительная по своему уродству мода, которая держится уже лет сорок, не увядая...

16.09.21



Вышел сборник памяти Юджина Дубнова с моими воспоминаниями о Дубнове, изуродованными до неузнаваемости. Сборник напечатан в городе с переменчивым именем™ на берегах Невы, в издательстве *Алётейя*. Ни в этот город, с которым я не знаюсь, ни тем более этому издательству, запятнанному политическим приспособленчеством, моя статья не предназначалась. Составительница Л. Гринберг в сотрудничестве с издательством фальсифицировали мои воспоминания: исказили не только мой писательский стиль, но и стиль Дубнова, и самый его облик, надругались над памятью писателя. К названию моего текста сделано примечание: «Статья публикуется с незначительными сокращениями». Это ложь: сокращения и другие вмешательства настолько значительны, что я не считаю эту публикацию моею, отказываюсь от неё. Моё имя стоит над статьёй по пиратскому произволу непрошенных редакторов. Всё существенное из статьи выброшено. Но и десятой доли второстепенных поправок, мешанских по своей сути, я бы не принял. Меня в этом сборнике нет.

Алётейя на языке эллинов означает *истина*, но я не в первый раз убеждаюсь, что настоящее имя этому издательству — *Атимия* (Ложь, Бесчестье, Мошенничество). В 2016 году мне пришлось снять мою вступи-

тельную статью *Писатель земли русской* к собранию сочинений Бориса Хазанова, когда тамошний холуй-редактор потребовал смягчить мою характеристику страны с переменчивым именем™. На этот раз такого же рода изменение было без спроса внесено в документ, который я *цитировал*. Искказили цитату!

В приемлемом виде мои воспоминания о Дубнове были напечатаны в американском сетевом журнале *Чайка* 20 мая 2020 года, в безупречном — на моём сайте.

19.09.21

МЫ ОПЯТЬ В СОВДЕПИИ

...ты права: у — неё — ни ума, ни чести, ни совести! Я ведь целых полтора года бескорыстно помогал этой Л. Гринберг в составлении проклятого сборника о Дубнове, переводил для неё с английского, рылся для неё в сети, переписывался за неё с британцами и американцами; по её просьбе написал мои воспоминания о Дубнове. Я полгода препирался с кремлёвскими википедистами, грозившими снять в русской Википедии мою статью о Дубнове, хотя статья с самого начала всем требованиям Википедии отвечала. И вот благодарность! Этой бессовестной женщине потребовалось снять в моих воспоминаниях о Дубнове фразу в одиннадцать слов о том, что статьи о Дубнове в русской и в английской Википедии написаны мною! С чего бы это? Уж тут-то она была свидетельницей и наблюдательницей. Я потом ещё дополнения и поправки в эти две статьи вносил по её просьбе... Конечно, я не для неё старался, но, ей-богу, не такой уж это грех с моей стороны упомянуть коротко о моих трудах в пользу Дубнова...

И тут ты права: ей и её подручному Ю. Вайсу, записному редактору с дурной репутацией, потребовалось изуродовать мои воспоминания ещё и по форме, не только по мысли: кавычек понапихали, где я их не ставлю, запятых не к месту, красных строк, где им быть не положено; букву Ё всюду мне на Е заменили, — внесли те самые безобразия, из-за которых я не раз снимал уже набранные в печать мои публикации. Моею собственностью, моим текстом — эта Гринберг и этот Вайс распорядились так, как если бы это была их собственность! С какой стати и по какому праву? Мы словно и не уезжали из Совдепии! Но мы ведь всё-таки уехали оттуда

— и не в последнюю очередь для того уехали, чтобы навсегда избавиться от идеологической цензуры и отеческой опеки полуграмотных недоучек.

20.09.21



...и для меня тут странность, не только для тебя: герой стихотворения Льва Лосева («Понимаю — ярмо, голодуха»), близкий к Бродскому, если не тождественный с Бродским, говорит эти слова явно о России: «Вот уж правда — страна негодяев: и клозета приличного нет» — но и Бродский, и Лосев не могли не знать, что под страной негодяев Есенин всё-таки Америку имел в виду. Есенин свою замечательную вещь (без шуток замечательную) не завершил, действие в Америку не перенёс, всё действие в Совдепии разворачивает, и негодяев колоритных он выводит предостаточно, — вот и получается неладное: получается, что его страна негодяев — Россия...

А что это стихотворение Лосева — из лучших, если не вообще лучшее у него, тут я совершенно с тобою согласен («оскорбительны наши святыни, все рассчитаны на дурака»), но с той оговоркой, что пафос этого стихотворения мне чужд: Лосев явно тянет в сторону России-страстотерпицы, мученицы, избранницы божьей, — будто не сами русские виноваты в своих бедах. Есть на свете горемычные народы, возьми хоть армян или курдов... да-да, и другие тоже есть, но уж никак в этот ряд не становится титульный народ державы-завоевательницы. Другое дело, если признать, — как я твержу уже десятилетия, — что в России, считая от петровской революции, были два народа: русские и рабы; что в ходе большевистской революции рабы искоренили русских — и присвоили их имя. Тогда Россию можно мученицей признать: её замучили, погубили, но этой погубленной страны — России Петра — больше на свете нет.

20.09.21

ПОДЛЫЙ КОРРЕКТОРСКИЙ ЗУД

Корректор, выпускник советского университета, честно отсиживает восьмичасовой рабочий день в советском издательстве — и за свою со-

ветскую месячную зарплату, тоже честно, коверкает классика: переиначивает начертание его слов и фраз, правит ему пунктуацию и падежные окончания... Он, корректор, знает, как надо, а классик — не знал! Он, классик, был велик, но вот в мелочах не дотянул, в мелочах его поправит чиновник, советский корректор. А что при этом он классика уродует под советскую мерку, это ему не по уму, потому что он представитель новой человеческой общности: великого советского народа.

Слуга не просто перечит господину, а переиначивает его посмертную волю, кошунствует, святотатствует! Столоначальник переписывает Пушкина!

Но советский человек ведь не в 1917 году возник, а много раньше. И корректорский зуд у этой породы людей начался чуть ли не при жизни Пушкина.

Величайшие из русских людей, достаточно упомянуть Владимира Соловьёва (1856-1900), сходились в том, что величайшее стихотворение Пушкина — не *Евгений Онегин* (который хоть и роман, а в стихах, то есть стихотворение), но *Пророк*. Ничего подобного мировая литература не знает. Нету такого пророка и в Библии. Ходасевич считает, что именно с *Пророка*, с 1826 года, началась настоящая русская литература: что это ошеломляющее стихотворение вывело русскую литературу на мировой уровень.

И что же? Кто-нибудь из нас прочёл эти стихи в подлиннике? В этом позволительно усомниться. Искажения начались задолго до прихода гегемона. Рабы, слуги — начали на свой лад поправлять господина, гения. Брюсов в 1921 году насчитывает двенадцать более или менее канонизированных искажений в *Пророке* (я вижу и того больше); Брюсов приводит подлинный текст Пушкина... который, и это уже просто анекдот, советские издатели тут же искажают.

Вот как это стихотворение выглядело в первой своей публикации в 1826 году (рукопись Пушкина до сих пор не найдена):

ПРОРОКЪ

Духовной жаждою томимъ,
Въ пустынь мрачной я влачился, —
И шестикрылой Серафимъ
На перепутьи мнѣ явился.

Перстами легкими какъ сонъ
Моихъ зѣницъ коснулся онъ.
Отверзлись вѣщія зѣницы,
Какъ у испуганной орлицы.
Моихъ ушей коснулся онъ, —
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ:
И внялъ я неба содроганье,
И горній Ангеловъ полеть,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.
И онъ къ устамъ моимъ приникъ,
И вырвалъ грѣшной мой языкъ,
И празднословной и лукавой,
И жало мудрыя змѣи
В уста замершія мои
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ мне грудь разсѣкъ мечемъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И угля, пылающій огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ въ пустынь я лежалъ
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
«Возстанъ, Пророк, и виждь, и внемли,
Исполнишь волею Моей,
И обходя моря и зѣмли,
Глаголомъ жги сердца людей.»

(Отмечу мимоходом, что конечный ер (ѣ) мне не мешает и не помогает; отмена его — единственный приемлемый элемент в советской орфографии; *ій* и *ий* — для меня по звучанию одно и то же, а вот разницу между *ѣ* и *е* я слышу; внесение запятых, где их у Пушкина нет, считаю недопустимым; считаю прямым хамством отмену предложного падежа для существительных на -ѣ: должно быть *на перепутьи*, не *на перепутье*; порядок точки и закрывающих кавычек тоже не безразличен тому, кто знаком с формальной логикой: в конце должно быть именно .» (сперва точка, потом закрывающие кавычки), не наоборот. Так же точно и вот это моё взятое в

скобки пояснение заканчивается сперва точкой, а только после неё скобкой.)

Мне возразят: все эти очевидные нам искажения — мелкие, грандиозного смысла стихотворения не меняющие, а иные из них просто и неизбежны стали при переходе на «новую орфографию». На это я так отвечаю: нас теперешних к правильной русской орфографии уже не вернёшь, мы выросли в советской, но Пушкина мы должны получить в его, Пушкина, орфографии, которая всем нам по уму: в русской орфографии его времени. Это так не только потому, что в гении мы чтим всё, включая его заблуждения, но, в первую очередь, потому, что так называемые мелочи зачастую несут и смысловую, и художественную нагрузку, при взгляде поверхностном от нас ускользающую.

Но это не последний довод. Стихи не к одному смыслу сводятся, иначе мы бы обходились прозой. Стихи не в меньшей мере живут ритмом и звучанием слов, их интонационным строем, составляющим в стихах неразрывное единство со смыслом и зачастую дополняющим смысл, как в песне мелодия дополняет и, случается, *выправляет* не совсем точные слова. А звук и ритм слов — зависят от графического исполнения текста стихов. Слова *чортъ*, *чёрт* и *черт* обозначают одно, а звучат по-разному. Запятая всегда изменяет ритм, а может изменить и смысл сообщения — даже на противоположный. Начертание букв и слов в стихах, знаки препинания (малодушно отвергнутые многими современными стихоплётами) входит в тот сплав необходимых элементов, который высокое вдохновение вырывает у мирового хаоса. И хотя графические элементы обычно менее важны в художественном сплаве, чем звук, смысл и ритм, но и они никогда не безразличны нашему эстетическому чувству, иначе бы вышло, что это про нас сказано: «на вес кумир ты ценишь бельведерский».

Совдепии давно нет, последних корректоров уволили без выходного пособия в 1993 году, но советский корректорский зуд никуда не делся: на смену корректорам на зарплате, среди которых случались и культурные люди, пришли корректоры самозванные, слышавшие звон, да не знающие, где он, — включилось долгожданное народное творчество, которое десятилетиями сдерживалось плотиной советской цензуры. И дела пошли ещё хуже... Простая мысль: не следует править того, перед кем ты преклоняешься, не втемяшивается в нынешние головы. Да тут бы и простого уважения к покойнику должно было хватить: не искажай воли того, кто уже

умер и не может заступиться за свой текст, выражавший, в меру его таланта, его душу, — ведь это же надругательство над прахом! Но куда там! Орудуют заплечных дел мастера... Ну, и съехала русская литература в её теперешнее корыто, а ведь некогда великой почиталась. Булгарин взял верх над Пушкиным. А началось с мелочей, с добавления в конце последней строки *Пророка* восклицательного знака, которого у Пушкина нет.

30.09.21

«OH, SUSANNAH»

Не нужно так уж хорошо знать английский, чтобы почуять неладное и заподозрить скабрёзность в припеве знаменитейшей песни Стивена Фостера (1826-1864), ставшей своего рода гимном американских конфедератов:

Oh, Susannah,
Don't you cry for me,
For I come from Alabama
With my banjo on my knee.

Не так уж они музыкальны были в своей массе, эти конфедераты; не в банджо тут дело. Но вместе с тем скабрёзность эта хорошо завуалирована даже для носителей английского языка (не хуже, чем в русской при сказке «Хозяйка дома? Гармонь готова?», считающейся пригодной для малолеток), — иначе как бы могло случиться, что вот уже полтора века эту песню поют всюду, и она входит в число ста самых прославленных песен Америки?

Скабрёзность, понятно, замаскирована рифмой (рифмы *Susannah/Alabama* и *me/knee* считаются в английском языке полноценными), ритмом и мелодией: песенным началом. Стихи часто полны скрытых намёков, над которыми не всякий задумывается. Мелодия всегда важнее слов, всегда отодвигает слова песни на второй план. Колено (*knee*) потребовалось сочинителю для рифмы, полагает поверхностный ценитель, а банджо — самое обычное в стихах слово-наполнитель, вставленное для ритма, несущее минимум смысловой нагрузки. Главное ведь в том, что человек едет домой, возвращается к возлюбленной (в позднейшей версии: солдат-доброволец едет в родные края, возвращается целым и невредимым с кош-

марной братоубийственной войны; песня существует во множестве народных версий).

А как забавно читать переводы этого припева на другие языки! Тут уж точно половина иностранцев не понимает, в чём дело. Вот, например, испанская версия:

Ya llegué de Alabama
Con mi banjo y mucho ardor

И это ещё хороший вариант: переводчик догадался, что возвращенец полон любовным пылом (*mucho ardor*). Однако ж банджо переводчик не убрал из текста, то есть едва ли понял, что у этого слова есть не совсем пристойное значение. Нет чтоб написать:

Эй, Сюзанна,
Зря не хнычь по мне!
Еду я в Луизиану
С чем-то важным на ремне...

или: «с томагавком», «с пистолетом», «с доброй саблей», «с ятаганом»... да мало ли с чем, но — не с банджо... потому что банджо означает в этом тексте детородный член. А Луизиана работает тут лучше Алабамы (но это для нас, русских); точная рифма всегда сообщает стихам убедительность формулы (в этом — назначение рифмы), по смыслу же эти два государства, Алабама и Луизиана, здесь совершенно взаимозаменяемы: и там, и там — Deep South.

Вообще песня Фостера на многие размышления наводит. Например, на дивную живучесть американских традиций, на странную у дикарей верность традициям. Нужно ведь помнить, что в 1846 году, в год написания песни (ни сном ни духом не связанной с негритянским вопросом, то есть — не относящейся к гражданской войне 1861 года), Америка была культурным захолустьем. А Фостер был не бог весь какой сочинитель, однако ж его помнят и чтут по сей день за это единственное в его жизни культурное достижение.

Так — с полускабрёзной песней. И так же — с американской конституцией, коротеньким и серьёзнейшим документом отцов-основателей, за двести с лишним лет потребовавшим лишь нескольких поправок-уточнений, а не полной переработки, как во Франции и в Германии. Мне, правду

сказать, американская конституция поэмой кажется. Прекрасное должно быть величаво — это про неё. Гениальное по своему совершенству и внутреннему достоинству сочинение. И какие люди стоят возле этой поэмы! Дух захватывает. В Германии на дворе третья республика, ведь так? с третьей, следовательно, конституцией, во Франции — пятая («Француз дитя. Он вам шутя разрушит трон и даст закон» (Полежаев)), а ведь американская республика старше первой французской и первой германской!

9.10.21

ПОЭТИЧЕСКАЯ ВОЛЬНОСТЬ

Обязательство, обязанность и долг — почти синонимы, не правда ли? Они не одного роста и не одной мощи, но выражают одно: необходимость выполнить обещанное или завещанное. Можно ещё отметить различие временное: обязательство и денежный долг — необходимость одноразовая, обязанность — необходимость протяженная, а долг в его высоком значении — необходимость пожизненная, предполагающая жертвенность. С этими уточнениями — перед нами понятия очень близкие и слова-близнецы. Отчего же русский язык распорядился этими словами столь несхожим образом? Знаменитый стих

Ты не должна любить другого

невозможно хотя бы временно, ради понятийного упражнения, заменить стихом

Ты не обязана любить другого,

потому что получается вздор. Вдова уж точно не обязана любить другого мужчину, об этом странно и говорить. Но ведь поэт нам иное сказал: она обязана *не* любить, должна *не* любить. Отрицательная частица при долгом существовании почему-то забегают вперёд, перескакивают на неподобающее ей место — и никто не изумляется, все привыкли. Немыслимо даже и сказать такое: «Ты должна не любить другого», — это будет не по-русски.

12.10.21



...я изумлён твоим сообщением! Я знаю главное про страну с переменчивым именемTM, и как раз потому знаю, что вот уже сорок лет не смотрю, не слушаю и не читаю тамошних новостей. Мне не интересны детали, не нужны имена. Главное в том, что там всюду и во всём торжествует подлость. Тамошняя жизнь, тамошняя сущность — триумфальное шествие подлости. Такова уж природа тамошнего населения, не ставшего народом...

Но эта новость, эта твоя деталь — идёт дальше всякого вероятия! Как?! Татьяну Вольтскую, патриота несомненного, жертвенного, человека, сражающегося за родину, — объявить иностранным агентом?! Вытираю пот со лба. Тут мне урок, притом двойной. Во-первых, у подлости всегда есть в запасе нечто непостижимое. Подлость неистощима на подлости. А во-вторых — винюсь перед Вольтской, она ведь наша приятельница: всегда я смотрел на её патриотизм свысока, всегда изумлялся её слепоте, — как можно не видеть, что народ этот мёртв?! Как можно сражаться за народ, которого нет? Как можно верить в эту поганую страну? И сейчас держусь того же, но уже не свысока на Вольтскую смотрю, а восхищаюсь ею. Нужно было сделать нечто поистине замечательное, чтобы вызвать такой протуберанец злобы со стороны советской сволочи. Что ждёт несчастную? Суд линча? Судьба Политковской? Страшно за неё... Будь я верующим, я бы молился за неё. К счастью для неё, она верующая, православная... христианка — в стране поголовного ханжества, торжествующего язычества...

16.10.21

ПРИДИРКИ К ПУШКИНУ

Любовь к Пушкину я пронёс через всю мою жизнь. Моего Пушкина никому не уступлю. Но моя любовь никогда не была слепой и безвольной; она сопровождалась несогласиями, большими и малыми. Некоторые мне хочется записать.

Ещё подростком, прочтя *Полтаву*, я почувствовал, что я не сыт. Во мне проснулся историк; я сказал себе: хочу обстоятельного и детального рассказа; хочу прочесть источники; Пушкин — недоговаривает. Да и что это за стихи, к которым нужны авторские примечания? Козьма Прутков

получается: «который наг == на коем фрак»! Можно ли вообразить авторское примечание к *Пророку* Пушкина? Поэзия по своей сути, по своему определению есть высшая и последняя реальность. Проза ей не нужна.

Теперь я моё тогдашнее неудовольствие формулирую иначе: стихи, пусть самые блистательные, — не годятся для того, чтобы пересказывать и переосмысливать большие исторические периоды. Тут нужна проза Фукидида, проза Ранке.

Иное дело эпизод. В нём поэтическая фантазия вольна исказить реальность до неузнаваемости. Описание Полтавской битвы у Пушкина — бесподобно, хоть и неправдоподобно, несправедливо; не восхищаться им нельзя; это гимн торжествующего патриота. Это изумительные стихи. Но что же Пушкин сказал нам в переводе на прозу? Отвлечёмся на минуту от стихов. Поэт сказал нам, что столкнулись два равных и достойных друг друга противника; и что Россия — европейская держава. Примем это, отложив оговорки. Примем и патриотический восторг Пушкина. Разве мы не делили этот восторг в детстве? Неправда, что патриотизм — последнее прибежище негодяя. Это ошибка переводчика. Правильный перевод такой: последнее прибежище негодяя — патриотизм. Смысловое ударение — на негодяе. Патриотом быть не стыдно; не всегда стыдно.

Но историк даже и патриотический не похвалит бесподобное неправдоподобие Пушкина. Забудем о стихах, оттеним некоторые факты. «Глубокой сон во стане шведа» — ошибка. Шведы не спали перед битвой; битва началась не с «зарёю новой», а в два часа ночи, и длилась она не два часа (Пушкин пишет в примечаниях и в своей исторической прозе, что и двух часов не потребовалось), а полных десять, если не одиннадцать часов. «Наших было более», говорит Пушкин; но он не говорит, что русских было *вчетверо* больше. Пушек у русских было 50-60, а у шведов три или четыре. Русские со своей картечью находились не в «окопах», а в редутах, в земляных крепостях счётом более десяти. Шведы к моменту битвы были изнурены двухмесячным маршем по выжженной земле и долгим голодом; битва была им навязана именно голодом. И при этом, тут Пушкин прав, шведы шли в атаку, а русские оборонялись: стреляли по ним картечью из укреплений. Расчёт у шведов был на внезапность. Расчёт не удался, их заметили в два часа ночи, но шведы не отступили, и не они первыми побежали, а выведенные в поле русские: та самая «первая линия», которая, по Пушкину, решила всё. Не опоздай заблудившаяся

шведская конница, победа была бы за шведами.

Но победа, притом бесспорная, досталась русским. И слава, заслуженная мировая слава досталась русским. Россия стала мировой державой, стала в один ряд с Австрией, Пруссией, Англией, Голландией, Данией. А полтавское поражение стало концом недолгого шведского великодержавия (о чём Пушкин мог бы сказать, да не сказал; хоть это так интересно, ведь Швеция по природным и человеческим ресурсам была крохотной страной!).

О чём Пушкин не знал, так это о том, что нравственная победа в некотором роде осталась за шведами. Не об их мужестве речь, хоть оно под Полтавой и было беспримерным (врёт русская присказка «как швед под Полтавой»). Нет, эта нравственная победа выяснилась спустя столетия. Ещё в советское время мы слышали, что в Стокгольме есть музей Полтавской битвы (и ухмылялись: небось, это музей полтавской победы). Победа шведов вот в чём: в Швеции в наши дни знают по именам и изучили судьбы чуть ли не всех *рядовых*, сражавшихся под Полтавой, не говоря уж об офицерах, — судьбы тех, что погибли, и тех, что закончили свою жизнь в Сибири. Чтобы понять, как это много, попытаемся вообразить себе в Москве музей сражения, в котором русские были разгромлены; ну, хоть музей битвы под Варшавой, музей поражения от поляков в ходе захватнической войны 1920 года, музей разгрома Тухачевского Пилсудским. Нет такого музея, а ведь большевики, между прочим, планировали вслед за Польшей захватить Германию и Францию. Провалились наполеоновские планы мирового господства. Разве такое недостойно музея? Теперь возьмём какую-нибудь знаменитую победу русских... да хоть ту же Полтаву: знает ли народная память хоть одного русского рядового, погибшего под Полтавой? Ни одного не знает!

...Исторические описания Полтавской битвы я прочёл много позже, не в отрочестве, сейчас пишу по памяти, пишу не как историк, в чём-то, несомненно, неточен, хотя то главное, что волнует историческую мысль, пересказываю верно. Однако ж это главное второстепенно с принятой мною точки зрения. Пушкин — это стихи. Я говорю о стихах. Повторю моё утверждение, забрезжившее в детстве: даже несомненному гению не стоит пересказывать стихами то, чем занята пытливая Клио, — то, что поддаётся изучению только в пристальной, критически выверенной исторической прозе.

Ну, и о другом у Пушкина.

Второй раз, уже в юности, я споткнулся при чтении Пушкина на словах Старого Цыгана, обращённых к Алеко:

Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою.

Ошибка слишком бросалась в глаза и не искупалась превосходными стихами: «робки, добры душою» — это не о цыганах, не о кочевниках. Я уже прочёл к тому времени порядочно, в том числе Мериме и Гарсиа-Лорку. А Пушкин и в эпилоге упорствует в своей ошибке: «Телеги мирные цыганов, / Смиренной вольности детей...» Вольность — смиренная! Вольность, не мстящая за обиду! Теперь добавлю к тогдашнему моему впечатлению, что и «да будет мир с тобою» — слова христианские, странные в устах самого доброго и смиренного язычника. Добавлю и хорошо известное ныне: Кармен — дочь Земфиры, Мериме читал Пушкина в подлиннике, восхищался им, но цыганку вывел куда более живую и достоверную, чем едва намеченная пушкинская Земфира.

19.10.21



Иной раз взглянешь ненароком на два исторических события — и охнешь от их соседства. Надо же было такому случиться, чтоб Достоевский умер за несколько дней до убийства Александра II. Для Достоевского царь был отец. Достоевский всё сокрушался: когда же «царь действительно поверит, что народ ему дети... Что-то уж очень долго не верит».

И тут на тебе: отцеубийство! Конечно, многие цареубийцы, удачливые и неудачливые, были из дворянских семей. По Пушкину — они и есть народ, «бессмысленный народ» из стихотворения *Поэт и чернь*, читатели Булгарина; а вот для Достоевского народ — уже простонародье, крестьяне и мещане. Этот сдвиг произошёл, насколько вижу, в «сороковые роковые»... (Да, мы стихотворение Пушкина получили под другим названием: *Поэт и толпа*, но все сколько-нибудь заслуживающие доверия писатели прошлого, включая Владимира Соловьёва и Мережковского, называют его: *Поэт и чернь*.) Пушкин в письмах 1831 года даёт картину

холерного бунта в Петербурге с убийством *врачей* — и что же? картечи не потребовалось, царь храбро явился перед бунтовщиками, и вся Сенная площадь перед ним на колени упала. Прав был Достоевский: царь просто-народью отец! Но Достоевский не дожил до 1 марта... и до расстрела Романовых... и до Гулага...

6.11.21



...что за вздор?! О чём у нас речь? Может, мы все с ума посходили? Нет и никогда ни у кого не было возражения против Бога-Творца. Вселенную кто-то создал, она — создание... об этом и физика говорит; вселенная конечна, она вышла из геометрической точки. Но мы ведь и то знаем, что пока мы — хомо-сапиенс, нам некоторые вещи никогда не откроются. «Не знаем и знать не будем» — могу и по-латыни написать, формула известная. Нам на смену может прийти биологический вид... — или не совсем биологический — более совершенный. Но даже внутри нашего несовершенного биологического вида одно мы знаем наверное: интересоваться значит зависеть. Если Бог-Творец интересуется мною, значит, он зависит от меня! Значит, он несовершенен. Почитать — не то что любить — Бога, который от меня зависит, я не готов. А где мне взять другого Бога?

23.11.21



Вчера я заглянул в Арсения Тарковского и ахнул: как хорошо! Как давно это было писано! Как крепко забыто! Кто сейчас способен написать или хоть прочесть такие прекрасные стихи?... Но потом наткнулся у него (в стихах!) на фамилию Хлебникова и отложил книгу с досадой.

Не вздор ли? Тарковский каждой своею строкой отрицает Хлебникова, он десятью головами выше Хлебникова по уму и таланту, а вот поди ж ты: нужно упомянуть, полагается! В Совдепии имя Хлебникова было кукишем, который общество показывало (в кармане) бездарной власти; оно было пропуском в приличное общество. Такова инерция человеческой мысли. Конвенция, договорённость, круговая порука — отмечают

здравый смысл, помрачают ум самых умных, поработщают волю самых талантливых.

7.12.21

2022



Простите великодушно, но это коллективное письмо я не подпишу. Можете не сомневаться, что я всем сердцем с Вами и другими порядочными людьми, выступающими против этой войны. Вы всё написали по существу правильно, я согласен с каждым пунктом, — но это ведь не моё сочинение, а я издавна ставлю моё скромное имя только под мною написанными словами. Не обессудьте.

27.02.22



Я аполитичен, но война вынуждает меня высказаться.

Захват Украины — подлость, однако ж не новость. Путин не лучше Гитлера и Сталина, но его не стоит винить: он выполняет «волю народа». Миллионы кричали: «Крым наш!» Теперь миллионы будут кричать: «Киев наш!» Нужно, наконец, произнести и усвоить эту горькую истину: «русский народ» как он есть после 1917 года — хуже Путина, Сталина, Гитлера. Легенда о народе-богоносце развенчана. На месте мужичка-христовофора оказался Малюта Скуратов. Зверства, подлость — вот народное «спасибо сердечное» тем, кто «сеял разумное, доброе, вечное», да и всем честным людям. Преемник Путина будет хуже Путина — и ближе к народу. Так называемый русский народ в своей массе находится на доисторическом уровне. Там есть подвижники и праведники, но людей просто порядочных — капля в море, и усреднённый русский, будь он татарин или еврей (для меня русский и россиянин — синонимы), лишён ума, чести и совести. Если бы на улицы вышли не тысячи, а миллионы, Путин отозвал бы своих убийц. Мы всегда знали: большевики по своей жестокости превосходили нацистов. Но большевизма нет, а бессмысленные жестокости про-

должаются. И приходится признать: не большевики, а так называемые русские оказались хуже германских нацистов.

27.02.22



...Мне кажется, что от упрёка в ксенофобии я надёжно защищён происхождением и воспитанием. Я о русских говорю не как представитель другого народа. Я *ихний*. Я из крепостных. Я Чистяков по матери. Я был выращен в сознании, что я русский, я гордился этим, о другом и помыслить не мог. Но русским вокруг меня это не нравилось, и со временем — ох, не сразу! — во мне взяла верх иная гордость, а с нею — и прозрение: с болью и горечью я уразумел, что такое Россия и русские.

Заглянем в историю, возьмём польский вопрос. Чем в девятнадцатом веке откликнулись на борьбу поляков за свободу лучшие русские люди? Самые лучшие: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, да и все прочие, исключая Герцена. Глупостью, низостью, злобой. Я не о черни говорю, которая в просвещённом Петербурге в девятнадцатом веке врачей убивала как отравителей, а студентов — как поджигателей. Я о просвещённых европейцах говорю. Стыдно и вспоминать.

А после 1917 года — чернь воцарилась. Правы были большевики: они создали «небывалую человеческую общность, советский народ». Создали на базе русского народа и его национальных ценностей, включая рабство. ГУЛАГ не евреи придумали и не литовские стрелки, он — плод русской истории. Большевики создали народ без понятия о святом, без Бога и нравственности. Ленинизм сменился кривославием — а народ и бровью не повёл. Ничего не заметил. Ему что та идеология, что эта, — лишь бы лестная, лишь бы имперская...

Нет-нет, я не на этнос напирая, тут комар носа не подточит. Я в юности с полным правом считал себя русским, с кулаками кидался на тех, кто называл меня евреем. А потом перестал кидаться. И шесть лет прожил в Израиле. И готов был в любую минуту жизнь отдать за Израиль, который вернул мне всё, отнятое Россией, в первую очередь человеческое достоинство. И сейчас готов. А ради теперешней России пальцем не шевельну,

на почву её ни за какие миллиарды не ступлю.

28.02.22



Не говорил ли я тебе, что обязательно найдутся добрые люди, которые истолкуют моё презрение к Путляндии™ как ностальгию? Исполать им! Так, кажется, по-русски? Пусть потешатся. А по мне — это подтверждение моих слов, которые я не раз и не два произносил публично (там были подсчёты, я сейчас их не опускаю): что 96% наших с тобой современников — идиоты. Заметь, что я не только о тамошних русских говорю...

3.03.22



Я тут давеча повторил слова Булгакова: «Истину говорить легко и приятно». Повторил ради красного словца. Я так не думаю. Весь мой опыт подтверждает слова Лютера: «Истина мучительна и болезнетворна». Да что мой опыт! Исторический опыт это подтверждает. Людей на костёр посылали за непривычное, казавшееся святотатством. Лютер жизнью рисковал, вывешивая на двери церкви свои тезисы. Он уцелел, но заплатился недёшево: от него отвернулись родные и близкие. От него вернулся Эразм, а ведь Лютер всего лишь привёл в систему слова Эразма. «На этом стою и не могу иначе», сказал Лютер судьям, — но разве сам он не страдал от своей истины? Ведь он вырос в недрах католицизма, с младенчества дышал этой верой, умилялся перед иконами. Отвергая папство, он от матери родной отворачивался, — легко ли такое?

И мне непросто дались мои слова о России и русских, хоть они и продиктованы совестью. Я выходец из русских, я сорок лет жил с мечтой о России; даже в Израиле с нею (с этой мечтой) не расставался. А вот — пришлось расстаться. Подлостью была грузинская война, подлостью были чеченские войны: напасть из прихоти на слабого — разве не подлость? Но украинская война превзошла всё мыслимое.

Теперь спросим себя: кремлёвский вождь и его думачи — они что,

иноземные захватчики, подчинившие себя доброго и всемирно-отзывчивого русского человека? Они ведь и есть теперешний русский народ. И приходится сказать: русские — убийцы. Русские ни за что ни про что убивают украинцев, которых десятилетиями называли братьями. Не солдат убивают, а кого ни попадя, стариков, женщин, детей. Убивают не из политической необходимости, не из выгоды и корысти, а — просто так, из прихоти, из имперских амбиций и по приказу начальства. Кто они после этого? Об их прадедах, о настоящих русских девятнадцатого века Кюстин сказал: «Раб на коленях, мечтающий о мировом господстве», — но, боже правый, у этих прадедов и общественное мнение было не мертво, и совесть водилась, да и самый империализм не был в те времена осуждён, как ныне, всеми без исключения цивилизованными народами.

Нет, я стою на своём: имя русский — опозорено навсегда. Не то, что «с Россией кончено» (как сказал Волошин), не то что «Россия не удалась» (по слову Вейдле; он, как и Волошин, был православным и горячим русским патриотом), — петровская Россия умерла как идея и мечта. Вернулась Московия. Пушкин и Толстой растоптаны Малютой Скуратовым. Антипетровский реванш завершился.

5.03.22



Ты осуждаешь меня. Ты говоришь: вольно мне смотреть на происходящее глазами историка, когда мирных жителей убивают из прихоти, ни за грош, а честные люди рискуют свободой и жизнью за плакат «Нет войне!». Ты переадресуешь мне знаменитые слова Ахматовой: «Под защитой чужды крыл».

Я отвечу тебе по пунктам.

Глазами историка я смотрю на человечество не со вчерашнего дня, а с отрочества. Чуть ли не первые мои стихи 1956 года — о восстании июнян против персов, пятисотый год до новой эры. Всю мою жизнь я люблю историю и презираю политику, не интересуюсь ею. Из теперешних кремлёвских бандитов я знаю по имени только главного. Имя героического президента Украины я узнал только с началом войны. Так я устроен. Не вижу в этом греха. «Прошное жадно глядится в грядущее. Нет настоя-

щего, жалкого — нет».

Повторю то, к чему меня привёл мой исторический взгляд на происходящее. Русский народ опозорен в целом, со всеми его святыми, подвижниками и героями, о которых я сокрушаюсь. Имя *русский* стало ненавистно человечеству и пребудет ненавистным десятилетия или столетия. Украина должна быть независима. Она будет независима, если человечество уцелеет, и Украина всегда будет ненавидеть Россию, если Россия уцелеет. Я за то, чтобы Россия — не уцелела. Мир уничтожил Пруссию, мир должен уничтожить и Россию. Россия несправима, неизлечима. Москва, вот уже более ста лет — мировая столица лжи, должна быть снесена с лица земли, как некогда Ниневия. Не Путин виновник войны, а — русский народ как он ныне обретается (во всём многообразии своего этноса). Путина поддерживают миллионы: 71% народа. Его опричники исчисляются сотнями тысяч, если не миллионами. Если Путин будет убит в ходе переворота, преемник Путина с очень большой степенью вероятности окажется хуже Путина. Русский народ меняет идеологию, не моргнув глазом. Его настоящая идеология — не большевизм и не православие, а мания мирового господства. Русские эпохи Сталина и эпохи Путина хуже германцев эпохи Гитлера. Вот уже второй век они (при всех их святах, героях и подвижниках) — самый жестокий народ на свете. Всё это я говорю о русских не как представитель другого народа. По материнской линии я из крепостных. Полжизни я считал себя русским, треть жизни гордился именем русский. Стыжусь этого имени после захвата Крыма.

Теперь о «чуждых крылах». Любой из теперешних цивилизованных народов мне роднее, чем русский народ как он есть. Русский народ в его теперешнем позоре мне чужд до конца. Я всем сердцем сочувствую честным людям, вынужденным жить в России. Они — несчастнейшие люди на свете. Даже молчаливый протест ныне — героизм, а уж протест заявленный — героизм величайший, жертвенный. Кланяюсь в ноги героям и страдальцам!

А теперь посмотрим правде в глаза и принесём страшное: эти герои, эти страдальцы — антинародны, если русские — народ; их героизм, страдания, жертвы — обесмыслены. Русский народ несправим, неизлечим. Русских людей, русскую культуру, русский язык — может спасти только

уничтожение русского народа с его манией всемирного господства.

Анне Ахматовой с её «чуждыми крылами» давно и веско возразили до меня. Возразила Ариадна Скрыбина — свою гибелью во французском еврейском Сопротивлении. Возразили тысячи других русских, сражавшихся с нацистами на Западе. Возразили словами писатели Георгий Адамович и Зинаида Шаховская в Париже. Пресловутые «крылья советов» должны бы были казаться Ахматовой куда более чуждыми, чем «крыла» цивилизованных народов. Я считаю эти стихи Ахматовой её величайшей неудачей, её позором, особенно стих «Я была тогда с моим народом». Это ложь. Народ Ахматовой был в эмиграции, в ГУЛАГе, в могиле, а вокруг неё был советский народ, «новая человеческая общность», народ-убийца, который в наше время сбросил идеологическую маску и оказался самым жестоким народом на планете.

И ещё одно. Да, я «под защитой крыл», я защищён лучше, чем любой человек в России, не исключая Путина. Но, во-первых, «от судеб защиты нет». А во-вторых и в-главных, не я ли прошёл через ад, когда целых десять лет добивался выездной визы из Совдепии, с 1974 по 1984-й? От меня отвернулись все вокруг, включая родных и близких. Вот тогда-то меня и осенило первое прозрение насчёт «русского народа». В моих стихах 1970-х я невольно сказал о русских такое, от чего сам отпрянул в ужасе. Я всё ещё верил тогда, что стоит свергнуть большевизм, и восторжествует Россия Пушкина. Зато теперь мои слова выглядят пророческими. Теперь весь мир видит, что такое русские.

17.03.22



...Да, я прочитал сочинение этого Борового. Там, что называется, почти всё верно, но всё плоско, узко, незначительно. А стилистически, по языку и слогу, всё это очень плохо. Любая верная мысль этого Борового нуждается в уточнении и углублении. И под этой дребеденью — тридцать тысяч похвал. Но это ведь и есть народ. Не я ли говорил, что 96% моих современников — недоумки.

Беру выделенную тобою фразу: «Россия страна агрессор и таковой являлась всю свою историю со времён Ивана Грозного.». Разве во време-

на Ивана Грозного были страны-агрессоры? Не было такого понятия. Все сильные страны были странами-агрессорами. Это была норма. Даже во времена Пушкина это так. У людей было другое отношение к жизни и смерти, уж не говорю: другое представление о государстве, о совести. Вся система ценностей была другая. Чего же стоит фраза этого Борового? Полуправда. Дешёвка. И всё его сочинение такое.

Я уже начал говорить о Пушкине. Да, стихотворение *Клеветникам России* не делает Пушкину чести. Стихи хорошие, а мысль в них и неверна, и не великодушна. Мы всегда, читая *Клеветникам России*, делали скидку на эпоху, когда империализм был нормой, война — нормой и честью, а достоинство человека изменялось его храбростью. Всё это, между прочим, русские дворяне времён Пушкина взяли у французов; собезьяничали, своего ничего не добавили. С этой поправкой мы не судили Пушкина строго. Сейчас — ей-богу, хочется это отношение к Пушкину пересмотреть... Но это долгий разговор.

Никто из русских поэтов XIX века не проявил благородства в рассмотрении польского вопроса. Исключение — только Одоевский и, похоже, Бенедиктов. У Тютчева, когда он речь о поляках заводит, и прямую низость встречаем. И это — вместо благодарности; Польша ведь была на протяжении веков главным культурным донором Московии. Даже первая русская грамматика написана в Речи Посполитой... Сознаёшь ли ты, что фамилия Чайковский — самая что ни на есть польская? Что Боратынский и Бунин из поляков? Что все композиторы могучей кучки — с польскими корнями? Что Софья Ковалевская — ни на секунду не считала себя русской? Список бесконечен. Беру то, что на поверхности. Не кто-нибудь, а Владимир Соловьёв (1856-1900) ставил Мицкевича выше Пушкина. Не очевидно ли, что *Пан Тадеуш*, вещь поистине народная, гораздо выше *Евгения Онегина*?

15.04.22

ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ

Девяносто третий — Quatre-vingt-treize — так называется последний роман Виктора Гюго (1874), потрясший меня в 1959 году. Мне было

тринадцать лет, роман я прочёл по-русски, с придыханием, и — с примечаниями. Примечания, понятно, были плохие, советские, но при всём том они стали для меня окном в Европу и началом самообразования. Я вдруг разом стал «не такой, как все».

Я в тот год и весь русский пятнадцатитомник Гюго прочёл, от корки до корки, с его чудовищными, тяжеловесными, упоительными александрийскими стихами... я захлёбывался от восторга, я бредил этим писателем... Ах, это был пророк! Он предсказал Соединённые Штаты Европы (со столицей в Париже), он вывел в мир первого супермена (Жана Валь-жана). Слог Гюго, его торжественная высокопарность, витиеватость и манерность — определили моё детское сознание, моё отношение к миру, включая и моё отношение к родине, к Ленинграду: ещё не умея этого сформулировать, я вдруг нутром почуял, что живу в глухой культурной провинции, в захолустьи.

Знаю всё ироническое, сказанное про Гюго... Тут простор для иронии! Вот уж кто апофеоз самодовольства! На вопрос о первом поэте Франции он отвечает: «Второй — Мюссе». Двадцать страниц прозы и восемьдесят стихов в день — машина, а не человек! Гюго презирает Гёте. Гюго презирает Мериме... и было за что: Мериме в его присутствии сказал, что лучшим поэтом Европы считает Пушкина. Гюго презирает вообще всех в глаза... Но и его презирают. Разве мы забудем, что на вопрос, кто лучший поэт Франции, Андрей Жид ответил: «Увы, Виктор Гюго!» В этом «увы» — слышится приговор всей французской поэзии.

По-русски, для непонятливых вроде меня, роман *Quatre-vingt-treize* назывался *Девяносто третий год*. Не попробовать ли перечитать его по-настоящему? Я всегда думал, что ничем не обязан моему отцу по части воспитания и образования, а сейчас вижу: нет, обязан! Это ведь он стал выписывать собрания сочинений, которые появились в печати после смерти Сталина. Жюль Верна я прочёл выборочно, Драйзер мне не понравился, Бальзака я читать не смог, а Гюго — проглотил, перечитывал, насытиться и оторваться не был в состоянии. Спасибо, папа!

Вот первая фраза романа Гюго (хотя это сочинение вряд ли можно считать романом):

«Dans les derniers jours de mai 1793, un des bataillons parisiens

amenés en Bretagne par Santerre fouillait le redoutable bois de la Saudraie en Astillé.»

То есть:

«В последних числах мая 1793 года один из парижских батальонов [санкюлотов, национальной гвардии], приведённых в Бретань Сантером, прочёсывал грозную Содрейскую чащобу неподалёку от Астилея.»

Кто он таков, этот Сантер, генерал санкюлотов? Вот что я знаю теперь. Пишу для себя-тогдашнего, который ведь никуда не делся.

До революции Антуан-Жозеф Сантер (1752-1809) был богатым пивоваром в Сент-Антуанском предместьи Парижа. Он отличался щедростью, в народе его знали и любили. Он принимал участие в штурме Бастилии 14 июля 1789 года и вскоре стал командиром батальона парижской национальной гвардии. Десятого августа 1792 года, во время штурма дворца Тюильри, Сантер возглавлял отряд добровольцев своего предместья. После установления республики (21 сентября 1792 года) Конвент назначил Сантера тюремщиком Людовика XVI. Двадцать первого января 1793 года, в день казни монарха, Сантер вошёл к осуждённому со словами: «Сударь, пора!» и привёз короля к ступеням эшафота.

Восстание в Вандее началось 11 марта 1793 года. Одиннадцатого июня 1793 Сантер — участник проигранной республиканцами битвы при Сомюре (Saumur). Подчинённые не считали Сантера хорошим командиром. Ходили слухи, что в Вандее он окружил себя восточной роскошью. Заподозренный в измене, Сантер был арестован в Париже в апреле 1794 года, однако уцелел: вышел из тюрьмы после падения Робеспьера. Он не продолжал военной карьеры, попытался вернуться к своим бочкам, но его пивоварня оказалась разрушенной. Сантер умер в бедности (вероятно, пережив трёх своих братьев и двух сестёр).

Гюго ошибается в первой же фразе: в 1793 году Сантер был послан не в Бретань, а в Вандею. В 1793 году в Бретани делать было нечего, шуанерия началась в 1794 году. Текст Гюго несколько дезориентирует читателя: из текста можно заключить, что Сантер был главной фигурой в Бретани (Вандее), но при Сомюре полководцем был не он, а Жак-Франсуа Ме-

ну, да и генералом национальной гвардии Сантер становится в июле 1793 года, после Самюра. Не помещает ли Гюго Вандею в Бретань?! В отрочестве я понял это именно так, а на карту не посмотрел.

В наши дни между Вандеей и Бретанью даже общей границы нет. Прежде Бретань была провинцией Франции (до 21 сентября 1791 года, когда вступило в силу постановление Учредительного собрания от 1789 года ввести вместо провинций департаменты), а Вандея, территориально сравнительно небольшая, никогда не была провинцией, она практически целиком входила в провинцию Пуату и лишь своим северным краем, южнее устья Луары, — в прежнюю Бретань (теперь этот край относят к Вандее). Любопытно, что и Сомюр, при котором Сантер не увенчался славой, город в трёхстах километрах на юго-запад от Парижа, находился в ту пору не в Вандее и не в Бретани, а в провинции Анжу (с 1791 года он относится к департаменту Мэн-э-Луар). Выходит, что война в Вандее велась не только в Вандее. Кажется даже, что Вандея географически не была строго очерчена, так что ошибка Гюго простительна.

Во французской географии с историей — чорт ногу сломит. Все провинции в средние века были независимыми княжествами или королевствами. Их границы менялись (Сомюр какое-то время даже к Аквитании относился, то есть был под властью английских Плантагенетов). До революционного передела в каждой из этих провинций существовали разные законы и взимались разные налоги, так что между провинциями королевства даже контрабанда процветала...

Что такое Астилей? Крохотный город, а то и деревня, в бывшей провинции Мэн, в нынешнем округе Майене (пишут Майенн, а по мне правильно Майена). Астилей расположен на восток от Бретани (её восточная граница не менялась) и сильно на северо-восток от низовий Луары, естественной границы Вандеи.

Что такое *bois de la Saudraie*? Эта конструкция переведена в русском издании 1956 года как Содрейский лес. Насколько я понимаю, лес по-французски *forêt*, а *bois* — скорее древесина, на худой конец роща, чаша. Роюсь в сети. Убеждаюсь, что «грозный Содрейский лес» известен только благодаря вот этому сочинению Гюго: *Quatre-vingt-treize*. Перевожу *bois* как чащобу.

Общий мой вывод вот какой: для Гюго в 1873 году, когда он писал своё сочинение, Вандея была понятием скорее культурно-историческим, чем географическим: символом крестьянского восстания. Иначе придётся сказать, что он всю Вандею целиком запикивает в Бретань. Гюго явно не знает, где на современной ему географической карте находится *департамент* Вандея.

Идём дальше.

«C’était l’époque où, après l’Argonne, Jemmapes et Valmy...»

«Это была эпоха, когда после Аргоны, Жемапа и Вальми...»

Вальми — деревня на северо-востоке Франции, не слишком далеко от Бельгии. Битва при Вальми произошла 20 сентября 1792 года. Это была первая победа революционной Франции (ещё королевской; республика наступила на другой день) над пруссаками под командованием герцога Брауншвейгского и австрийцами под командованием фельдмаршала графа Клерфэ. Во главе французов стояли Демурье и Келлерман, будущий перебежчик и будущий наполеоновский маршал, он же — бывший королевский маршал. Для Франсуа-Кристофа Келлермана битва при Вальми стала величайшим карьерным взлётом. Он, профессиональный военный, и прежде отличался храбростью, а тут — расположил свою артиллерию так, что впоследствии сам Наполеон, тоже артиллерист, изумлялся дерзости этой диспозиции. «Я считаю себя самым храбрым полководцем всех времён и народов, — сказал как-то император, — но я не решился бы расположить мои пушки на этом кряже под Вальми.» Канонада (40 пушек французов против 54 пушек союзников) и решила дело. Потери обеих сторон были незначительны. Демурье остался в стороне, пруссаки тоже почему-то не смогли или не захотели ввести в бой все свои силы (численный перевес был на их стороне) и не только отошли, но и отказались от продолжения кампании... Наполеон, став императором, не забыл о подвиге Келлермана: удостоил его не только маршальского чина, но и титула герцога Вальмийского.

Победа под Вальми явилась для всех неожиданностью. Гёте назвал её поворотным моментом истории. Историки согласны с поэтом: именно битва при Вальми открыла дорогу дальнейшему развитию революции...

Напрашивается изумительная спекуляция: связать эту победу, а с нею — и победу французской революции... — с помощью России, с действиями Суворова, который как раз в это время вторгся в Польшу (второй раздел Польши). Герцог Брауншвейгский мог решить, что стоит побереечь свою армию для дел более насущных, чем война со слабой Францией. Франция ведь казалась тогда слабой!

Жемап — бельгийский (валлонский) город, в 1792 году принадлежавший *австрийским* Нидерландам. Битва при Жемапе произошла 6 ноября 1792 года. Французы, среди которых преобладали необученные добровольцы, победили (не в последнюю очередь за счёт трёхкратного численного превосходства и двукратного превосходства в артиллерии) австрийскую регулярную армию. Если при Вальми французы отражали вторжение, то при Жемапе они наступали и в итоге отняли у Габсбургов всю Бельгию...

Слова Гюго «после Аргоны» кажутся мне ошибкой. Аргона (в русском издании 1956 года: Аргонн) — не город и не деревня, а лесистая и холмистая местность, через теснины которой (через Аргонский лес) Брунsvик вышел к Вальми. За неделю до Вальми тут было столкновение между французами и войсками первой коалиции (при Ла-Круа-о-Буа), но стороны разошлись ни с чем, и на имя битвы это кровопролитие не тянет. Не может оно стоять первым в одном ряду с такими победами как Вальми и Жемап — ни по значению, ни даже по хронологии: Аргона 12-14 сентября, Жемап — 6 ноября, Вальми — 20 сентября 1792 года. Гюго явно что-то путает, а переводчик подхватывает и усугубляет эту путаницу.

Идём дальше.

«Les bataillons envoyés de Paris en Vendée comptaient neuf cent douze hommes. Chaque bataillon avait trois pièces de canon. Ils avaient été rapidement mis sur pied. Le 25 avril, Gohier étant ministre de la justice et Bouchotte étant ministre de la guerre, la section du Bon-Conseil avait proposé d'envoyer des bataillons de volontaires en Vendée; le membre de la commune Lubin avait fait le rapport; le 1er mai, Santerre était prêt à faire partir douze mille soldats, trente pièces de campagne et un bataillon de canonniers.»

«Батальоны, отправленные Парижем в Вандею, насчитывали каждый по девятьсот двенадцать человек. В каждом было по три артиллерийских орудия. Формировали их в спешке: 25 апреля, когда Гойе был министром юстиции, а Бушот — военным министром, секция Бон-Консейль предложила отправить в Вандею несколько батальонов добровольцев; член коммуны Любен сделал об этом доклад, и уже 1 мая Сантер мог вести за собою двенадцать тысяч солдат с тридцатью полевыми орудиями и батальон артиллеристов.»

Так это в моём переводе. В русском издании 1956 года — иначе:

«Во всех батальонах, посланных из Парижа в Вандею, было девятьсот двенадцать человек... первого мая Сантерр уже мог направить к месту назначения двенадцать тысяч солдат».

«Во всех» — вместо «в каждом»! Бумага всё терпит. Но и читатели — мышей не ловят. Я не споткнулся на этой арифметической путанице в мои тринадцать лет, проглотил её.

Споткнулся я тогда на слове *коммуна*. Кто не слышал про Парижскую коммуну? В моём поколении — все слышали... но ведь это — 1871 год, а у нас на дворе 1793-й! Пояснений в издании 1956 года нет. Так я и не узнал в моём отрочестве, что коммуна по-французски — всего-навсего муниципалитет, местный совет во главе с мэром. В мирной жизни коммуна занята всяческим благоустройством. В революционном 1793 году парижская коммуна являла собою отдельную политическую силу: спорила с Конвентом, навязывала ему свою волю, поддерживала Конвент; в данном случае — посылкой парижских добровольцев предложила помощь центральному правительству и регулярной армии.

Про *секции* я, помнится, что-то знал в детстве... да потом забыл. Возникли они в связи с выборами в Учредительное собрание в 1790 году: Париж был разделён на 48 выборных секций. После выборов секции не распались, а превратились в политические вертепы, своего рода самозванные муниципалитеты, со своими вооружёнными силами. Именно представители секций составили в итоге парижскую коммуну, настроенную радикальнее Конвента. После падения Робеспьера 9 термидора II года (27

июля 1794 года) Конвент расправился с коммуной: казнил 73-х её членов.

Секция Бон-Консейль заседала в церкви Сен-Жак-л'Опиталь, на месте которой теперь дом 133-бис по улице Сен-Дени. Устами своего председателя Жана-Франсуа Лешнара эта секция уже 5 августа 1792 года, за пять дней до штурма Тюильри, заявила, что не признает власти короля.

«Члена коммуны» Люблена звали Жан-Жак (1765-1794). Он был художником и, понятно, санкюлотом, заседал в секции Елисейских полей, был представителем этой секции в парижской коммуне (в «повстанческой коммуне»). Он был гильотинирован на третий день после падения Робеспьера (29 июля 1794). Его младший брат-погодок, адвокат Жан-Батист Люблен, наоборот, уцелел именно благодаря 9 термидора. Член клуба Фёльянов, арестованный санкюлотами «по подозрению в неучтивости» (*comme suspect d'incivisme*; он публично говорил о заговоре якобинцев), Жан-Батист не дождался суда: его дело попало в Комитет общественной безопасности... 8 термидора, за день до переворота. Счастливчик!

Остались две фигуры, два упомянутых писателем человека: Луи-Жером Гойе (1746-1830) и Жан-Батист-Ноэль Бушот (1754-1840). И они — счастливчики: первый прожил 84 года, второй — 85 лет, — это в такие-то времена! Гюго не ошибается: оба были министрами летом 1793 года.

Гойе — адвокат, республиканец из умеренных, уцелел в годы террора, после термидора — член и глава Директории, возражал против захвата власти Наполеоном, но отделался двухдневным арестом. Наполеон симпатизировал Гойе; жена Гойе дружила с первой женой Наполеона, Жозефиной Богарне.

Бушот — профессиональный военный, кавалерист, полковник, отважный солдат и честный человек. Он замечателен тем, что будучи министром отличил Бонапарта и продвинул его. Директория отдала Бушота под суд непонятно за что, суд оправдал обвиняемого, и Бушот ушёл от дел, доживал свой долгий век на покое.

Перевожу дух. Это я прочёл первую страницу сочинения Гюго... Нет, так читать нельзя... Прекращаю чтение. Вижу, что не суждено мне прочесть это сочинение по-французски... да и по-русски-то с трудом дочитываю...

5-11.05.22



Спасибо, дорогой П., Вы, как всегда, на страже истины. Я очень ценю Вашу критику. Вы хватаете меня за фалды и не даёте мне улететь в энмерное пространство (как однажды сказал в АФИ Тимофеев-Ресовский обо мне и моих коллегах). Однако ж Вы ссылаетесь на источник, написанный кириллицей, а я таковым не вполне доверяю. Качество приведённого Вами текста как раз отмечает всякое доверие: за слово дуэль («После продолжительной артиллерийской дуэли войска Келлермана пошли в наступление») автора стоило бы к жерлу пушки привязать, как сипая. Не умеют москали думать, не любят точности. Ни по-английски, ни по-французски, ни по-немецки никто не знает о «долине» Круа-о-Буа и о «сражении» 14 сентября в этой «долине». Есть деревня La Croix-aux-Bois, но «схваток боевых, да ещё каких» в ней или при ней 14 сентября 1792 года — не видно. Фельдмаршал Clerfayt, точно, был в этих местах. Про него сказано, что at Croix-sous-Bois his corps inflicted a reverse on the troops of the French Revolution, но из этих слов не выводится даже кровопролития, а уж что какой-то отряд был «разбит» в «сражении» — и подавно. Сражения при Круа-о-Буа нет и в списке битв графа Clerfayt... Да-да, я и сам пишу кириллицей. И, случается, могу написать Лаура вместо Луара... сами знаете, в какую сторону меня клонит и заносит. И я не профессиональный историк. И я сам себе не вполне доверяю. Насчёт Сантера Вы меня правильно ткнули носом: он был не выпущен, а посажен в апреле 1793. Так что — ещё раз спасибо, дорогой критик, и — «не оставляйте усилий, маэстро».

19.05.22



Третьего дня я сделал открытие: *надаль* на иврите — сороконожка. Я, конечно, при первом появлении теннисиста Надаля вспомнил еврейскую фамилию Надель, был такой учёный при еврейской энциклопедии. Я сказал себе: этот теннисист — из марранов, недаром истово крестится перед каждой подачей. Сказал — и забыл. А тут — нате! Сороконожка! Как за-

нятно... И ведь никто не знает этого, даже не все евреи, да и сам он вряд ли знает.

1.06.22



Вы — человек не от мира сего! Не знать, кто такой Цылич! Весь мир, затаив дыхание, следит за каждой его подачей, — а вы и не знаете! Цылич — теннисист из хорватов. Хорват из теннисистов. Хорват, побивший двух русских подряд (а они выше него в табели о рангах), за что ему моё всенародное спасибо: ни одного русского в полуфинале! Отсюда византийская пословица: за одного хорвата двух русских дают с приплатой (на невольничьем рынке в Константинополе). Конечно, добрые люди стесняются произносить его фамилию правильно, — из соображений политической корректности произносят: Чилич. Но мы-то знаем, что такой фамилии нет, а фамилия Цылич, наоборот, хороша известна. Да и пишется она Čilić, а не Čilic. Компрене-ву?

2.06.22



Ты — исландка. В Исландии принято читать стихи на операционном столе. Это в литературе отмечено. Правда, стихи там особенные, с кенningами. Таких нигде в мире нет. Их никто не понимает, кроме исландцев.

«Биенье сердца моего» Вероники Тушновой — из хороших её стихотворений, но есть в нём типичная русско-советская ошибка: о переводе на другие языки. То, что она считает непереводимым, не требует перевода. Ей, как всем русским, кажется, что хорошее возможно только по-русски. Рифма *горечь/сборищ* очень уж пастернаковская. Вообще первые четыре строки лучше всего стихотворения в целом.

9.06.22



Спасибо за книгу (*Why Nations Fail* by D. Acemoglu and J. Robinson). Предвкушаю интересное чтение. Но сразу возражу тебе: Венеция-таки была империей. Суди сам: она воевала на равных с Османской империей, а та простиралась от Дамаска до Персидского залива, от Каира до Гибралтара, от Константинополя до предместий Вены. Афинский Парфенон разрушен венецианской корабельной артиллерией. И это что! Слышал ли ты про Кембрейскую лигу 1508 года? Священная Римская империя, Франция, Испания, Папская область (тогда сильная и всегда богатая) и ещё полдюжины мелких государств составили союз для войны с Венецией. Союз! Испания уже Новый свет осваивала, там золото было. Франция брала в долг на эту войну под 40% (подозреваю, что у евреев), а Венеция — под 5%! Сравнение Венеции с Сингапуром мне непонятно, ведь Сингапур (пока) не воюет. Скорее уж с Англией сравни. Стендаль писал (кажется, около 1830 года), что ни одна коалиция европейских держав не может продержаться против Франции больше года — без английского золота. Что до Римской империи, то ей никто не равен и не подобен.

Кстати, фамилия твоего первого автора (Acemoglu) переводится с турецкого как Сын Перса.

12.06.22



Начальнички из Facebook, сопляки из поколения моих внуков, учат меня тому, что прилично помещать в сеть, а что нет: закрывают некоторые мои сочинения. Их знамя — политическая корректность, вчерашняя выродившаяся правда: ложь под маской истины, зло под личиной добра.

Скажу больше: сегодняшняя политическая корректность — форма народопоклонства, а её ревнители — роботы на поводу у идиотов. «Все народы равноценны» — что может быть глупее? Это — отрицание всей истории и всей культуры. Перед нами опять уравниловка, отсекающая высокое, прославляющая, воспевающая и защищающая самодовольного обывателя с его конституцией куцей. Политическая корректность и поэзия — две вещи несовместные. Политкорректный поэт — противоречие в

терминах. Таковых ещё не бывало. Поэзия есть форма постижения мира посредством парадокса, преувеличения, оксиморона. Она сама, во всей её полноте, — оксиморон. Несогласен с этим только Смердяков: «это чтоб стихи-с, то это существенный вздор-с». И вот эта-то мелюзга, эти-то смердяковы — учат меня уму-разуму! Закрывают мне доступ на сутки! *Закрываю им доступ ко мне на месяц.* Лишаю их моей милости. Понятно, что они, люди деловые, денежные (и тупые), моего бойкота не заметят, — но ведь и я их существования не замечал тридцать лет — и, вот чудо, как-то выжил. И впредь могу обойтись без этой клоаки. Как-нибудь уж доживу моё остатнее.

А мои немногие настоящие друзья и мои новые ФБ-друзья (уж не говорю про врагов) — они от этого моего бойкота не пострадают. Все мои сочинения, плохи они или хороши, первым делом идут на мой сайт, обновляемый практически ежедневно. Стихи идут в *Я вас любил / Творительный падёж*, недавняя проза — на главную страницу под моим портретом. Читайте и критикуйте.

Да-да, начальственная ФБ-свора не заметит моего бойкота, его высокопузие обыватель за ухом не почешет. Но люди достойные — заметят. Разве я обращаюсь *urbi et orbi*? Разве я могу моим протестом остановить украинскую войну или триумфальное шествие бессмертной пошлости людской? Я обращаюсь к немногим достойным, к мыслящему меньшинству. Но — могу даже и к нему не обращаться, что уже доказано десятилетиями моего отшельничества.

Незачем говорить, что ни от одного из моих слов я не отказываюсь и за каждое готов платить кровью.

18.06.22



Ещё раз, Ж., спасибо тебе за Венецию. Я на несколько дней погрузился в атмосферу этого чуда. Про коммendu я не знал, очень интересно. Но коммenda — только один из инструментов, пусть самый важный, а принцип был ясен: стремительное возвышение Венеции и её великодержавие могли вырасти только из широчайших демократических свобод. И угасание Венеции, её стагнация — это тоже было ясно — произошли от

стеснения этих свобод. Но — не только. На смену городу-государству пришло современное централизованное государство. Да плюс к тому быстрый рост населения в соседних странах.

Но твои авторы (вероятно, из соображений краткости) обошли стороной несколько интересных вопросов. Главный вот какой: кто венецианцы этнически? Их имя — славянское: от венетов, но славяне, как мы знаем, не весьма энергичны и совсем плохи в создании государства. Второй вопрос: как возникло это мраморное кружево, эта неслыханная архитектура? Возьми другое итальянское чудо, демократическую Флоренцию с этрусской закваской: почему там такого не произошло? Мне вообще не хватало в этом тексте сравнений с другими городами-государствами, в частности, с Афинами, с Коринфом. И о войнах твои авторы не пишут, а как интересно, что против Венеции — Кембрейская лига — воевала вся Европа! Первая мировая война!

20.06.22



Вы, в связи с украинской войной, пишете: «Периодически возвращаясь к мыслям о "нормальном" немце, уехавшим из Германии в середине-конце тридцатых прошлого века. Каково ему было желать поражения собственной стране, понимая что погибнут и многие непричастные. В том числе друзья. Теперь эта дилемма стала актуальной для "нормального" русского».

На эти ваши слова отвечаю, что считаю себя нормальным русским. Это значит, что Путляндия — страна мне чужая и отвратительная, она не то что должна быть побеждена в этой подлой войне, она, по моему убеждению, должна быть уничтожена. Всё худшее, что я говорил и писал о русских с середины 1970-х, подтвердилось, все мои резкости в их адрес (от которых я сам шарахался) оправдались. Заметьте, пожалуйста, что сам я русский по крови, и слова мои о русских сказаны не представителем другого народа и не от имени другого народа. Если они и фобия, то — не ксенофобия.

23.07.22



Вот уже несколько дней читаю через силу стихи позднего Мандельштама — и вижу: никакой он в 1937 году не акмеист, а полный футурист.

Сквозь эфир десятично-означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозраченный
Светлой болью и молью нулей.

Что это синтаксически и по смыслу? Чушь. Бумажная работа, голо-визна, вымучивание и выкручивание слов. И ритмически, уж не говорю о содержании, через строфу — ложь. «Москва видит, Москва смотрит» — это у него четырёхстопный хорей такой! Приходится вместо Москва читать Moskau. А содержание! —

Только на крапивах пыльных —
Вот чего боюсь —
Не позволил бы в напильник
Шею выжать гусь.

Абракадабра!. Лишь изредка он словно бы в сознание приходит, и тут проскакивает искра. Стихи должны легко читаться, это я у Карабчиевского прочёл, но и сам догадывался. Правда, по этому критерию Исаковский лучше Мандельштама, но и плевать в Исаковского не стоит. Стоит — на Мандельштама посмотреть открытыми глазами. Верно: человека изумительно одарённого довели до сумасшествия, но чердынский стих «прыжок, и я в уме» — всё-таки не вся правда, скорее самоутешение.

20.08.22



«Стихотворения и поэмы» — в эпоху Пушкина такое название вызвало бы хохот. Вижу, как сам Пушкин хохочет и за бока хватается. Стихотворение и поэма — полные синонимы. Различие между двумя понятиями примерещилось людям, не знающим ни одного европейского языка. Закрепилось это безумие в советское время, когда уже не стало русского народа, но началось чуть раньше. Уже Брюсов подсмеивается над тенден-

цией; у него есть поэма в одну строку: «О, закрой свои бледные ноги!»

У нынешних, в их глупой классификации, — речь только о протяжённости стихотворения. А ведь в четыре строки можно вложить сюжета больше, чем в четыреста. Обычное возражение — что в хорошие времена авторы иногда ставили слово *поэма* над протяжённым текстом — происходит от недомыслия. Этой ремаркой — *поэма* — автор предупреждал читателя, что тому придётся читать стихи, а не прозу: только и всего. Эта была ремарка вежливости. Она обычно *на обложке* стояла.

Нагружены смыслом другие ремарки. Пушкин называет свою большую вещь романом, чтобы подчеркнуть, что отступает от романтической приподнятости: делает шаг в сторону прозы. Гоголь ставит слово *поэма* над своим совсем не поэтическим (и весьма посредственным) текстом потому, что конъюнктурщик Виссарион Берлинский ему все уши прожужжал, что он, Гоголь, поэт и даже глава русской поэтической школы (при живом Пушкине!). Ради вызова ставит Гоголь это слово над своей хвалёной прозой; по недомыслию ставит. Гоголь был человеком ограниченным, небо у него с овчинку. А Фет, над своею единственной протяжённой и сюжетной вещью, *Студент*, никакой ремарки не ставит, потому что не издаёт её отдельной книжкой. Он понимает, что любой стихотворный текст есть поэма.

9.10.22



...ты права: это патриотизм и есть! Мой стих «Флоренция и рифмы на уме» — что же тут ещё, как не патриотизм? Говорю это не шутя. В двадцать лет я всем сердцем знал, что Ленинград с моей мечтой о Флоренции лучше самой Флоренции. Флоренция оставалась именно мечтой, ведь большевики за границу не пускали, — но хватало и мечты. Я всем сердцем знал: врёт Кюстин, что Петербург — одни декорации. Это город Пушкина, это «русские Афины». Патриотизм ведь как работает? Он говорит: все люди вокруг — родные. Плохие, хорошие, умные, глупые, знакомые и незнакомые — все в чём-то родные. А что они марксизм-ленинизм исповедуют, так это они болеют. Главное, что все добрые. Как там у Льва Куклина в песне про ленинградский дождь:

Вижу родные и мокрые лица,
Голубоглазые в большинстве...

Теперь вспомним, как я перестал быть патриотом. Началось с пустяка: я вдруг увидел, что добрые люди намеренно уродуют своих великих поэтов, подлаживают их под себя. «Есть Грозный Судия» вдруг заменили на «Есть грозный суд». Да-да, добрые люди будто бы такой автограф нашли, но это всё враньё. Ещё хуже: некрасовское о Добролюбове «Как женщину, он родину любил» переделали в «Как мать, он Родину любил...». Это в учебники попало! Здесь подлость двойная, двойной квасной патриотизм: во-первых, прямое искажение классического стиха, что есть мародёрство; во вторых, *родина* с прописной буквы есть выдумка чисто русско-советская, Некрасову незнакомая.

Замечу в скобках, что стих Блока «О Русь моя! Жена моя!» целиком выведен из некрасовского «как женщину», на Некрасове держится — иначе казался бы дерзостью ещё более непомерной.

Дальше — больше. Брюсов в 1920 году находит одиннадцать канонизированных искажений в тексте пушкинского *Пророка* (стихотворения, начиная с которого русская литература предположительно становится великой), я насчитал пятнадцать. Но это давно было, я ещё тогда русским был, не шарахался от этого слова: русский. Теперь я знаю, что ни одно произведение Пушкина не печатается в его, Пушкина, начертании. Нужно ли продолжать? что сказать о народе, способном на такую низость? Только — словами другой песни с напрашивающейся поправкой:

В мире нет другой
Гадины такой...

Родина оказалась гадиной.

Да, стихи — обочина жизни, маргиналия, нечто не слишком важное. Достойный и умный человек может жизнь прожить без стихов, и его не упрекнёшь. Но стихи — лакмусовая бумажка чего-то главного, сокровенного и драгоценного для народа, если он — народ. И вот — хочешь верь, а хочешь проверь (перечитай мои стихи середины 1970-х), а я из этой *ихней* филологии уже в 1970-е вывел, что теперешние так называемые русские — самый жестокий сброд XX века, что они хуже германских наци-

стов, что они недостойны имени народа — и что, конечно, никакие они не русские.

Так и вышло, что прежние родные — оказались хуже чужих. Сейчас, в XXI веке, когда подлые московиты, эти кремлёвские «коммунисты», превзошли в жестокости арабских террористов, я хоть и потрясён, как все, но ничуть не удивлён: я знал этот сброд изнутри, я вывел его подлость из его отношения к русской поэзии. Родина оказалась гадиной, именно так. Если мы не язычники, родина — не камни и деревья, а люди. Теперешние тамошние — внуки тогдашних тамошних: та же порода. Большевизм они в одночасье сменили на кривославие и перемены в себе не заметили. «Светлое будущее всего человечества» оказалось на поверку русско-большевистским империализмом...

Я начал с Флоренции, ею и закончу. Нет для меня на свете города более чужого, чем город на Неве... (О Москве не говорю, она не в счёт; что говорить о мировой столице лжи и ненависти, об этой новой Ниневии?) Я о себе говорю. Люди на берегах Невы некогда казались мне родными, я ещё помню это чувство... и вот — нет на всём белом свете людей мне более чужих. Родина умерла. И мне — не больно, мне стыдно, что я считал этого город родиной. Разве тамошние не предали самих себя и Россию, уж не говорю: меня?

Зато уж настоящая Флоренция — со мною. Этой родины у меня не отнимешь. Смешно и горько вспоминать, что я уподоблял ей, столице Возрождения, отвратительный город с переменчивым именем и мелко-травчатым населением.

17.10.22



... отчего я эмигрировал? Давненько меня об этом не спрашивали! И тебе ли меня спрашивать?! Но — могу повторить. Общие для всех причины слишком понятны: отсутствие свобод (антисемитизм заложен в этом отсутствии), работы, жилья, медицины. Десятилетия назад я сформулировал и опубликовал три моих, так сказать, агрегированных требования к России, в которой я готов жить. Они всё бытовое подразумевают. Вот

они:

(1) Слово *родина* должно всюду писаться с маленькой буквы, как того требует норма русского языка;

(2) Имя человека (и отчество, если он сам считает, что у него есть отчество) должно всюду в написании предшествовать фамилии, исключая только именные указатели (в сетевых указателях это последнее ограничение снимается); и

(3) на почтовом конверте первым должно идти имя человека (или его инициалы), затем фамилия человека, а последним — страна, где он в данное время находится.

Занятно, что моё третье требование было выполнено ещё в начале 1990-х... как раз в те годы, когда Совдепия ненадолго стала Россией, мы были полны надежд, а весь мир распахнул ей объятия и кинулся помогать. Два других требования — всё те же. Они — о человеческом достоинстве. Едва верю своим глазам: один добрый человек, даже прочтя мою антипатриотическую исповедь, прямо у меня на ленте не по стеснялся написать слово *родина* — с прописной! Как вразумить таких людей? Как объяснить им, что они этим на себя плюют? ...

Предвижу, что ты и про Израиль спросишь: отчего я уехал? Отвечаю, не дожидаясь вопроса: второе моё требование там не выполнено. Израиль — лучшая страна на свете (я за неё жизнь готов отдать), но — с поправкой на эту гадость, на которую нужно смотреть открытыми глазами: фамилия там слишком часто пишется перед именем. И никто не сознаёт, что это — наследие России в Израиле, ведь первыми поселенцами в Палестине были выходцы из России! Никто даже того не понимает, что эта гадость невозможна в иврите совершенно так же, как в западно-европейских языках. По-русски конструкция Сидоров Иван Петрович хоть и униительна (порядок слов ложный), да понятна, а в конструкции Ицхак Давид — поди угадай. где имя, а где фамилия!... Знаю, ты напомнишь мне, что в Израиле для меня не было работы, а в Лондоне нашлась. Верно, но бытовуху прямую я и отодвигаю на второй план... Мы ведь о главном говорим?

18.10.22



Разумеется, ты права: я — израильтянин. В Израиле я шесть лет прожил *среди своих* — чувство незабываемое, когда и смерть не то что не страшна, а — осмысленна. Что до России, то я с нею расплевался вполне, включая и «Великую Русскую Литературу». Я не про Совдепию говорю (где Россия ещё брезжила) и уж, конечно, не про Путляндию (где она умерла; термин, кстати, мой), — я про Россию настоящую. Что это за великая литература, которая держится на двадцати несомненных именах? Зато уж нынешняя ничтожная русская литература многотысячна. Так что скажу словами Некрасова: «Я посторонился / И дал дорогу осетру».

19.10.22



Как раз из уважения к Украине, из восхищения её героической борьбой, из признания всем сердцем её, Украины, независимости от подлой Московии, — следовало бы говорить не «в Украине», а «на Украине». Независимый Киев — именно в силу своей независимости — не может влиять на язык тех, кто получил язык от карамзинистов (не от московских розенталей). По-русски Украина — слово значащее и предлога *в* не терпит. Тут и традиции довольно; не станем же мы говорить «в Руси» от сознания того, что Украина есть Русь. (Вот, кстати, первая ошибка независимой Украины: она должна была сразу назваться Русью. У московитов на имя Русь прав нет; даже и греческое имя Ρωσία они усвоили себе лишь в начале XVI века.)

И поймите меня правильно, дорогой: у меня не за русский язык сердце болит, а за украинцев. На их благородном знамени (которому я желаю полной победы над проклятою ордой) не должно быть пятна глупости. Ибо это глупость: декретировать культурные нормы за пределами своих государственных границ. У себя — хоть вовсе русский язык запретите, я к этому с пониманием отнесусь. Запретите Пушкина и Толстого — я бровью не поведу: вы в своих правах, да и правильно это; читайте лучше Шекспира и Гёте; у вас есть шанс стать Европой, а у подлой Московии — никакого. Повторю до оскомины: филологический указ Киева — именно

глупость. Вообразите на минуту, что я стану учить украинцев украинскому языку: что они об этом скажут? «Глупость!», только это.

Что до русского языка, то я потому за него не пекусь, что его всё равно не спасти, и погубили его не украинцы, а сами «носители языка». Погубила чернь, уродующая родной язык, и — погубили московские филологические указы, которые куда хуже киевского. Вот вам два примера. Первый — слово родина. Если бы это слово не превратили в фетиш, если б его писали, как писали русские классики, с маленькой буквы, — не было бы ни украинской войны, и московского фюрера. Второй пример для меня мучительнее первого. Уже с полвека как московские грамотеи отменили предложный падеж для существительных на *-ье*, чем погубили многие стихи лучших русских поэтов, в первую очередь Тютчева, у него этих существительных много, иные строки всякий смысл потеряли. И что? И ничего. Все пляшут и поют... Так что, по мне, любой филологический указ — ложь. Но от Москвы другого и не ждёшь. Уже больше ста лет она — мировая столица лжи. И мне больно, когда Киев уподобляется этой новой Ниневи.

23.10.22



...ты спрашиваешь, осталось ли что-нибудь от футуризма? Вопрос — в десятку и ко времени; будущее-то — вот оно, настало. Смотрим и видим: главное, чем упивался футуризм, само собою ушло без следа. Люди догадались, что поэзия не терпит крика и плаката. Текст, из которого полностью изгнано песенное начало, не стихи, не поэзия. Уцелело одно: угодничество перед толпой. Выражается это угодничество в двух формальных приёмах: начальной строчной и ассонансной рифме.

Что такое начальная строчная в стихах? Хождение в народ, опрощение, демократизация стихотворной речи. Мы, мол, не высокопарны, мы с вами, «простые люди». Именно начальной строчной футуризм ответил на высокопарность символистов, которые по части неземного, действительно, хватанули через край. Заметим, что приняли эту начальную строчную далеко не все, кто пишет стихи, и — что ещё интереснее — многие, поначалу приняв её, затем отказались от неё, вернулись к тому, что в Европе

было нормой веками. Я в семнадцать лет пошёл со стадом, принял эту футуристическую схему, а в двадцать спросил себя: отчего это я не с Пушкиным, а с дыр-бул-щылом? — и вернулся восвояси: начинаю стих с прописной. Сейчас, не скрою, мне тяжело даже читать стихи с начальной строчной. Приходится делать усилие, чтобы поверить автору, пусть хоть такому, как Бродский.

Второе наследие футуризма — нарочито-уродливая рифма вроде бургомистру/выстрел или крылечку/кромешный. Опять здесь подлаживание к черни. Рифма точная и простая обращена к душе, рифма экстравагантная, с вывертом — к толпе, она льстит толпе, электризует толпу неожиданностью и будто бы смелостью. По мне же это никакая не смелость, а как раз трусость: шелкопёры боятся, что в них увидят заурядность.

26.10.22



Насчёт фашиста: очень верно! Фашизм хоть и гадость, а всё-таки гадость терпимая, да и неизбежная. Фашизм исторически есть рабочее антикоммунистическое движение под знаменем сильной власти. Слово стало ругательством, и зря. Не стоит называть фашистом того, кто сам себя не называет фашистом (иначе в ответ тебя тоже назовут фашистом). Нетерпим в нормальном обществе — нацизм, не фашизм. Но в поганой Путиляндии — нет общества, нет народа. Отсюда и кремлёвский фюрер, который, без шуток, хуже Гитлера.

27.10.22

ТРИ ЛОЗУНГА

Сегодняшняя их подлость возникла не в одночасье и не на пустом месте. В середине 1990-х Лубянка бросила лозунг: «За державу обидно!», и вся интеллигентная сволочь по обе стороны границы его подхватила. Повторяли, как замороженные, не понимая, что говорят. Никому не было обидно за человека, за миллионы ни за грош погубленных жизней. Поразительно то, что эту мерзость чуть ли не единодушно подхватила русско-еврейская эмиграция, то есть как раз беженцы из «державы». (Чем, по-

нятно, и определился умственный и нравственный уровень этой эмиграции.) Но это был ещё осторожный лозунг, выжидательный. Убийцы нащупывали почву, и почва оказалась подходящей; советские люди, «новая человеческая общность», никуда не делись.

Второй лозунг Лубянки прозвучал более уверенно: «Я помню, я горжусь!» Тут подлость уже открытая, да и агрессия чувствуется; тут прямой расчёт на людей тупых и бессовестных. И опять приманка сработала! Оголтелая советская чернь немедленно поверила, что надо гордиться тем, чего следует стыдиться. Их так называемая «Великая отечественная война» ни на минуту не была ни отечественной, ни великой. Умирили не за Россию, а за Совдепию, за большевизм, за новый разьевшийся класс. Война была позорной от начала до конца. Воевать не умели и не хотели. Заградотряды — разве не подлость, не предательство? К ноябрю 1941 года всё было бы кончено, если бы не громадная материальная помощь Запада и целый месяц непонятного бездействия немцев. Дальше воевали большой кровью. Немцев, у которых было пять фронтов, погибло всего шесть миллионов (а ведь в конце войны авиация союзников сносила с лица земли целые немецкие города вроде Дрездена), — советские же с их одним фронтом (для немцев вторым), умудрились положить двадцать семь миллионов. Не Гитлер, а Сталин выморил голодом полтора миллиона ленинградцев; Гитлер, как известно, сразу же распорядился Ленинград не брать. В Белоруссии, говорят, погиб каждый четвёртый, — но это опять Москва их убила, а не Берлин; Москва создала условия, при которых крестьянину приходилось уходить в диверсанты, немцы же не могли не бороться с диверсантами. А как «родина» обошлась со своими воинами? Побывавших в плену — в ГУЛАГ, безногих — на Соловки!

Происхождение первых двух лозунгов завуалировано; иным даже казалось, что они народные. Происхождение третьего лозунга — открытой угрозы «Можем повторить!», — ни у кого сомнения не вызывало. Он исходил из Кремля, сущность которого — Лубянка. Москва, вот уже более столетия всемирная столица лжи и подлости, окончательно сдёрнула маску. Ведь что бубнили! «Мир хижинам, война дворцам», «Миру мир!», «Светлое будущее всего человечества», — и всё это оказалось фиговым листком русско-советской мечты о мировом господстве. Что они могли

«повторить»? Позорные отступления? Позорные победы при десятикратном численном превосходстве и преимуществе в технике? Повторить мечтали одно: оккупацию половины Европы. Чингисхан жив! Растоптать цивилизацию, подчинить культурные народы бессмысленной орде — вот сущность этой страны: страны без общества, страны без народа.

1.11.22



Пустяки, говоришь? Но — начинается всегда с пустяков, а кончается погромами и братоубийством. Я совершенно убеждён, что даже и нынешние зверства на Украине, не говоря уж о зверствах эпохи сталинизма, имеют своим истоком не только шалости народников XIX века, но и литературные шалости начала XX века. Большевизм и футуризм — родные братья, даром что повздорили. Сбрасывали Пушкина с парохода современности — получили Великий Октябрь, дикую по жестокости гражданскую войну, ГУЛАГ и позорную от начала до конца «Великую Отечественную», которую следовало бы называть Ничтожной Большевистской.

О родстве революции в искусстве с революцией в обществе я твержу десятилетиями, и одни попросту не слышат, другие — отмахиваются, думают: чудит человек. Спорить — не с кем, никто никаких доводов выставить не может, все предпочитают свою обывательскую кушетку: революция в искусстве — доблесть.

Истина моя, нехитрая и несомненная, в двух словах выражается: в искусстве нужно прекратить игру на понижение, длящуюся более столетия, — иначе искусства, и без того полумертвые, вовсе умрут. Всё остальное — приложения. Стоит отказаться от игры на понижение — и бездарностям деться будет некуда; они разом исчезнут, слинянут, потому что без дымовой завесы все увидят, какова им цена. Стоит отказаться — и в поэтах перестанут, как сегодня, видеть шутов гороховых.

3.11.22



Да, я повторяюсь, так ведь — не слышат! А что я оттолкнул услышавших — так скатертью дорога. Говоришь: не тронь войну против нацистов? Да почему же? У нас о чём речь? Мы истины домогаемся или нам ладушки подавай? За своё понимание истины люди на костёр шли, а тут — всего-ничего: я, оказывается, «многих оттолкнул»! Вот уж велика беда! И велика новость: когда это я бывал уживчив? Десятилетия назад сказал:

Всех моих друзей
Я оттолкнул без видимой причины.

Друзей! А тут — чужие выявлены. Я фильтр установил: кто способен задуматься — в одну сторону, кому подавай привычное — в другую. Это ведь именно насиженное теплое местечко, уютное мещанское суеверие. Люди слышали, что в приличном обществе принято восхищаться подвигом советских людей, а вглядеться в суть дела неспособны.

3.11.22



Наткнувшись на рифму, иной мыслитель кривит губы в усмешке; он верит, что мысль инвариантна к форме: не нуждается в одежке, не меняется при изменении выражающих её символов. Но это справедливо лишь в самых простых случаях. Сравним механику Ньютона и механику Лейбница: это одна и та же механика, но как по-разному она выглядит! Вместо силы — Лейбниц оперирует количеством движения. Он полностью, без всякого изъятия описывает движение твёрдого тела в скалярных величинах. Он обходится без трёхмерного пространства!

Если мыслитель не формулы пишет, а слова, его мысль ещё в большей мере уязвима: ещё сильнее зависит от платья. Без преувеличения можно сказать: мысль, выраженная другими словами, — другая мысль. Лучше это на торжественной латыни провозгласить: IN ALIIS VERBIS ALIA IDEA — столь важна эта простая истина.

Да и язык важен; разве table и стол — синонимы?!

Даже порядок слов не безразличен. Возьмём известное высказывание

Честертона в двух русских переводах:

(1) Патриотизм — последнее прибежище негодяя; и

(2) Последнее прибежище негодяя — патриотизм.

Разве это одна и та же мысль? В первом прочтении по-русски получается, что плох патриотизм, во втором, правильном, — плох негодяй.

Все античные философы дружно презирают поэтов, и все они — поэты. Нет ни одного высказывания Платона или Аристотеля, которое не было бы стихотворной строкой. Разве не стих — слова Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир!»? Перед нами оксиморон, гипербола, то есть самый нерв поэзии. Но это уже потому стих, что тут присутствует логическая неполнота: требуется не только точка опоры, но и рычаг, притом очень большой.

Человек всегда нуждается в нарядах — вот ответ на пресловутый вопрос: *быть или казаться?* «Я надела узкую юбку / Чтоб казаться ещё стройней.» Что такое песня, если не наряд? Мысли самые простые получают в песне форму, которая каким-то образом волнует и трогает нас. И что такое молитва? Стихи, эпические и лирические, вышли из песни, из молитвенной, алтарной песни. (Отсюда видно, что стихи старше прозы.) Текст, из которого полностью изгнано песенное начало, — не стихи, не поэзия. (Поэтому крик, даже хорошо зарифмованный, — не стихи.) Стихотворный текст никогда не содержит новой мысли, он всегда содержит известную мысль в новом облачении, новую версию. Если текст удачен, старая мысль в новом облачении кажется не только новой мыслью, а прямо откровением, всеобщей универсальной истиной; у читателя или слушателя сам собою возникает известный по литературе вопрос: отчего я этого не сказал? ведь это моя мысль! ведь это — несомненно! Так реагировал Георгий Иванов на одно из ранних стихотворений Мандельштама. Буало говорит: «Что такое новая блестящая, и необычная поэтическая мысль? Невежды утверждают, что эта такая мысль, которой никогда ни у кого не являлось и не могло явиться. Вовсе нет! Напротив, это мысль, которая должна была бы явиться у всякого, но которую кто-то один сумел выразить надлежащим образом».

В том, что я тут написал, нет ничего нового. (Новая мысль вообще — явление редкое.) Я зачем-то переформулировал старые и хорошо извест-

ные вещи. Зачем потребовалась мне новая версия старых истин? Кто толкал меня под локоть? К кому я обращаюсь? «Разве к человеку речь моя?» (Иов)... Из всего сказанного (и подразумеваемого) вытекает, что я написал стихотворение в прозе.

20.11.22



Мой учёный сосед пишет: «Оксюморон — хрень собачья!» Золотые слова! (только не оксюморон, конечно; это *ю* — латинская ересь; правильно: оксиморон; я греческому языку у Владимире Вейдле учился). Классик Смердяков — того же мнения: «Чтоб оксиморон-с, так это существенный вздор-с!» Потому что стихи — *всегда* оксиморон. Прав Смердяков. Судите сами. «Роняет лес багряный свой убор». Древесина роняет красную шапку — разве не вздор-с? Вздор и есть. Но вздор с изюминкой. Сказка — ложь, да в ней намёк.

Оксиморон — дословно — острая глупость. Она — один из ключей к истине. Острый ум сдёргивает покров (наука), острая глупость облачает в одеяние (искусства). Первое проясняет обыденность, второе совершенствует обыденность.

Древний мыслитель говорит: «Возлюбите врагов своих!» Это ли не оксиморон? Я простираю к врагу объятья, а он вынимает меч (Амиссай и Иоав, Вторая книга царств). Как любить того, кто отравил тебе жизнь (увёл жену, убил ребёнка)? Перед нами гипербола, одна из форм оксиморона, заостряющая истину до глупости.

Дважды два четыре — тут нет острой глупости, тут только острый ум. Но любая попытка выразить более сложную истину в кратчайшей форме требует тщательного подбора слов, что уже есть шаг в сторону стихосложения. Если фраза неказиста, пусть она сто раз истина, а поверить ей трудно. Истина зачастую не согласуется с обыденностью. Попытка сделать истину убедительной требует выразительных средств... среди которых — да-да: рифма. Это первое и главное назначение рифмы: делать неожиданное убедительным. Разумеется, рифма — всего лишь один из элементов звукописи, которою живут стихи, притом элемент недавний; древнейшие элементы — ритм и благозвучие — делают то же дело: сооб-

щают достоверность сомнительному или невероятному.

Отличительная особенность оксиморона — логическая неполнота. Он всегда — частичная истина, однобокая, всегда — правда с оговоркой. Такова, между прочим, и фраза моего учёного соседа: «Оксиморон — хрень собачья!», которая, конечно, есть чистой воды оксиморон: где это вы видели хрень, да ещё собачью?

21.11.22



...Да, милая, спасибо за ваше наблюдение, вы правы: мои стихи последних лет — другая поэзия, не моя прежняя, и люди не знают, как к ней относиться. Заметьте только одно: она хоть и другая, да не новая, она вся из Пушкина выведена и карамзинистов, она — их естественное продолжение. В этом весь фокус: люди так основательно отучены от естественного, что естественное — ставит их в пень, кажется им новым и непонятным. Пусть потешатся! Мы с вами знаем, что новизна в искусстве сама по себе эстетически нейтральна, а так называемое новаторство — прямое уродство. Так же точно и то не ново, что шутка — вещь серьёзная. Я решительнее скажу: в пустые времена, вроде наших, — только в шутку и можно сказать самое серьёзное и важное.

26.11.22



Человек издаёт звуки только двумя органами: голосовыми связками и прямой кишкой. В те времена, когда в стране с переменчивым именем был народ, когда она ещё Россией была, мысли — оглашали: сообщали их голосом. Теперь там мысли — *озвучивают*; голос не нужен. Видно, таковы уж их мысли, что они идут через задний проход.

4.12.22



Политическая корректность, не к столу будь помянута, хорошо началась... а вот, по моей догадке, чем она закончится: будет некорректно

интересоваться половой принадлежностью человека, с которым вступаешь в контакт. Да-да, через два-три поколения... Армагеддон будет тихий, без бомбы. Различие между полами будет стёрто. Без этого ведь нет равноправия! И — детей рожать перестанут. Это будет политически некорректно.

5.12.22

2023



Второй день читаю Кюхельбекера, давно и на все лады высмеянного, его прозу под названием *Последний Колонна*. Очень романтическая вещь, но не пустая, интересная, хоть со второй страницы знаю, что будет на последней. А словарь! *Лавиринф* вместо лабиринт, *феорема* и *эфика* вместо теорема и этика. Есть над чем задуматься. И ведь он прав, он последователен! Это — рейхлиново произношение греческих слов, по-русски преобладающее, а мы в этих словах вдруг почему-то съехали на эразмово.

20.01.23



Дорогая М., твоя проза мне очень понравилась. Невольный автопортрет писательницы таков, что ей хочется объятия распахнуть. Твой душевный мир богат. Чувство такта, чувство меры — безупречные. Изумительны картины волжской России, известной мне только по замусоленным хрестоматийным книгам...

Понятно, и мелкие придирки у меня есть. Слова «моя родина — русский язык» звучали свежо и плодотворно в 1970-е годы, а теперь требует уточнений. Современные москвиты (не одни москвичи, а все тамошние, в стране с переменчивым именем) говорят на языке, нам с тобою чуждом. Он скалькирован с американского не только по словарю, но и по смысловым ударениям, по интонации. Я его и русским-то языком признать не готов. Наша родина — язык карамзинистов, созданный на основе французского. Я о себе говорю ещё резче: моя родина — поэтическая просодия карамзинистов, стихи пушкинской поры и стихи тех, кто честно продолжал

пушкинскую традицию. По-моему, и ты можешь о себе сказать то же самое. Впрочем, ты, кажется, любишь Цветаеву, а я её как раз изменницей считаю, да-да, *изменницей родины*, — за её уродливую неестественную рифму после 1916 года и маяковские эстрадные выверты. После «Здорово в веках, Владимир!» — она вся... ну, почти вся мне чужда. (Кстати, этот стих чуть ли не все издатели не умеют правильно написать; пишут: «Здорово, в веках Владимир!», что, конечно, идиотизм.)

Ты занимаешься историей своей семьи. Скажу два слова и о моей. Она уникальна: в ней никто не пострадал в годы сталинизма. Мой дед, коммунист из рабочих Фёдор Чистяков, умер молодым (от туберкулёза) уже после убийства Кирова, когда началось повальное безумие, но его прикончить не успели. Как и почему уцелел мой отец, учившийся в Германии на инженера, — сущая загадка. Добавлю, что хотя я и люблю историю, а советская история никогда меня не занимала. Об этом периоде я читаю только сочинения биографические.

Возвращаюсь к твоему письму. И на меня теперешняя война подействовала удручающе. Я несколько лет занимался математикой, для себя исправлял и дополнял мои старые опубликованные работы, но тут разом всё бросил. Как и многие, я был убеждён, что москали захватят Украину в несколько дней, — и в стихах и в прозе сказал о русских такое, чего по-русски никто никогда им о них сказать не решался, — чем и закрепил разрыв с бывшей родиной. Считаю я себя представителем другого народа, я бы поостерёгся от таких резкостей, но я по матери из крепостных и полжизни считал себя русским.

Спасибо насчёт «драгоценных вин», но вряд ли это можно сказать о моих стихах. Жизнь слишком изменилась. Стихи живы там, где есть народ, а мне (нам) — народа не досталось. В поганой Путляндии нет народа. Я тамошним и в имени русских-то отказываю. Разве они русские? И фюрер ихний — не просто законный избранник сброда: он хуже Гитлера, но лучше усреднённого «русского» наших дней (во всём его этническом многообразии). Преемник нынешнего вождя может оказаться ещё похлеще, помяни моё слово. Россия была жива в Совдепии — брезжила, как мечта, были живы люди, которые несли в сердце Россию Пушкина. В Путляндии — Россия умерла вполне. Возродить нечего. На протяжении веков у России был один кровный враг: Москва с филофеевым Третьим Римом, и вот Москва окончательно сожрала Россию.

Ещё о стихах: даже у нормальных народов поэзия, некогда нечто важное, теперь — обочина жизни (а русская поэзия — обочина обочины). Стихи старше прозы, они прямо вышли из алтаря, из веры в божественное, — но вера с каждым веком значит для людей всё меньше, вот и поэзия уходит и почти уже ушла из нашей жизни... Я вообще думаю, что вид homo sapiens sapiens исчерпал свои возможности, и мы — на грани перерождения в два биологических вида, из которых один вообще о стихах забудет. Давно выяснено, что средний размер человеческого мозга неуклонно уменьшается, уж не говорю о том, что идиотизм пронизывает всю нашу жизнь...

Ты называешь меня прекрасным поэтом... Давненько я ничего подобного о себе не слышал! Я ведь порвал со всеми литературными друзьями и приятелями, всех прогнал... и не всегда был прав, иных зря обидел. Понятно, и сам я о себе в твоих терминах не мыслю. Что ж, тебе предстоит разочарование. Если станешь читать мои последние стихи, помни, что это — дневник, где всё идёт подряд, и важное, и вздор. (Нам ведь поражение от победы отличать не велено.) И ещё помни, что это — диктат. Я записываю то, что мне кем-то надиктовано, не всегда и смысл понимаю того, что вышло, да и смыслом интересуюсь меньше, чем звуком. Над стихами не «работаю».

17.02.23



...С первых Ваших слов вижу, что мы друг другу чужие. Чего мне огород-то городить?

Я не общаюсь с людьми, думающими, что «кремлевская политика и Россия — не одно и то же». Я убеждён, что кремлёвский фюрер хуже Гитлера, но «русский народ», весь как он есть, — хуже кремлёвского фюрера; что эта поганая страна, без всякого права называющая себя Россией, должна быть уничтожена, а её поганая столица срыта, стёрта с лица земли с запретом селиться на этом поганом месте.

И я не общаюсь с людьми, способными написать или произнести «в Украине». Ни позорная Москва, ни героический Киев не вправе учить меня русскому языку, полученному мною прямо от карамзинистов: Москва, потому что там этот язык утрачен; Киев, потому что он столица независи-

мой страны с другим национальным языком. Признавать требования Киева по части русского языка значит отрицать независимость Украины. (В Киеве этого не понимают потому, что дураки и там в большинстве.) Украина имеет некоторое право на участие в русском языке лишь в том случае, если она — интегральная часть России. Я всем сердцем — за независимость Украины, всей душой за то, чтоб она раздавила эту гадину, псевдо-Россию. А вместе с тем я говорю Украине: у себя, если угодно, создавайте свой *pigeon Russian*, а за пределы страны не суйтесь, и от меня — руки прочь. Русский язык — я, а не вы.

Дальше. Мои стихи, в отличие от Ваших, не товар; их легко отыскать в сети. Но они не для Вас, ведь там в рифму объясняется всё только что сказанное мною в прозе, именно: почему Москва и Путляндия должны быть уничтожены и почему теперешние «русские» (во всём их этническом многообразии) — не люди.

Вдобавок я вспомнил, что у Вас случались стихи без знаков препинания. Раньше я был терпимее к паяцам, а теперь, у гробового входа, этих кривляний на дух не переношу, считаю их малодушием, мещанством и угодничеством перед чернью.

Вот Вам моё прощальное напутствие. Не отвечайте на него. Говорить нам не о чем.

17.03.23



...Всюду, где я Вас понял, я с Вами согласен. Некоторые места перенасыщены терминами и для меня непрозрачны. Мой обычный редакторский зуд побуждает меня сделать несколько мелких придирок по языку. Когда я встречаю два однокоренных слова подряд («почти полностью заполняет», «в неправильном направлении») или конструкции типа «в самом худшем», я вынужден перечитывать фразу сначала — потому что инстинктивно теряю доверие к мысли при таком отношении к слову.

Ваша отсылка к *Клеветникам России* Пушкина кажется мне неудачной, во-первых, потому, что стихи Пушкина плохи по наполнению, не делают ему чести, и это бросает тень на Ваши рассуждения; во-вторых, потому что ни русские, ни украинцы — давно уже не славяне.

Наконец, и слово *развод* как политический термин скомпрометирована-

но московскими борзописцами 1990-х. Вы это слово употребляете к месту, союз Англии и Шотландии под шотландской короной был добровольный, его можно уподобить свадьбе, но мерзавцы москали говорили о разводе России с Литвой, где не свадьба была, а насилие, — поэтому, как хотите, а для меня это словечко *развод* — с душком... Но все эти соображения — «советы постороннего», потому что мои интересы бесконечно далеки от политики и экономики. Правду сказать, я спотыкался даже на таких сокращениях, как ВПК...

1.05.23



Уже третий день читаю... странно вымолвить: Эренбурга, его *Люди, годы, жизнь*, притом — о войне. Местами — хорошо и правдиво, но чаще — видишь и слышишь цензора в самом авторе. А опечатки какие! «После суровой войны все радовались весне...» Вместо: после суровой зимы! Ведь не метафора же это?! Пусть уж лучше опечатка.

Совсем плохо другое: любой рядовой немецкий солдат, вчерашний школьник или рабочий, выглядит у Эренбурга садистом и закоренелым убийцей. Не верю в это! Знаю другое о солдатах и офицерах вермахта. Не идеализирую их, но ставлю их куда выше красноармейцев, показавших себя в Европе, особенно в Вене... Думаю, что Эренбурга не зря называли на Западе кровопийцей.

А ещё думаю, что он — не понимал, что происходит, обманывался искренне. Москва установила на оккупированных немцами территориях, в первую очередь в Белоруссии, режим террора: или в партизаны иди, или будешь убит своими, Зоя Космодемьянская твою хату подожжёт, — вот откуда ответные свирепства немцев, всё равно писателем преувеличенные. Чтò Москва не давала крестьянину хлеб выращивать, Эренбург не понимал.

10.05.23



При чтении воспоминаний Эренбурга его советскость приходится выносить за скобки, иначе читать невозможно, но иной раз я просто ахаю

над его промахами: человек был искренне убеждён, что советский рейх — навсегда, что это путь в светлое будущее всего человечества. Возвращения буржуя — не прозревал!

И ещё одно поразительно: его несомненная, наглядная несправедливость к немцам. Французов он любит, британцев (их, как это принято у русских, он называет англичанами) презирует за их якобы неискоренимое лицемерие, немцев — ненавидит за их будто бы природную и тоже неискоренимую варварскую жестокость. Я это вот как объясняю: Эренбург знает, что нацисты делают с евреями, а сказать об этом в печати не может, это тема запретная, — и вот он твердит о непомерной жестокости немцев ко всем людям без разбора.

Забавно и то, что он, казалось бы европеец из европейцев, называет нацистов — фашистами, а ведь между нацизмом и фашизмом — изрядное расстояние.

30.05.23



Продолжаю перечитывать воспоминания Эренбурга. Сколько лжи, сознательной и бессознательной! Человек взхлёб врёт самому себе, с упоением, с умилением. И добро бы про Совдепию, которую мы знаем как облупленную; он врёт про Запад. «Расстрел работниц консервных фабрик в Дуарнене» (в Бретани, 1926) на поверку оказывается одним (не смертоносным) выстрелом в мэра деревни, поддержавшего успешную забастовку работниц. А мэр этот, коммунист и рубаха-парень, оказывается бывшим уголовником; у него на руке татуировка: «Смерть полицейским!». Но кто мог проверить Эренбурга в 1966 году? Вот и проглатывали.

И это бы ещё куда не шло. Худшая ложь другая: он верит, что Совдепия с её ГУЛАГом и всеобщим рабством — светлое будущее всего человечества. Не видит очевидного. Иной раз думаешь: вот наконец-то он, хоть и не до конца, говорит правду: от трудности путешествовать с советским паспортом, — но это он не о получении выездной визы говорит, это о получении въездных виз! Кого он дурачит: нас или самого себя? — и не нахожу ответа. Невозможность поехать за границу хоть в отпуск, не то что работать, была едва ли не главная и уж точно самая унижительная из советский несвобод.

Разумеется, Эренбург и того не хочет признать, что он — советский набоб во всех смыслах, даже по деньгам, хоть он всё время и жалуется на нехватку денег. Он исколесил весь мир и не скрывает этого, привилегия неслыханная, и денег ему хватало, — а для меня поездка к родственникам из Ленинграда в Москву — за десять рублей — была роскошью; за 38 лет жизни в поганой Совдепии я съездил — четыре раза.

Самое трудное ремесло, говорит этот самодовольный лгун, — «водить пёрышком по бумаге»: это о труде писателя, об ответственности писателя! Где же твоя ответственность, где твоя совесть? Перед кем красуешься: перед нищими, забитыми писателями, которых десятилетиями не печатают?

3.06.23

КТО ТУТ ФАШИСТ?

Был человек Л.. Он, скорее всего и ныне жив, — до ста двадцати ему желаю! Мы дружили. Десятилетиями я восхищался его умом и талантом (он сочинял стихи).

Но вот однажды он пишет мне: «Т. — фашист!». Я спрашиваю: — Разве Т. называет себя фашистом? Ведь фашист не ругательство, а понятие: это сторонник твёрдой власти, противник коммунизма, притом из низов, из рабочих. А если это ругательство, то — берегись! как бы и тебя не назвали в ответ фашистом!...

Ну, и забываю об этом обмене репликами. А тут вдруг встречаю в сети отталкивающую рифму, из тех, что для меня — надругательство над моей родиной, над родной просодией... и оказываюсь в шкуре Л.: чувствую, что хочу назвать автора фашистом. Чувствую, что автор их тех, кого я на порог не пушу, я не готов дышать с ним одним воздухом, не то что за общий стол сесть... а вместе с тем тут же вспоминаю, что обнимал его, называл другом, восхищался им, — ибо он и есть тот самый Л..

Помилуй Бог! что с нами делает жизнь! Ведь мы были братья! Ему ненавистна какая-то политическая партия в США (кто за неё — все фашисты), мне — ненавистна система рифмовки, установившаяся в поганой Московии: рифмовки с вывертом, чтобы по-уродливее, вроде «чирикала//чернильница» (Соснора) или «крошечный//крылечку» (Евтушенко).

Нет-нет, я не назову Л. фашистом, поостерегусь... Я скажу другое, хоть и мало кто меня поймёт: гражданская война 1918-1922 с её дикими, ассирийскими жестокостями, Лубянка и Гулаг (их незачем характеризовать), война с нацистами (которая не была ни великой, ни отечественной) и сегодняшняя подлость, творимая Москвой на Украине, — всё это вышло из сущего пустяка: из бессовестного отношения к родному слову, из разного рода футуризма, ведь большевики — несомненные футуристы. Подлость начинается с красного словца, с выверта, с гадостной рифмы, понимаемой расширительно, а кончается — большой кровью, убийством миллионов.

16.06.23



...Перечитываю *Княжну Мери*. Прекрасная проза, спору нет! Жалко мне мерина Черкеса и Веру, главному же герою я не слишком сочувствую, зато вижу его, как живого.

А на вопрос Толстого, как столь молодой человек мог написать такую замечательную вещь, ответил, (задолго до вопроса) Боратынский: «Читая прозу Лермонтова, слышишь Бальзака или Евгения Сю, о стихах же его (Лермонтова) говорить нечего».

Я похожести на Бальзака и Сю проследить не могу (почему Толстой не угадал этой похожести?), но точно знаю, что как прозаик Лермонтов выше, чем как поэт. О его языковой корявости очень стоило бы написать.

18.06.23



... Мы с вами, Д., однажды уже перемолвились об этом, и во всём согласились. Напомню главное. Нынешний читатель стихов верит, что рифма должна быть уродлива и криклива; вроде цветаевской «бургомистру/выстрел». Эта глупая эстетика канонизирована давно и по сей день держится на ногах. Другая глупость нынешнего читателя стихов — пристрастие к стихам без знаков препинания, выдумке чисто мещанской. Обыватель верит, что поэт должен выкобениваться, надевать штаны через голо-

ву, то есть угодничать перед ним, обывателем, — иначе он не поэт.

А я держусь пушкинской эстетики. Я верю, что рифма должна быть простой и предсказуемой, преимущественно глагольной, определения — точными, а смысл стихов — ясным, отчётливым. Главным достоинством стихов я считаю *естественность*.

30.06.23



Бывают эпохи, возносящие до небес людей ничтожных. Это так называемые революционные эпохи. Они творят легенды. Следом за ними наступают эпохи застоя, но легенды живут. Легенда, как и лозунг, — один из самых примитивных и привлекательных способов постижения жизни.

Особенно привлекательны и поэтичны легенды о непризнанных гениях. Все они — пародии на историю Христа. Человек пришёл осчастливить нас, а мы, дураки, его не признали и отвергли! Типична в этом смысле легенда о Викторе (Велимире) Хлебникове. Про него написана тьма восторженных глупостей, но свободный от легенды взгляд немедленно показывает нам Хлебникова как человека незначительного, пустого. Его называют учёным, но нужно быть в плену у легенды, чтобы не видеть, что Хлебников был неспособен к систематическому мышлению. Слова о вкладе Хлебникова в науку — оскорбление и языкознания, и математики. Его математические формулы смехотворны во своей структуре, не то что неверны; тут он — прямой недоучка, прямая бездарность. Его сравнивают с Потебней, и это — плевок в сторону Потебни.

Однако ж и поэтический, иррациональный подход к Хлебникову не меняет картины. Фонетические опыты Хлебникова — пошлость и безвкусица, они оказались совершенно нежизнеспособны. Хлебников не оставил ни одного стихотворения, которое ныне мы согласимся признать сносным, если случайно забудем имя автора. Самое благожелательное, что можно с натяжкой сказать о Хлебникове как о стихотворце, — что у него наблюдались некоторые начатки литературной одарённости. Именно это и сказали о нём думавшие современники: Бунин, Ходасевич, Зинаида Гиппиус, Корней Чуковский и другие. В советское послевоенное время такое решались произнести немногие: ведь Хлебников стал символом противостояния большевизму, всем надоевшему. Однако ж и тут нашлись

люди храбрые; среди них назову Николая Чуковского... Много лет назад я писал о Хлебникове подробнее, в частности, подставил числа в одну из формул Хлебникова — и показал, что формула эта вздорная. Отчего никто до меня этого не сделал?

6.07.23



Перечитываю Боратынского, с которым я носился в моей ленинградской молодости. По-прежнему люблю его *Признание*. Этот ранний шедевр Лидия Гинзбург, если меня память не подводит, назвала романом... А стихотворение *Старик* я как-то не очень ценил, зато теперь оценил. Поэт называет себя стариком в 28 лет! Он умер сорока четырёх лет, какая уж тут старость. Но ведь и любомудры, кажется, называли его стариком; Киреевские, Веневитинов, ещё кто-то. Все тогда жили недолго, в этот классический период, с 1785 по 1825. Исключение — один только Вяземский... который, между прочим, из евреев: дальний потомок петровского дипломата Шафирова.

Не совсем к месту всплывают популярные в Америке слова Одена: *poetry makes nothing happen*. К ним хочу добавить, что мысли величайших поэтов никогда не новы. Новые мысли — удел учёных и философов. Поэт идёт от звука к смыслу, не наоборот. Совершенно так же возникает и любая настоящая песня: сначала мелодия, потом слова.

7.07.23



Второй день читаю статью Кундеры про европейский роман. Ох, как он умён, как начитан! мексиканцев прочёл! ... Но главное-то я и без него знаю. Ни при какой погоде не мог я читать про Гаргантюа и Пантагрюэля: отвращение душит. Пропали они пропадом! И с доном Кихотом то же. (Любимый роман Гитлера, между прочим.) Любуясь, кто может! А я остерегусь. Нет-нет, главное не устарело: безобразное безобразно. Не учите меня любить безобразное: я его не люблю.

23.07.23



Что со мною происходит? Я пишу эпиграммы — на Пушкина! В стихах возражаю поэту, над которым воздвигнут Эверест восторгов, перед которым сам я преклонялся десятилетиями. Вероятно, я свихнулся. Старческое, так сказать, безумие. Как ещё это назвать? Своё-то я место знаю, оно не рядом с Пушкиным, я и в мечтах не думал равняться с ним.

А думаю я вот что: я пишу не своею волею. Мне диктуют — я и записываю. Диктант, понятно, может идти из разных мест, — об этом я ничего не знаю и знать не обязан. Я — только стило. При этом в моём бескорыстии лишь дурак усомнится. Лишь идиот скажет, что я домогаюсь лавров или скандальной известности. Вся человек рад похвалам и поощрениям, я не исключение, но нет на свете таких похвал, уж не говорю материальных благ, миллионов и миллиардов, ради которых я бы поступился совестью. Остаётся списать происходящее на мою глупость — и на то самое вышеупомянутое старческое сумасшествие...

2.08.23



...ты пишешь: «тех, кого люблю, люблю больше истины» — так и нужно, дорогой! Ты — горячее сердце, и ничего лучшего на свете нет. А я сражаюсь не за истину, а за химеру, за временную, условную, преходящую правду, за эфемериду, — в этом, сознаю, моя узость. Сражаюсь я за эту фигню с не меньшим пылом, чем ты за дружбу — это, вдобавок, ещё и глупость. Сражаюсь в полном одиночестве; нет у меня единомышленников... Помнишь у Галича? «Бойся того, что скажет: я знаю, как надо...» Вот это я и есть. Меня нужно бояться. Разумеется, это — только о стихах, притом не о моих стихах, мои — далеко не такие, как надо, а всё равно: моя догма, мой фетиш держит меня за глотку. Нет во мне широты! Ещё крепче я знаю, как не надо... При этом я сознаю, что большому таланту никакие схемы не требуются, он выше любых схем. Спасибо тебе, что принимаешь меня со всею моею узостью и глупостью!

Что до ссоры, то я ведь не ищу ссор. Но — людей отталкивает резкость и категоричность моих суждений, а ещё больше — моё критическое беспристрастие, мой подход ко всем с одной меркой. Всех моих друзей из ленинградцев, начиная с Кушнера, я в печати пожурил — вместо того,

чтоб пропеть дифирамб по дружбе. Реакция с их стороны была самая обычная. Людям кажется, что ругая их стихи, я тем самым хвалю мои. Но когда я критик, я о моих стихах вовсе не помню!

Между прочим, эта моя правда, моя химера — не такая уж преходящая, или, уж во всяком случае, проверенная временем, а для меня — выношенная, кровью и потом оплаченная. Я читал в подлиннике (да-да!) Гомера и Данте Алигьери, со словарями, конечно, но ведь главное-то в стихах — не информационное сообщение, а звуковой строй, ритмическая организация, — звукопись, говоря словом Вейдле. Впрочем, думаю, что я уже в шестнадцать лет понял основное о европейской поэзии — когда впервые прочёл строку *Timeo Danaos et dona ferentes* Виргилия (данайцев боюсь, и дары приносящих). Не нужно знать латынь, чтобы услышать этот «глагол времён, металла звон». Я убеждён, что пойму стихи на любом европейском языке (исключая исландский, конечно; кеннингов никто не понимает). Я переводил стихи с английского (с двенадцати лет!), с испанского, с немецкого, с польского (недавно, ты помнишь), только с идиша мне потребовался подстрочник. И вот я вижу, что современность наша предаёт вековые устои европейской поэзии. Отсюда она, моя пылкая уозость, поступиться которой не могу...

18.09.23



...спасибо за отклик, дорогая. Если позволишь, я ещё раз изложу тебе мои нехитрые соображения насчёт «на/в Украине». В героическом Киеве идиотов не меньше, чем в других местах. Идиоты в Киеве не понимают, что учить нас с тобою русскому языку — то же, что учить французов французскому языку. У украинцев нет ни малейшего права распоряжаться другими языками за пределами Украины. У себя — пусть говорят по-русски, как им угодно, пусть даже запретят его, я к этому отнесусь с пониманием, но пусть бросят даже и помышлять учить русскому языку меня.

Вот если бы Украина не была независима, а была интегральной частью России, тогда Киев, вместе с Москвой, участвовал бы в развитии русского языка, но и то — лишь в одной отдельно взятой стране. Мы же с тобою не живём ни в Москве, ни в Киеве. Для меня — я это десятилетия твержу — и московские-то филологические указы не закон, взять хоть

идиотическую отмену предложного падежа для существительных на *-ве*. Мы с тобою получили наш русский язык не из героического Киева и не из поганой Москвы, а от карамзинистов, ведь так? Моя родина — не позорная Московия, а язык и просодия карамзинистов. Как же мне не защищать такую родину?

21.09.23



Вот уже сорок лет я мечтаю умереть за Израиль. Я родился гоем и был воспитан как русский. Жаль, что моя жизнь не нужна этим ублюдкам из Газы. За любого из заложников я готов умереть сейчас, сию минуту.

Кто убивал евреев массами, без разбора, за одно что, что они евреи? Немецкие (пока не русские) нацисты. (Русским большевикам отдадим должно: они хоть и убивали евреев за то, что они евреи, но — выборочно, с разбором.) Кто в наши дни убивает евреев массами, без разбора? Хамас. Если страны так называемой европейской (иудеохристианской) цивилизации, с их терпимостью и фальшивой политической корректностью, не признают Хамас нацистами, они — пособники нацистов. Иначе говоря, сами — нацисты.

8.10.23



Годами твержу стих Владимира Лифшица: «Жечь письма, рвать черновики» — но никак не решусь. Рука не поднимается. Давно я думаю начать выбрасывать старые учёные тетради, ещё иерусалимские. Первой хочу приговорить тетрадь №6, 1985-1986, с опытами над дуналиеллой, бездной формул и расчётами на макинтоше, да ещё с наброском моего *Гарвардского синдрома*. Что в ней толку? Она — палата номер шесть. Но она — тетрадь любви. Сколько труда, времени и души вложено в эти страницы! Даже и ошибки здесь, математические и в английском языке, — часть меня. Я был в лаборатории один-одинёшенек. Ни людей с похожим образованием и воспитанием, ни книг, ни интернета...

Вместо тетради №6 выбрасываю в обычный мусор папку с черновиками ЛЕА (Ленинградского еврейского альманаха, начатого при моём де-

ятельном участии). Даже при этом руки трясутся... И переписку с Ж. туда же. Великий почин!

13.10.23



...Вот я же и говорю Вам: 96% наших современников — идиоты! Почему 96%? По Ильичу: 96% маловато, а 97% — многовато. Буквально во всех изданиях Цветаевой идёт одна и та же глупость: стих «Здорово, в веках Владимир!». В рукописи Цветаевой запятой, понятно, нет, ей было не до мелочей. Только идиот может не видеть, что правильное прочтение стиха такое: «Здорово в веках, Владимир!». Цветаева приветствует Маяковского не в сегодняшней жалкой действительности, а — в веках. Справедливости ради отмечу, что 4% не выживших из ума людей на планете — деятельны, и правильное прочтение кое-где появляется.

А вот другая всеобщая глупость. Насмешливая пословица советует врачу излечиться от своей болезни самому, а уж потом других лечить. В современном языке она звучала бы так: «Врач, излечись (сперва) сам (а уж потом советы давай)!»), но её передают обычно на старинный лад: «Врачу, излечися сам!» И вот наши добрые 96% процентов, нимало сомняшеся, переделывают звательный падеж в императив: «Врачу: излечися сам!» И разве этих людей остановишь?!

12.11.23



О Соединённом Королевстве вот что скажу: страна эта, будучи далеко не идеальной, всё-таки — из лучших. Чтобы понять тутошние глупости и подлости, стоит на минуту взглянуть на Израиль изнутри — глазами хотя бы Черчилля: разве не изумился бы он поведению израильских левых и ультрарелигиозных политиков, не был бы потрясен размахом коррупции? Мы понимаем, что коррупция — производная от семейственности. В Израиле все братья и сёстры — вот нас по-братски и обворовывал наш собственный банк. «Свои люди, сочтёмся.» В Британии никто не братается, климат тут прохладный, но с коррупцией сталкиваешься несравненно реже.

Спрашивается: где легче жить простакам вроде меня? Ответ опять выходит надвое, как у бабушки: в Израиле тебя облапошат одни, но поддержат и не дадут пропасть другие: друзья и знакомые, тогда как здесь поддержка исходит от государства и совершенно лишена сердечного тепла. По мне — молодым и общительным лучше жить в Израиле, а старым и разуверившимся в людях — в Британии... Есть, есть на свете чудесные страны, вроде Сингапура и Норвегии, но и там — свои минусы, свои глупости. Нет правды на земле, но правды нет и выше. Ведь так?

18.11.23



Нынче мы присоединяемся к еврейской демонстрации в центре Лондона. Вчера я изготовил плакат STOP KILLING JEWS for being Jewish, а на другой стороне: HAMAS MADE ME JEWISH.

Удача! Мы съездили и вернулись, ничего не утратив. Наш плакат имел успех.

26.11.23



Нахожу прелюбопытные слова Чайковского (в письме к Альбрехту, из Сан-Ремо 8 января 1878):

«...в духовном смысле я совершенно больной человек. Короче сказать, я в двух шагах от сумасшествия. Я могу жить только в безусловной тишине, в изолированности от шума большого центра и в покое абсолютном... Я с удовольствием поселился бы где-нибудь в самой непроходимой глуши, лишь бы избавиться от столкновений с людьми».

Но ведь это — в точности мои слова, моё отношение к жизни!

29.11.23



Несколько лет я внимательно перечитываю сочинения Гоголя, и вот мой промежуточный итог: народ, ставящий памятники Гоголя, не в своём уме. *Гоголя никто не прочёл.* Да-да: ни Белинский, ни шестидесятники

XIX века, ни Василий Розанов, ни восторженное советское юношество, ни служилое советское литературоведение, — никто. Я первый не поленился внимательно прочесть — и ахнул.

Важу несомненное: Гоголь — посредственность, если не прямая бездарность; он лишён художественного воображения; он не владеет сюжетом; его язык уродлив, беспомощен; Гоголь по-человечески мелок, неумён, необразован; небо у него с овчинку. Я ужаснулся культурному помрачению русских, не теперешних, они не в счёт, они не русские, а прежних, настоящих. Люди, ставившие Гоголя в один ряд с Пушкиным, лишены ума или совести.

И ещё я увидел, что вся бронза, израсходованная на памятники Гоголю, должна быть, если уж у этой публики есть потребность в кумирах, перелита в памятники Василию Нарезному (1780-1825), которого, при отсутствии авторского права, Гоголь посмертно обобрал, но ни на волосок не приблизился к его, Нарезного, высоте. Все открытия, приписываемые Гоголю (малороссийский колорит, шаржирование земляков, вскрытие польской природы украинской культуры), принадлежат Нарезному, который в художественном и нравственном отношении десятью этажами выше Гоголя. Прав князь Петр Андреевич Вяземский: Нарезный — первый самостоятельный русский прозаик, сравнимый с Вальтером Скоттом и Александром Дюма, а притом — не зависящий от них.

22.12.23

2024



Спасибо за письмо, дорогой. Очень ты обрадовал меня твоей победой над пространством. Осталось победить время. У человека ведь два исковых врага: пространство и время.

Насчёт моих теперешних стихов: я их не беру всерьёз и тебе не советую. Настоящие стихи пишутся в молодости, не на восьмом десятке. Я не «работаю» над стихами, я записываю, что пришло в голову, и тотчас забываю; обычно сочиняю во сне или «меж сном и бодрствованием», как говорит Шекспир. Работаю я над разоблачением Гоголя. Вот это — труд, мучительный, противный, никчёмный, но необходимый. Пишу для себя, не для благодарного человечества, которое не переубедишь. Пишу крити-

ческие изложения. Понять значить написать, ведь так? Я уже написал про четырнадцать его канонических вещей, сейчас — в пятнадцатой. Мечтаю добраться до конца... хотя и сейчас могу произнести мой приговор: Гоголь едва ли не бездарен, он в подмётки не годится Василию Нарезному, которого он посмертно обобрал: украл и его главную тему, и его метод.

5.01.24



Я — выходец из русских. Родился русским, да перестал им быть... нечастый случай, между прочим. Люблю Пушкина, но не как в младенчестве любил. Мицкевича ставлю выше Пушкина. Польшу — ставлю выше России: кто из русских когда-либо решился на такое кощунство? Ещё сильнее, чем Польшу, люблю античность, эпоху кватроченто и Англию...

Всё это к слову, побоку. Всё это пишу, чтобы сказать себе: люблю до слёз из русской традиции одну-единственную народную (кажется) песню из советского фильма *Хозяин тайги* 1968-го года. Мелодия незамысловатая, слова незамысловаты, но я буду помнить их до смертного часа:

Ой, мороз-мороз, не морозь меня,
Не морозь меня, моего коня.
У меня жена, ой, красавица,
Ждёт меня домой, ждёт-печалится.
Как приду домой на закате дня,
Обниму жену, напою коня.

Буду помнить слова и мелодию до смертного часа, потому что они — каким-то непостижимым образом — про меня. Никакой Пушкин рядом не стоял. Ни даже Мицкевич.

20.01.24



Люблю слова, которые Пушкин вкладывает в уста Смирновой-Росет:

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,

Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло
И шулки злости самой черной
Писала прямо набело.

Последние четыре строки, с поправкой на грамматический род, готов произнести от себя.

2.02.24



Читаю стихи Наташи Карповой, убитой в родном городе на берегах Невы в 1995 году (спустя два года после того, как она гостила в нас в Лондоне). В 1988 году, когда ей 48 лет, она говорит о себе в стихах: прожито четыре пятых, то есть думала дожить до шестидесяти; думала, что осталось 20%, а на деле оставалось 11.1%.

Она была настоящим поэтом, но — поэтом небольшим. Некоторые её стихи трогают, большинство — ушло навсегда. Не только техника, но и темы устарели. Она любит свой город, как его полагалось любить всем поэтам... и как я его любил. Нет, я хоть и не слабее её любил северную столицу, да с Флоренцией этот город сравнивал... Флоренцию в нём прозревал и любил. Какая досадная ошибка, обидная промашка!

16.02.24



Я резко отозвался об Александре Городницком в моих воспоминаниях. Не беру ни слова назад. Я не покривил душою, честно передал в 2005 году то, что чувствовал в 1971 году: очарование его песен — и разочарование в его стихах и в его личности.

Но я должен признать, и делаю это с радостью и благодарностью, что одна из его песен сопровождала мне всю жизнь, была в числе важных событий моей юности, не умолкла и в старости. Вот сию минуту я нашёл её

текст в сети и опять изумился — не мастерству стихотворца, нет, а месту, которое песня занимала и по сей день занимает в моей душе. Слышу её, восхищаюсь ею и её автором, склоняюсь перед ним в поклоне. Знаю наверняка, что не для одного меня эта песня стала и осталась сильным переживанием. Однако ж текст песни читаю моими теперешними глазами. Вот он:

Ты мне письмо прислать рискни-ка,
Хоть это все, конечно, зря.
Над поздней ягодой брусникой
Горит холодная заря.

Опять река несет туманы,
Опять в тепло уходит зверь.
Ах, наши давние обманы,
Вы стали правдою теперь.

Меня ты век любить могла бы,
И мне бы век любить ещё,
Но держит осень красной лапой
Меня за мокрое плечо.

И под гусиным долгим криком,
Листовою ржавою соря,
Над поздней ягодой брусникой
Горит холодная заря.

Недостатки есть в любых стихах. И высмеять легко любые стихи; они ведь, по гениальному определению Смердякова, существенный вздор-с. Не буду говорить о том, что нынче кажется мне недостатками в этом стихотворении. Отмечу черту эпохи. Рифмовать точно в 1960-е годы считалось неправильным; рифма *рискни-ка/брусника* — показалась бы приторной и дилетантской, а рифма *рискни-ка/брусникой* — радовала. Точная рифма не вообще была под запретом (только глагольная считалась вчерашним днём), Городницкий рифмует *туманы/обманы*, но такой рифме полагалось быть в меньшинстве, она была терпима — как застарелый буржуазный предрассудок.

Вот две строки, больше всего запавшие мне в душу в отрочестве:

Над поздней ягодой брусникой
Горит холодная заря.

С усилием освобождаюсь от привязанной к ним простой и чудесной мелодии, чтобы произнести им оценку. Эти две строки — хорошие стихи, хороший по звучанию ямб, меньшего не скажешь, хотя и большее не стоит им приписывать (в моей туманной юности я думал иначе, говорил, что они принадлежат большой русской поэзии), а сила их — странно вымолвить — в патриотическом заряде, в том, что нарисованная в них картина не может не тронуть сердца ленинградца той поры. Бруснику и в Подмоховьи можно отыскать, но всё-таки она, особенно вместе с холодной зарёй, немедленно отсылает нас на Карельский перешеек, воскрешает каким-то образом целые пласты тогдашней нашей ленинградской жизни, возвращает молодость. Лесные походы по грибы и ягоды были неотъемлемой чертой жизни тогдашней ленинградской интеллигенции. Сам я ни на минуту не был страстным грибником и ягодником, не любил этих походов, но даже и при нелюбви к ним хаживал в лес с лукошком за компанию с другими.

20.02.24



Со вчерашнего дня читаю Моммзена по-русски. Понимаю теперь, за что его хвалили: за мысль и краткость. Вижу, продолжая его мысли, что без Цезаря не было бы ни Декарта, ни Ньютона, а пожалуй, и Лейбница, то есть весь европейский мир создан Цезарем. Цезарь не просто покорила Галлию, он навсегда замирил её, сделал прямым продолжением Италии, прямой продолжательницей Рима.

Совершенно неожиданной показалась мне мысль о том, что Верценгеториксу — не следовало сдаваться, если он был верен своему делу (оказывается, он мог бежать), что его плен окончательно погубил национальную борьбу галлов, смирил галлов больше, чем все их военные поражения (Моммзен всех галлов считает кельтами). Красивый, жертвенный, рыцарственный поступок вождя галлов был, в некотором роде, предательством, уж не говорю самоубийством (не мог ведь он на великодушные римлян рассчитывать). Вообще, читая Моммзена, ещё раз вижу, что роль

личности в истории — определяющая...

21.02.24



Гениальный Моммзен при описании Ганнибала и его войска бросает мимолётное замечание об инстинктивной неприязни арийцев к семитам, но ни слова не говорит об ответной неприязни семитов к арийцам. Не знаю лучшей и более тонкой похвалы моим карфагенским предкам! Если человек (или этнос) без причины не любит другого человека (или другой этнос), то к первому мы испытываем инстинктивную неприязнь, ведь так? Ариец Моммзен не хотел прямо сказать о своей симпатии к пунийцам-семитам, он сказал об этом с гениальной тонкостью... Правда, другая тонкость состоит в том, что армия семита Ганнибала была наёмной и в своей массе арийской, там преобладали иберы и кельты всех оттенков, а случались и греки, включая спартанцев. Но мы ведь понимаем, что те, кто пришёл с семитом, не лучше... пардон: не хуже семитов.

26.02.24



Второй день листаю Камю по-русски. Перевод как-будто бы и неплох, но целые куски лишены смысла, из чего заключаю, что перевод — дословный. В любом случае видно, что и сам Камю писал в значительной степени ради писания, ради слов, ради удовольствия сопрягать слова, а это — не самый верный путь к мысли. Вижу стихи в прозе, в посредственной русской прозе. Ещё вижу, что Камю восхищается Сен-Жюстом, а Марат для него — обезьяна Жан-Жака. Пока что самое интересное — факты. После вынесения ему приговора и до своей гибели на эшафоте Сен-Жюст не сказал ни слова! Это при его-то любви к речам! А погубило на якобинской гильотине всего-навсего 273 000 человек. Смешно и сравнивать с двадцатым веком... но можно представить себе масштабы массовых убийств будущего; человечество близится к самоуничтожению.

2.03.24



...Излагаю мою просьбу, дорогой ленинградец. Был такой биолог Борис Сергеевич Кузин (1903-1973). Доктор биологических наук, зам. директора провинциального института (после отсидки). Советский, казалось бы, человек. Мне он представляется философом и писателем, дивным мыслителем и блистательным стилистом, в десятке лучших за весь русский двадцатый век. (Пустьчок, но он, между делом, напрочь опроверг один тезис Сократа, царствовавший в Европе две с половиной тысячи лет.) Его лучшие сочинения лишь частично попали в печать. Он (как мыслитель) никогда бы не был издан даже частично, если б его корреспонденткой не оказалась вдова поэта, Надежда Мандельштам (которая ему в подмётки не годится по уму и человеческим качествам). С Осипом Мандельштамом Кузин дружил — и оказал на него несомненное влияние. Издательницы Кузина, две толстокожие бабы из Публичной библиотеки, умудрились выкинуть из сборника 1999 года самое драгоценное: его, Кузина, соображения о систематике в биологии. Этим двум бабам такое оказалось не по уму. Они даже того не поняли, что тут речь не о насекомых, а о нас с вами. Это именно философия...

Прекращаю возгласы. Вот данные: ваша Национальная библиотека, бывшая Публичная, фонд Бориса Сергеевича Кузина, №1252. Меня в первую очередь интересует текст под названием *De Principiis Systematicae Dissertatio*, по-русски, с испанским эпиграфом из Сервантеса. Дуры издательницы опубликовали введение и эпилог к этому тексту (блистательные!), выпустив сердцевину. Мне нужен весь текст. Я угадываю текстологические ляпсусы в опубликованном тексте (кое-где они убийственны по глупости), а в неопубликованном — угадываю сокровище. Сверх того мне нужен общий взгляд на весь этот архив, взгляд умного и ответственного человека. Если у тебя есть силы на подобное предприятие, я у твоих ног. Допускаю, что и тебе это окажется интересным. Твой интерес был бы для меня подарком! Книга была одна: Борис Кузин. *Воспоминания, произведения, переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б. С. Кузину*, СПб, Инапресс, 1999. На бумаге этой книги у меня нет. Она одновременно и драгоценность и собрание позорных ошибок. Ещё раз спасибо. «Извини за внимание.» Как бы ни повернулось дело, я твой должник.

24.03.24



Помещаю в сеть стихи Константина Ескина (1952-2003), жившего и убитого в городе на Неве, — его стихи 1970-х годов. Ескин не был ни великим поэтом, ни моим близким другом, мы скорее приятельствовали. Пишу о нём потому, что чувствую себя перед ним в долгу — как перед каждым мёртвым из тех, с кем свела меня жизнь. И ещё по другой причине.

Стихи Ескина драгоценны мне тем, что живо и подлинно возвращают время и место моей молодости, настроения и нравственные поиски того круга, к которому я принадлежал в Ленинграде «проклятых семидесятых». Стихи эти именно подлинные, настоящие, не выдуманные, без модных кривляний, а круг наш, решаюсь думать, был характерен. Советская власть отвергалась уже полностью, но казалась незыблемой, неизбежной, что не совсем последовательно уживалось с верой в русский народ и возрождение России, с преданностью русской культуре, — вот основное, чем в ту пору мы жили.

Ескин не был диссидентом, всецело не принадлежал даже к так называемой второй литературе; он писал от душевной потребности, не из тщеславия — и был в числе тех авторов, которых тупая и бездарная власть не пускала в печать. Не был он и поэтом по преимуществу, ведь таковыми обычно именуют тех, для кого поэзия — главное содержание жизни. Иван Бунин — замечательный поэт, но для себя и для нас он в первую очередь не поэт, а прозаик. Ескин в первую очередь был талантливым физиком, одинаково хорошо чувствовал природу вещества и природу дифференциальных уравнений в частных производных (говорю это не по наслышке, я читал его учёные статьи). Его научная карьера не вполне удалась по причинам, общим для нашего поколения. Ленинград был перенасыщен творческой интеллигенцией, как ни один город в мире. Во всём мире в ту пору не было города лучшего для учёбы, и худшего для социального становления — по причине тесноты, возникшей не без посредства советской власти, — столь сильна была конкуренция, столь губельна нехватка жизненного пространства.

Советская власть и в другом не давала о себе забыть. Нищета среди творческой интеллигенции нашего поколения была нормой. Социальной помощи в стране социализма не было никакой. Борьба с нищетой отнимала силы физические и творческие, доводила до отчаяния. К тому же Ескин,

при явном уме и талантах, нравом был тяжёл, неудобен и неуживчив, много пил, с людьми не ладил (женат был пять раз!). При наступлении свобод в его карьере произошёл скачок: он вдруг оказался помощником директора громадной и богатой фирмы, Ленинградского оптико-механического объединения. Тут пахло деньгами и властью. Власть ему пришлась по душе, и вот он уже — в «правительстве города»... Не знаю, что он там делал, но не сомневаюсь что его гибель связана с этим возвышением: он знал что-то лишнее, за что его и убили...

Но всё это к слову, к бытовому портрету Ескина, не к его стихам первой половины 1970-х, которые живы сами по себе. В этих стихах он другой, ещё не вкусивший власти и мирских благ; ещё — в нашей общей тогдашней безнадёжности, в страшную эпоху безвременья, в эпоху полного нравственного штиля в обществе... Словом, вывешиваю стихи Ескина, которые оказались мне доступны. Мне кажется, их стоит прочесть.

<http://bethulia.com/C-Yeskin/>

31.03.24



...Прости, дорогой! Хочу злоупотребить твоею дружбой. Извини за внимание. Прошу тебя критически и серьёзно прочесть сборник моих полусерьёзных стихов, который я намерен напечатать под псевдонимом Клеофас Чортополохер тиражом в 50 экземпляров (из них себе возьму пять, а остальные оставляю издателю на раздачу). Если возьмёшь на себя это бремя, будешь первым читателем. Если побрезгуешь, это ни на крохотную секунду не пошатнёт моей дружбы к тебе. Никакой спешки нет, я ещё намерен пожить на этом свете.

2.04.24



Дорогой профессор Винарский,

Из Вашей работы (*Утопические проекты в отечественной зоологической систематике 1920-х гг.: Е. С. Смирнов и В. Н. Беклемишев*) я заключил, что в Вашем распоряжении (с некоторой степенью вероятности) может находиться полный текст работы Б. С. Кузина *De Principiis Systematicae Dissertatio*. Если я не ошибся, не будете ли Вы так добры и не снаб-

дите ли меня копией этого текста (разумеется, за вознаграждение)? По ряду обстоятельств я не могу добраться до архива, в котором хранится оригинал. Почтительно, Юрий Колкер

2.04.24



Не один Гоголь поживился на бедняге Василии Нарезном! Сам Некрасов, да-да, тот, великий, пишет водевиль в двух картинах — *Шила в мешке не утаишь, девушки под замком не удержишь* — по замечательной вещи Нарезного *Два Ивана*. Не в шутку, а всерьёз я восхищаюсь этим романом Нарезного, который, по мне, перевешивает всего Гоголя.

24.04.24



Моя давняя мечта — поставить памятник Василию Нарезному (1780-1825), первому большому русскому прозаику, человеку изумительной одарённости, практически незамеченному неблагодарными соотечественниками. С этой целью *переписываю от руки* в новой орфографии и вывешиваю в сеть сочинение о нём Н. Белозерской (1892). Взято оно мною тоже из сети (и старую орфографию я предпочитаю новой, большевистской, только она мне не по силам), но вывешено оно в сети так, что — видит глаз, да зуб неймёт: читать до крайности неудобно, а копировать и искать нужное место — невозможно. Мошенники, не имеющие ни малейших прав на это сочинение, вывесили его в надежде заработать на нём, и, конечно, не заработали ни копейки в теперешней затхлой России, а русской литературе подножку подставили. Таковы теперешние русские, в своей массе — воры, мародёры, мошенники.

В книге, которую мошенники безуспешно пытаются продать, о Белозерской сказано, что её историко-литературный очерк был в 1893 году удостоен Уваровской премии. Я начал читать и переписывать этот труд с благодарностью и чуть ли не с благоговением: надо же! нашёлся в позапрошлом веке один умный и честный человек, понимающий литературу и свой долг патриота! — а заканчивал с величайшим раздражением против Белозерской. Работала она усердно, сведений важных и интересных (не

только и даже не в первую очередь о Нарезном) сообщает много, иные из них очень не мешало бы знать людям литературным, но она — совсем не писатель и не мыслитель. Вряд ли вину за бесконечные нелепости в тексте (вроде *христоматии*) можно целиком переложить на типографского наборщика. Словарь Белозерской коряв, расстановка знаков препинания — нелепа до глупости (говоря это, я не из теперешней нормы исхожу, а из тогдашней). Нарезного, спасибо сочинительнице, она признаёт большим талантом и первым по времени настоящим русским прозаиком. Тут ей поневоле приходится говорить о Гоголе, и она, нехотя с видимым усилием, признаёт зависимость Гоголя от Нарезного, — хотя из её же собственных примеров видно, что Гоголь не следовал за Нарезным, а попросту обобрал покойника.

Сопоставление Нарезного с Гоголем — худшее в сочинении Белозерской. Она целиком в плену установившегося суеверия; не видит очевидного: что по таланту Гоголь Нарезному — по щиколотку. Понятно, что полвека безудержных восхвалений Гоголя — барьер не шуточный, но ведь на то и существует критическая мысль, чтоб рассеивать подобные предрассудки.

Не мешает вспомнить, как этот вздор начался: в 1835 году (при жизни Пушкина, Жуковского, Боратынского!) Белинский заявил, что трон первого русского *поэта* перешёл от Пушкина к Гоголю — к начинающему неумелому прозаику без родного языка и культуры! Белинским повелевали соображения конъюнктурные, ему нужны были «свои Новалисы и Тици», романтика, народность; ему, да и самому Герцену, стал мешать бельведерский мрамор классицизма. А Белинский был «властителем дум» в краю, где думать ленились, и — пошло-поехало. Чтобы закончить с Гоголем, выскажу моё твердое убеждение, что литература, поднявшая на пьедестал Гоголя, не может называться великой.

Возвращаюсь к Н. Белозерской. Отмечаю как анекдотическую глупость её суждение о романе Нарезного *Два Ивана, или Страсть к тяжёлам* (откуда Гоголь украл всё, что оказалось ему по мозгам). Она восхищается, и совершенно справедливо, первой половиной, а про вторую говорит, что эта часть будто бы подражательная. На самом деле первая часть романа Нарезного отдаленно напоминает *Ромео и Джульетту* (сюжет которой у Шекспира заимствованный, *подражательный*), вторая же часть романа Нарезного по сюжетному ходу, по занимательности — не

знает себе примера во всей европейской литературе, да сверх того захватывающе интересна, читается на одном дыхании; попробуйте найти способ примирить Монтеки и Капулетти!

Что же побуждает Белозерскую идти против очевидного? А вот что: ей не нравится счастливое завершение романа. Перед нами — ещё одно суеверие: к концу XIX века в России додумались, что литература должна нести социальную нагрузку, звать к свободе, обличать и разоблачать, — а не занимать, восхищать и радовать читателя. Но этого изначального назначения литературы, — занимать, восхищать и радовать, — никто никогда не отменял. Нарезный не задавался целью написать трагедию или сагиру, его нравоописательная вещь ближе к улыбчивой комедии (этого жанра тоже никто не отменял), и она — самостоятельна и прекрасна от начала до конца, её счастливый конец не только к месту, он — единственное возможное логическое завершение такого сочинения.

Оставляю без возражения другие ошибки Н. Белозерской, которой я всё-таки благодарен за её труд. Переписывая её сочинение, я поначалу (пока моё доверие к ней держалось высоко) воспроизводил все её стилистические нелепости, а примерно со второй половины текста кое-что правлю, в первую очередь — расстановку запятых, которые у Н. Белозерской стоят так, что иной раз и смысл исчезает.

30.04.24



Моя переписка с издателем... с предполагаемым издателем моих стихов К. — повергла меня в уныние. Я вспомнил, что живу на необитаемом острове (это не про Британию). Стихи и вообще-то никому не нужны, а мои — подавно, ведь я полвека на словах и на деле иду против установившейся конвенции.

Конвенция зародилась в Москве, в революционном 1905 году, давно устарела, но не выветрилась, по сей день гвоздём сидит в заскорузлых мозгах стихотворцев, имя же им легион. Конвенция предписывает рифмовать неожиданно и с вывертом, пусть уродливо, даже хорошо, если уродливо, лишь бы броско — то есть народно. Вот примеры: *обуян/Франсуа* (Мандельштам), *бургомистру/выстрел* (Цветаева), *чирикала/чернильни-*

ца (Соснора), *крылечку/кромешний* (Евтушенко). Разве это не отвратительно?

Ещё конвенция предписывает отказ от глагольной рифмы, которая, по-моему, — самая суть русской поэзии, неперемное условие естественности и задушевности. Вижу экстравагантную, развязную, крикливую девку с густо намалёванной на губах мишенью для поцелуев — вот что такое их теперешняя рифма. Им сказано, что рифма должна быть Карманьолой, Карменситой. А я говорю, что рифма — служанка, то есть должна быть проста, опрятна, незаметна и — предсказуема, да-да, это главное. Ещё я говорю, что глагольную рифму можно отменить только вместе с русской поэзией (что и произошло на деле).

Так с исполнением стихов. Тут я в полном одиночестве. Что до на-полнения, то мои стихи всегда были тем же, что у всех: те же семь струн кифары (гитары), а теперь — добавилась восьмая, которую мой израильский друг метко назвал *сардонической лирикой* и которая уже совсем никому не понятна. Кому нужен кифаред с топором? Вот я и почесал в затылке. Не пора ли утомониться? Чего я ищущу? Признания у читателей, чьё мнение презираю? — но ведь это трагикомедия! А тут, как на грех (чтобы успокоиться!), перечитал я эпод Горация *К вольноотпущеннику* — и ахнул: по мне всё в нем — глупость и пошлость, замешанная на зависти. И это — Гораций... От всего этого потеряешь желание жить, ей-богу...

1.05.24



В сотый раз! Сколько можно? Сталкиваюсь с умными людьми — и не вижу, чтоб они понимали! Позор!

Я всею душой и всем сердцем на стороне Украины. Московию я презираю сверху донизу. Я бы ненавидел её, если б она была достойна ненависти, а не презрения. Но героическая Украина не может учить меня русскому языку, полученному мною не из поганой Москвы, а от карамзинистов. Настоящее имя Украины — Русь. В Киеве смалодушничают, изначально не приняв этого имени, согласившись на кличку, навязанную Москвой. Украина — значащее слово, означает оно: окраина (нечто пренебрежительное), хотя на деле Малороссия — центр, а окраина — как раз Московия. Так вот: по-русски говорят: *на окраине, на Руси*. Это норма. От-

менить эту норму никто не властен. Формула «в Украине» как киевское предписание — зачёркивает украинскую независимость. Независимая Украина не может предписывать мне, не украинцу, норм моего языка. С тем же правом она может учить французов говорить по-французски. Украина зависимая, Украина как окраина Московии — участвует в русском языке, как страна независимая — не участвует. Киевские демагоги не понимают, что пилят сук, на котором сидят.

25.05.24



...ты спрашиваешь, когда *это* началось? Примерно 120 лет назад, в московском Литературно-художественном кружке, вместе с баррикадами на Пресне — или чуть раньше. С трибуны были провозглашены рифмы: *ветер/свете* и *камень/веками*. Овация! Партер на ушах стоял: революция! «На баррикады! Буржуям нет пощады!» — а кончилось ГУЛАГом.

Никто по сей день не хочет видеть связи между низостью в эстетике и низостью в политике, а она — прямая. Вот мой скромный ответ на твой вопрос: не только нынешний кризис в поэзии, какого не бывало, но и политическое и нравственное падение России до нынешнего её ничтожества началось с пустячка: с пошлой бульварной рифмы.

2.06.24



В отрочестве я упивался романами Ивана Ефремова *На краю ойкумены* и *Туманность Андромеды*. Блистательные вещи. И ведь Ефремов — ещё и учёный с несомненным вкладом в науку... а прожил всего 64 года. Как им не восхищаться? Я и восхищался. И восхищаюсь.

Но вот что он пишет: «Ещё тысячелетия тому назад древние эллины говорили: метрон — а́ристон [ударения мои], то есть самое высшее — это мера».

Помилуйте! Разве *самое высшее* — не ляпсус восьмиклассника? Нам за такое тройки ставили. И с греческим у Ефремова неладно. *Аристон* по-гречески — завтрак, ланч, а *лучший, высший* — а́крон.

«И мы, — пишет этот классик, — продолжаем говорить, что основа

культуры — это понимание меры во всём...» Кто бы спорил! Ещё Гораций сказал: Est modus in rebus.

А рядом — такое: «Одна из величайших задач человечества — это победа над слепым материнским инстинктом».

Ей-богу, гениальность сродни идиотизму.

11.06.24



...да, милая: именно так! Я человек простой, из народа вышел, на медные деньги учился. Что думаю, то и говорю. Душою не покривлю. За мою правду на костёр пойду. Говорил сто раз, но для тебя повторю: не пускаю на порог татуированных и тех, кто стихи пишет без знаков препинания. Я их за людей не держу. Компрене-ву? Не за идиотов, нет, это была бы похвала, а прямо за братьев по разуму, за обезьянообразных. Пусть потешатся! Да и мы потешимся, глядячи. Зрелище хоть куда! Сто раз я говорил — а тут опять один сунулся! Силы небесные! Как отвадить этих тварей? Как внушить им оставаться в своём зверинце?

19.06.24



Шесть лет назад умерла Зоя Эрохи. Она была замечательным поэтом. По живому, не выдуманному за столом своеобразием она в одном ряду с Державиным и Блоком — и выше Пушкина (не по таланту; талант, как все понимают, не сводится к своеобразием, которое нужно дозировать; поэт, вполне порвавший с традицией, не нужен и невозможен).

Художественное открытие Зои — трагикомизм советского быта, щемящая душу поэтичность этого трагикомизма. Тут ей нет равных. Её видимая простота в стихах обманчива, под нею кроется глубина и остроумие (не острословие). Зоя была умна. Образование она по советской мерке получила среднее, на самом же деле оно было выше среднего, — достаточно одной её рифмы *нитрита/Амфитрита*, единственной в русской поэзии. Но всё же, решаюсь думать, «в просвещении встать с веком наравне» она не смогла или не захотела (Пушкин, как мы помним, захотел, однако ж тоже едва ли смог — ситуация вообще типичная для поэта).

Зоя умерла не в полной безвестности, у неё были верные читатели и страстные почитатели, но широкого признания она не получила. Тут впопру вздохнуть, однако ж я удерживаю вздох, потому что другого и быть не могло. Во-первых, она родилась в Ленинграде и всю жизнь прожила на берегах Невы, а признание делалось в Москве, где посредственности вроде Евтушенки или Ахмадулиной становились властителями дум. Москва десятилетиями держала Ленинград в культурной блокаде, которую провали только двое: Кушнер и Бродский.

Во-вторых, Зоя родилась в 1946 году. Именно на её поколение пришли две катастрофы: поэзия пошла под откос, и окончилась эпоха Гутенберга. Второй катастрофы никто предвидеть не мог, она — результат невероятного развития электроники. Первая катастрофа подразумевалась.

Значение поэзии в обществе убывает век от века, день ото дня. Поэзия вышла из алтаря — и сходит на нет вместе с верой. Вера в то, что Бог участвует в нашей жизни, ныне сохранилась только в самых примитивных коллективах (обязательно в коллективах; без коллектива нет Бога; Бог и коллектив — синонимичны). У народов взрослых Бог и поэзия — на обочине. Русский язык карамзинистов, самый поэтический язык мира (спасибо его архаичности), был последним большим языком, удерживавшим страстный интерес к поэзии. Угасать этот интерес начал ещё при большевиках. Поэтам перестали верить — и виноваты в этом сами поэты. Со времён футуристов русские поэты, испуганные высокопарностью символистов, играли на понижение — и к началу 1980-х доигрались; рифмы *чирикала/чернильница* (Соснора) и *крылечку/кромешний* (Евтушенко) — надгробный памятник былому величию русской поэзии.

Верила ли Зоя в Бога? Ни к какой конфессии она не принадлежала. В синагогу ездила раз в год за мацой, к христианству относилась с симпатией и тянулась к нему, но не крестилась. Симпатии не помешал дурной опыт. Семи лет она из любопытства вошла в православную церковь, и ей было сказано: «Иудейка, вон из храма!» (внешность у неё была такова, что нельзя было ошибиться).

В выборе друзей Зоя никогда не руководствовалась «голосом крови», о евреях, будучи еврейкой, ничего толком не знала, Израиль, где она гостила, ей решительно не понравился. Замуж она вышла за русского по фамилии Бурков (и он её бил). При всём том Зоя была до такой степени подлинным поэтом, что бессознательная вера в Бога, участвующего в её

жизни, скорее всего была ей присуща. Именно такая вера, без всякой даже «загробной жизни», что уже полный вздор, — неискоренимо проследживается в мировоззрении всех настоящих поэтов.

Спустя десятилетия или столетия для Зои наступит звёздный час: её с лупой в руках прочтут историки-бытописатели, — без её стихов невозможно почувствовать нутра поганой Совдепии. Но для читателей поэзии она — за высоким барьером, если не в саркофаге, потому что мёртв народ, для которого и на языке которого она писала, мертва для теперешних «русских» традиция карамзинистов.

23.06.24



Я не автомобилист. О машинах сужу по эмблемам как произведениям искусства. Самая талантливая — эмблема Тойоты: греческая тэта, а вместе с тем и наша планета с параллелями и меридианами. На втором месте у меня Тесла: буква Т, а вместе с тем — Атлант, держащий на плечах небосвод. На третьем месте — Фольксваген, где вся символика — в названии, а эмблема хороша своей симметрией и логической завершенностью. А на последнем месте — совершенно бездарная эмблема Лексуса: буква L, криво вписанная в эллипс, — ни символики, ни гармонии...

Ещё одно наблюдение, уже в другом роде: колесо автомобилей, в наши дни цельнометаллическое, обычно символически изображает спицы — в память о первых автомобилях и вообще красоты ради. Так вот этих символических спиц — чаще всего пять, реже семь или девять, и практически никогда — шесть. Если хочешь продавать машину, помни, что многим людям не нравится шестиугольник, напоминающий магендавид.

23.06.24



«Гений чистой красоты» — вот величайший из когда-либо произнесённых стихов русской поэзии, по внутренней своей сущности — совершенно немецкий. Произнести его мог только немец, мечтательный немец, немцы ведь (до 1918) — народ мечтателей. И, разумеется, произнёс его Василий Жуковский, немец из немцев, не было второго такого немца

в русской культуре, даром что этнически он турок. Произнёс он своё откровение в контексте самом высоком:

Ах, не с нами обитает
Гений чистой красоты.

Пушкин этот стих профанировал, связал его (через «как», но связал) с тутошней женщиной (в тот же день мерзко им оболганной в письме к Вяземскому). Но, по мне, Пушкина тут можно забыть: интереснее Жуковский.

Сам ли Жуковский произвёл на свет это чудо или прямо перевёл его с немецкого? Вопрос этот напрашивается, а его никто никогда не поставил. Русскому литературоведению, младенческому в период «великой русской литературы», он был не по силам. Советскому он был очень по силам, но не по уму, мешал замоскворецкий патриотизм. Немецкая культура несопоставимо богаче русской. Гениальная обмолвка могла принадлежать второстепенному немецкому поэту. Но с наименьшей вероятностью эта гениальная формула могла полностью принадлежать русскому немцу Василию Жуковскому. Тогда — слава русской поэзии! Слава ей! Только не забудем, что и вся-то она целиком вышла из немецкой усилиями Ломоносова.

15.07.24



Мне говорят: «А нельзя ли предположить, что "Гений чистой красоты" — всего лишь очень талантливый парафраз исходного *Лалла Рух*, сочинения славного аглицкого поэта Томаса Мура?

Nay, who can coolly note the line
The letter of those words divine,
Oh! what a pure and sacred thing
Is Beauty, curtain'd from the sight
To which his blade, with searching art,
Had sunk into its victim's heart!
Of the gross world, illumining
One only mansion with her light!

Вроде всё в наличии: и divine, и pure Beauty, и illumining with her light.»

На это возражаю: divine относится к словам (words divine); sacred применительно к Beauty ближе к телу, но весьма обычно в настоящей поэзии. Да пусть бы и всё было в наличии, это всё нужно по кусочкам собирать, а у Жуковского — ошеломляющая формула в трёх словах.

Однако ж у Мура именно не всё. Ошеломляющий смысл формулы Жуковского — в парадоксе, в оксимороне, которого у Мура нет. Красота вообще статичная, а гений (как ни понимай это слово) заявляет о себе только в действии. Гений, понятый в высоком и правильном значении, есть творческий дух, временно сошедший на человека (отсюда — джинн, понятие родственное и слово едва ли не однокоренное), а с ним — переходящее состояние, вдохновение, которое даже воспитывать можно («Ты гений свой воспитывал в тиши»). Гений в приниженном и обыденном значении — человек невероятно одарённый, он всегда гений, и когда творит (что обязательно по определению), и когда спит.

Жуковский берёт слово гений в третьем смысле, близком ко второму: для него это не человек, но дух, пребывающий вечно, что возвышает и усиливает парадоксальность его поэтической формулы.

16.07.24



...На твой философический вопрос о супружестве (без шуток умно поставленный) отвечу серьёзно. По-моему, всякое супружество — в первую очередь хозяйственная сделка, пусть и с сердечной привязанностью. А всякая сделка всегда держится на взаимном обмане, на вере в то, что ты выгадал. Если сделка честная, то обман — непроизвольный, бессознательный или, уж во всяком случае, не намеренный. Сознательный и намеренный обман ведёт к разладу. В каждом супружестве муж составляет себе легенду о жене, жена — о муже. До тех пор, пока твой партнёр укладывается в твою легенду о нём (о ней), а ты — в его (её) легенду о тебе, супружество всем, включая супругов, кажется счастливым, правило это общее, — вот почему все счастливые семьи похожи одна на другую. Не стоит додумывать некоторых мыслей о том, кого любишь. Каждый человек — клубок противоречий (а то и змей). Ни одного человека (включая

себя) нельзя знать до конца — и лучше не знать...

28.07.24



В Мюнхене вышла книга стихов Клеофаса Чортополохера, то есть моя, но почему-то с досадными купюрами, — выпущены (не стану скрывать, мною) многие занятные стихотворения, например, вот это:

Шугану я тебя, шугану!
Оттого, что я с севера, что ли,
Шугану тебя в русское поле
И вдогонку лимонку швырну.

И вот это:

Маркиз де Сад работает в саду.
Тихонько сзади к гаду подойду,
В чернильницу эспаду обмокну
И в зад садисту Саду садану.

Всё равно книга ничего себе. Называется *Ответ киродимой (сардоническая лирика)*. Получить книгу можно дёшево, чуть ли не за стоимость пересылки. Издательство *ImWerden*. Очень рекомендую. Русским классикам там досталось, русской сволочи тоже.

29.07.24



...ты не права! Моё требование к стихам не сводится к простой и точной рифме. Это — требование безусловное, но частичное, оно само вытекает из требования универсального: стихи должны быть *естественным дыханием*. То есть: смысл не должен главенствовать над звуком (настоящий поэт никогда не высказывает новых мыслей), звук — над смыслом, — необходимо равновесие, которое и есть мера таланта сочинителя. Стихи должны читаться легко, без натуги, без колдобин. И не суй мне в нос Мандельштама в качестве возражения. Лучшие его стихи — именно естественны, в худших — он сын своей эпохи, всеми давно осуждённой. Все

видят, чем обернулась революция в политике: кровавой баней и рабством, а эпатаж в искусстве, параллельный революции в политике, родственен ей, по-прежнему — по глупости! — в чести, и находит сбыт.

Возвращаясь к частному вопросу, к рифме. Отказ от простой, точной и предсказуемой рифмы снимает вопрос о мастерстве. Мастерство (как и свобода) возможно только в установленных границах, в рамках закона.

Пусть теперь неожиданность рифмы, её намеренная неточность — закон, новый закон, появившийся после символистов и вот уже сто с лишним лет — по глупости! — обязательный для всех. По этому закону сочинитель в поте лица своего трудится над листом бумаги, выискивая небывалую рифму, а читатель ждёт от него неожиданной экстравагантной рифмы, — и общими их усилиями смысл стихов отодвигается на задний план. Равновесие нарушено. Под дымовой завесой неожиданной рифмы, пусть хоть безобразной (как «чирикала/чернильница» Сосноры), — даже именно безобразной, она в моде, — можно протащить любую смысловую ахинею. Но если даже смысл — не ахинея, естественность стихов безобразной рифмой убита наповал, а стихи неестественные — плохие стихи.

Заметь, что при этом требование естественности дыхания в стихах ни на крохотную секунду не изгоняет из стихов требования неожиданности, входящего в понятие стиха. Оксиморон — дословно: острая глупость — необходимо присутствует в любых стихах, простых и сложных, хороших и плохих. Оксиморон неустраим из стихов уже потому, что стихотворная речь, в отличие от обыденной, организована: ритмизована и благозвучна. Но это необходимое в стихах качество настоящий поэт равномерно распределяет между звуком и смыслом стихов, потому что стихи неестественные — плохие стихи. В пушкинскую эпоху эти простые соображения были понятны каждому. Сегодня их приходится растолковывать всем — и люди глаза на тебя пялят, в пень становятся. Упадок русской поэзии начался с кривляний в рифме, обусловлен этим кривляньем.

Отмечу ещё один необходимый элемент естественности стихов. Стихи вышли из песни, но вышли не до конца. Текст, из которого полностью изгнано песенное начало, — не стихи, не имеет отношения к поэзии. Поэтому, например, Маяковский, человек необычайно одарённый, хоть и недоучка (в своей жизни он ни одной книги не прочитал), в стихах — бездарен, именно бездарен. Говорю это без всякой оглядки на его политические выпады, которые всего лишь показывают его неумным человеком.

Царедворец, приспособленец — для поэта ещё не приговор, возьми Горация и Державина. Приговор — когда стихи подменяются криком, позой, эпатажем.

29.07.24



Некрасов, тот самый, великий Николай Алексеевич, русский патриот родом из поляков, в год своей смерти написал удивительное четверостишие:

За желанье свободы народу
Потеряем мы сами свободу,
За святое стремление к добру —
Нам в тюрьме отведут конуру.

В первый момент кажется: он прозрел будущее, — Лубянку, Гулаг! И не удивительно, он ведь гений! Только хочется возразить: какую там конуру! пытки и расстрел тебя ждут!...

И тут, сказав это, мы соображаем: он от царя, а не от народа ждёт тюрьмы! Гений верил, что от народа только добро исходит: «Сейте разумное, доброе, вечное! Сейте! спасибо вам скажет сердечное русский народ!» Спасибом как раз и оказались Лубянка и Гулаг. Другого спасибо у народа и в мыслях не бывало... В скобках замечу, что рифма *сердечное/вечное* — петербургский кукиш московскому Малому театру, предписывающему говорить: *сердешное* вместо *сердечное*... Некрасова давно уже принято поносить, а по мне — зря: поэт он, при всей его политической узости, большой, если не великий, и уж не московским актёрам учить его и меня русскому языку.

31.07.24



Белый стих на тысячелетия старше рифмованного. Нынешним он просто не по уму, — слишком высок для них, вот и приходится о нём забывать. Нынешним невдомёк, что рифма (неизвестная до трубопроводов) — всего лишь один из множества элементов стиховой звукописи, и притом недавний, вчерашний, минутный.

Но к нему, к этому минутному приёму, следует относиться с той же серьёзностью, что и к прежним. Всем понятно, что когда слова сами по себе были песней, сами по себе звучали музыкой, когда люди говорили медленно, — рифма не требовалась. Вергилию она показалось бы профанацией — потому что достаточно произнести *Timeo Danaos et dona ferentes* — и рифма становится чем-то ненужным, смехотворным.

1.08.24



У Бунина в стихах полно неправильных ударений: млекó, древкó, тёп-
плы, Суматра, запряженный, лазы́, посажénную, Мемфíс, засу́ха, Загрéб.
Многовато для академика. Голова у него «открытая» или даже «раскры-
тая», что означает: без шляпы. Но разве он плохой поэт?

21.08.24



Одна из загадок русской культуры — слепая и всеобщая ненависть к женскому имени Сара, такому же библейскому, как имена Иван, Илья, Елизавета, Мария. На проклятых бибисях, где я гнул спину тринадцать лет, была вполне русская женщина, в эфире называвшая себя Сарой, и другой тамошний русский бибисишный человек, излишне русский, всё тыкал ей: — Что вы, Оля, делаете! Ведь так нельзя!

Имя Абрам — почти в той же категории, но чуть выше. Абрамом был предок Пушкина, негр, не эфиоп, как считалось почти сто лет, а из западной Африки. Отец Боратынского, русский человек, хоть и из поляков, был Абрам, и дослужился до генерала. В царской России никому имя Абрам не мешало, хотя, кажется, никого особенно и не радовало.

Иное дело — советский период. Не раз и не два я встречал в печати, что Боратынского (в ту пору писали: Баратынского) называли Евгением Александровичем; у честного патриота рука не поднималась написать: Абрамович; известный Гейченко — в числе этих патриотов. Ни один русский (без еврейской бабушки) мальчик за всю историю Совдепии не был назван Абрамом. Ни один! И ни одна девочка не из евреек не была назва-

на Сарой — за всю историю кириллицы и глаголицы. Загадка! Казалось бы, имя как имя!

27.08.24



...ты спрашиваешь, когда я перестал считать себя русским? Прости, но твой вопрос вывернут наизнанку! Правильный вопрос вот какой: когда я понял, что все тамошние — больше не русские? Ответ у меня самый определенный: в 1995 году я увидел, что все они переводят английское to shock как *шокировать*, — и был *потрясён*. Тут у меня и открылись глаза. Тут я и понял, что они больше не русские. Были у них во множестве и другие шокирующие глупости, и они копят, идут на нас стеной, как цунами, но именно эта глупость — перевесила всё. Тут я понял, что у меня с ними нет ничего общего.

6.09.24



Не дико ли? Израиль — страна, созданная как убежище для евреев после Еврейской Катастрофы, и она — единственная в мире, где евреев убивают за то, что они — евреи. Как тут не вспомнить Бога! Это ли не свидетельство избранничества? Любить значит убить.

9.10.24



Мать поэта Льва Куклина звали Буня Исааковна. Кто бы сомневался!

19.10.24



...спасибо, но ты ошибаешься! Оригинальность не ценили ни в античные времена, ни в новое время — до самого девятнадцатого века, когда мода вытеснила Бога, и очень многое пошло наыворот. Я больше скажу: были времена, когда оригинальность считалась пошлостью, —

возьми хоть эпоху Публия Теренция Афры; этот гений совершенно сознательно избегал оригинальности, потому что хороший вкус и приличные люди её не терпели. Оригинальность, конечно, в своей сущности и есть пошлость: оригинальность ради оригинальности, ублюдочное новаторство, то есть предательство искусства, корыстное угодничество перед разбогатевшей чернью. В хорошие времена ценили не оригинальность, а творческое развитие традиции в её главном русле: обязательно на материале, *всем заведомо известном*. Требовалось сказать всем известное — чуть-чуть иначе, чуть-чуть глубже и умнее, чем прежде. Душа требовала версии. Стих (versum) и версия (versio, поворот) — от одного корня, от глагола *vertere* (поворачивать). Новый взгляд на хорошо известное — вот путь подлинного искусства. Не нужно ни новых физиономий, ни новых ситуаций: все ведомы. Вот вся правда о любом подлинном искусстве, не только о поэзии...

Что до твоей кинематографии, то её, уж не обессудь, и искусством-то признать нельзя, если мы в уме не повредились. Место кинематографистам — во французской Академии, давно в уме повредившейся, с ума спятившей.

28.10.24



...твоя правда: читаю Сенкевича на старости лет. Смешно? Не обязательно смешно. Смешно мне было в молодости, когда я понял, что нобелевский комитет отверг Толстого и присудил премию Сенкевичу. Это казалось мне дикостью, вопиющим несообразием. Я в ту пору только *Пана Володыёвского* прочёл, а запомнил оттуда лишь один эпизод: как человека на кол сажают, описанный во всех подробностях, со сладострастной жестокостью. Сажали на кол подонка, предателя, негодяя, спору нет, к тому же ещё и *липака*, то есть татарина, для вида принявшего христианство, но автор упивался жестокостью и — мезтью. Мезть красной нитью идёт через все сочинения Сенкевича, как если бы она была польским национальным качеством, жестокость не смущает автора (жестокость и мужество — одно и то же в его сочинениях), а ведь он христианин.

Нынче думаю, что Сенкевич прав: жестокость и мужество — синонимы. Более того, он прав перед Толстым: он, Сенкевич, лучший в своём

поколении и настоящий европейский романист, а не моралист и проповедник, как Толстой. Что такое роман? Разве это катехизис? Роман — жанр низкий (так считалось веками), он всего лишь рассказ о случаях из жизни, он должен быть занимателен, увлекателен, убедителен, и здесь Сенкевичу нет равных, остальное — прочь.

Восхищаюсь Толстым, но больше не стою перед ним на коленях. Нобелевский комитет был прав в своём выборе. Из двух романистов он выбрал того, который был больше романистом в европейском понимании этого слова. Русский роман взял на себя функции, не свойственные литературе: религиозное осмысление жизни, проповедь добродетели, чем и поразил позднюю Европу. Религиозная мысль веками была живым и творческим началом западной Европы, но не претендовала на место в художественной литературе, а в России её не было, — отсюда и феномен...

К чему все эти слова? Сказал ли я что-нибудь важное и для нас новое? Не посягаю на это. Моя скромная мысль только в том состоит, что к некоторым застарелым ценностям, я говорю о русских ценностях, следует относиться с осторожностью. Толстой ужаснулся бы, увидев современную Россию, но и мы, последние русские на свете (с нашим заграничным поколением настоящие русские на свете прекратятся), должны смотреть на Россию настоящую, прежнюю (уж не говорю про ненастоящую, теперешнюю) — открытыми глазами...

К слову, Толстой, сколько помню, пишет в дневнике: «Вечером читал Сенкевича. Очень блестящ» — не насмешка ли это?

18.11.24



Прошло пять лет со дня смерти Жени Дубнова... да-да, Юджина Дубнова (1949-2019), и я спрашиваю себя, почему мне недостаёт его в моей жизни. Мы были приятели, не близкие друзья. Я никогда не ценил его стихов, и он знал это и прощал мне это, — случай исключительный. Я не ценил в нём мыслителя и собеседника, да и он во мне уж не знаю ценил ли что-либо. Но есть другое измерение. Я любил его как человека. Нам было весело и вольготно в обществе друг друга, я обнимал его и прижимал к груди, мы с ним дурачились, резвились, смеялись друг над другом (вот где упоение!), это — счастье особенное и редкостное: этого-то и не

хватает мне без Жени.

И — нет его! Глупая и бездарная сестра Дубнова, совершенно не понимавшая брата, изуродовала мои воспоминания о нём, которые я по её просьбе написал для неё. Но это — в сторону. Нет Женьки Дубнова — и некого мне, приехав в Иерусалим, хлопнуть по плечу со словами: — Здорово, брат! — вот в чём скорбь. Пусть не вершитель судеб, не знаменитость, — своеобразнейший он был человек, ни на кого не похожий в своих стихах, суждениях и поступках. Кладу, по еврейскому обычаю, камень на его надгробную плиту.

19.11.24



Расскажи, что ты читал в течение жизни, — и твой портрет готов...

Первой моей настольной книгой был Виктор Гюго в русских переводах: все пятнадцать томов его собрания сочинений 1956 года, притом не только его проза, но и все его стихи, включая тяжеловесные гекзаметры. Мне было двенадцать лет, и я прочёл эти пятнадцать томов с восторгом — и с примечаниями, чем заложил фундамент всей моей последующей жизни, школа-то в культурном отношении давала мало. Стихи Гюго были разительно непохожи на русские. «От ямщика до первого поэта мы все поём уныло» — а француз был отрицанием уныния, он был трубный глас, он был гневен даже в лирике.

20.11.24



...Ни от кого из нас, из наших миллионов, завтра имени не останется. Это азбучная истина. Горько? Ничуть! Нужно знать своё место. Мы, ныне живущие, — не человечество, а пена на гребне человечества, разбивающегося о скалу. Возьми любого из нас — и для сравнения выхвати наудачу из античности любого эллина или римлянина, — разве я не шавка рядом с ним? Смешно и спрашивать! Благосостояние растёт, человек мельчает. Сытости всё больше, Бога всё меньше. И поэзии — тоже всё меньше. Бог и поэзия синонимичны.

23.11.24



Ей-богу, я не хотел! Всю мою жизнь я знал, что я человек маленький. Всегда я был законопослушен и уступчив, честно делал, что мог, старался. Я жаждал справедливости, но кто же её не жаждал? Это было чистой воды мещанство. Я был мещанин. Не стыжусь этого. С кем не бывало? Я довольствовался малым: моим корытом. Я был счастлив.

Но вот ближе к концу жизни началось у меня нечто странное: хватается меня некто за грудки и говорит:

— Пророчь!

Я ему твержу:

— Уволь! Куда мне! Я мал! Не моё это дело! Отпусти! Избавь! — и в ответ получаю по морде... Я раньше и не знал, что у меня есть морда, зато теперь знаю.

Ну, и началось. Каждый день — какой-нибудь вздор. Мне диктуют, я и записываю. Редко понимаю, что записал. Сплю плохо: только дурное видится. Как проснусь, опять диктант. Я хочу гулять, есть от пуза, снукер смотреть — на дают! Говорят: записывай, иначе тебе конец. Тут я как раз и взмолился: пусть бы хоть и конец! Я своё прожил, больше мне не надо! Но нет, не пускают ни в парк, ни к экрану. Проклятье, да и только! Может, отбубнив, отпущение получу? Так или иначе, выбора нет; бубню.

23.11.24



...ты говоришь: славить нужно Афины, а не Фивы, ведь Афины — всемирный свет, противоположный тьме, вечному мраку, Эребу. Верно, в культурно-историческом смысле Фивы — тьма рядом с Афинами, но ведь эти мои стихи — скорее символические, чем исторические, а символ света — как раз Фивы, Фебы, город Феба, Аполлона, город света. (Заметь, что названия: Фивы, Афины — мы произносим на поздний византийский лад, в рейхлиновом прочтении, где буква η та стала итой, а буква $\theta\eta$ та фитой. Точнее было бы говорить: Фебы, Атхены.)

29.11.24



Мне чудится (надеюсь, только чудится), что к моим скромным дилетантским опусам проявляют интерес москвиты. Очень надеюсь, что это мне пригрезилось, но на всякий случай повторю то, что говорил много раз: (1) все мои отношения с Москвией прерваны в 2009 году, (2) Москва для меня худшая чужбина, чем Зимбабве, (3) ни одного москвиты (держателя московского паспорта) я на порог не пушу, (4) у Господа Бога нет таких миллиардов, за которые я хоть строчку моих скромных сочинений дам в Москву.

30.11.24



Лесков — писатель посредственный, России не понимавший, особенно высшего общества, куда его не пускали, — но и у писателя посредственного, писавшего по совести, промелькнёт иной раз молния, которую нельзя не восхищаться, вот и у Лескова промелькнула: «унизительное чувство ревности, пережившей любовь», — что за это не дашь! Молодец Лесков! Ни у льва Толстого, ни у тигра Достоевского такого не припомню.

4.12.24



Читаю *Некуда* Лескова. Масса выдуманных уродливых слов и стилистически ляпов. Главный герой всем хорош, но антисемит, однако ж как этого не простить русскому человеку? Загадка, откуда Лесков знает польский язык, ведь он цитирует не раз Мицкевича в подлиннике и всюду где можно вставляет польские слова. Лучший эпизод книги — где он выводит польских иезуитов, с которыми я, в отличие от автора, целиком солидарен против поганой России... потому что она уже и тогда поганая.

7.12.24



Читая Сенкевича, воспевающего христианство, напрочь отвергаю это ученье, даже презираю его, — но роняю слёзы над тем, что Сенкевич пишет: вот сила таланта! С этикой христианства я согласен почти полностью, она вся из иудаизма, отвергаю и презираю — мистику христианства, языческую и насквозь фальшивую.

22.12.24



По многим признакам, на знаменитого императора Нерона — много наклеветали. Худшая клевета — поджог Рима, дело это известное и давно опровергнутое, но и других злостных выдумок немало. Не то чтоб Нерон был мне особенно симпатичен, нет (хотя в кафе *Nero* я всё-таки не пойду), — просто хочется приблизиться к истинной картине. Понимаю, что «в действительности всё было не так, как на самом деле», но хочу снять с Нерона невольную клевету, случайно наложенную на него русским языком.

В момент самоубийства Нерон, по многим свидетельствам, сказал (в русском переводе): «Какой великий артист умирает!» — и все русскоязычные люди, сколько их ни на есть, вот уже пять (если не больше) поколений не видят ошибки переводчика, — думают, что Нерон сказал: «Какой великий актёр умирает!». Потому что в русском языке артист — это актёр, в то время как на самом деле артист — это художник. Нерон сказал: «Какой великий художник (поэт и музыкант) умирает!» Не сценическим своим талантом он так уж сильно дорожил, а своими стихами, своею музыкой и, да, своим голосом исполнителя, к нему только и сводилось актёрство. Слово *артист* в значении *актёр* — одно из уродств русского языка. В громадном большинстве случаев актёр — ни на тюельку не артист, не художник.

23.12.24



Режиссёр — нахлебник. Когда театр был велик, никто не говорил о режиссёрах и режиссуре. Да-да, режиссура была, да только имён тогдаш-

них режиссёров никто назвать не может. Не интересовались режиссурой. Зато сейчас имя режиссёра всем в глаза пихают, а смотреть нечего. Настоящий режиссёр — что Господь Бог: он остаётся в тени, неясно, есть он или его нет, никто о нём не спрашивает, а пьеса идёт.

23.12.24



Нет, дорогая, никогда в жизни я не слушал никакого радио. И в семье этого не было. Я совершенно аполитичен. Но в студенческие годы и позже многие вокруг слушали *голоса*, и всё важное я узнавал вовремя. Когда в 1975 или в 1976 году мои стихи были прочитаны не то *Голосом Америки*, не то *Свободой*, мне сообщили об этом друзья.

Теперь насчёт «зарабатывать своим творчеством». Прозаик, композитор, живописец или скульптор — эти должны иметь возможность зарабатывать, их творчество трудоёмко, в их творчестве велик элемент ремесла, и потребитель (покупатель) их продукции им необходим. Иное дело поэт. Профессиональный поэт — нонсенс, он возможен только в субсидируемой литературе. Нельзя кормиться от вдохновения; это и ненадёжно, и непристойно. У поэта должна быть профессия. Конечно, лучше, когда у поэта — имение с крепостными, но быть дворянином — это ведь тоже профессия. И совсем плохо, когда поэта не печатают; потребитель его продукции (читатель) ему столь же необходим, что и прозаику.

28.12.24

2025



Один из уродцев теперешнего языка москвитов — слово иммиграция. В хорошие времена это по-русски был преимущественно зоологический термин. Применять его к людям огульно стали только после краха Совдепии, но в своём новом качестве он — по происхождению и сущности — чисто советский.

Всегда и всюду люди, по разным причинам навсегда покинувшие родину, назывались эмигрантами, и только в Совдепии, по недостатку общей культуры, утвердилось, спасибо большевикам, и в целых трёх поко-

лениях удержалось смутное представление о том, что эмиграция — непременно что-то очень дурное, чуть ли не измена родине (последнее слово у большевиков полагалось писать с прописной буквы). И вот, когда Совдепии не стало, а эмиграции никто больше не препятствовал, новые эмигранты, имя же им легион, инстинктивно решили отгородиться от неприятного слова — слышали звон, да не знали, где он! — и назваться иммигрантами.

Подсказка пришла сверху. В западных странах, где языки устроены иначе, правительства называют пришельцев иммигрантами, но для правительства ты одно, а для себя — другое!

Чтобы понять, как это новшество глупо и пошло, попробуйте назвать иммигрантами Бунина и Цветаеву, Набоковых и Троцкого.

По-русски — те, кто называет себя иммигрантами, в сущности приравнивают себя к животным.

14.01.25



Читаю умный и хорошо написанный текст, натываюсь на слово *элитный* — и дальше читать не могу, бросаю чтение с отвращением.

Зачем умному и образованному автору уродовать родной язык? Ведь это словечко — типичный американизм, обезьянничанье, угодничество перед чужими.

По-русски (и на всех языках, имеющих грамматический род) элита — слово женского рода. Всякому грамотному человеку ясно, что русское прилагательное от него — *элитарный*, не *элитный*. Так и было всегда, двести с лишним лет, с тех пор, как слово элита стало обиходным. До так называемой перестройки и вождельных свобод — уродливого словечка *элитный* (применительно к людям) в русском языке не было; оно встречалось в собаководстве.

Но в 1990-е годы молодые недоучки начали в слепом азарте бездумно переносить в русский язык английские слова (в американском произношении). По-английски нет грамматического рода; в слове *elite* последняя гласная абсолютно немая, отсюда и пошло это уродливое верхоглядство в языке русском.

Добрые люди спросят меня: а как же со словом *монета* и устоявшей-

ся конструкцией *монетный двор*? На это отвечу, что упомянутая конструкция — старше русского языка карамзинистов, который был и остаётся родиной для думающих людей моего поколения. Отвергая уродливое и ненужное словечко *элитный*, я защищаю родину.

3.02.25



...ты спрашиваешь меня о стихах М***. Они меня не порадовали. Московский способ рифмовки я отверг ещё в 1972 году. Позволительно спросить: как людям не надоело? Ведь вот уже больше ста лет юродствуют, упиваясь ассонансной рифмой, зачастую уродливой, а то и изысканно уродливой! Подобное отношение к рифме — свидетельство душевной пустоты, измена самой сущности поэзии.

И каких уродцев ни нагородили: *бургомистру/выстрел* (Цветаева), *крылечку/кромешный* (Евтушенко), *чирикала/чернильница* (Соснора). С лёгкой руки футуристов и их последователей и начался теперешний упадок поэзии.

Подлинная поэзия преспокойно обходится без рифмы, которая — всего лишь один из элементов звукописи, в поэзии обязательной. Другая отличительная черта настоящей поэзии — естественность интонации. Рифма, когда она есть, должна быть естественна, то есть *проста, точна* и *предсказуема*. Самая естественная рифма в русском языке — глагольная. Она и должна преобладать. В подтверждение моих слов привожу давнее свидетельство, произнесённое в 1921 году одним из умнейших и культурнейших людей своего поколения, поэтом и критиком Георгием Адамовичем (1892-1972):

Нам в юности докучно постоянство,
И человек, не ведая забот,
За быстрый взгляд и лёгкое убранство
Любовь свою со смехом отдаёт.

Так на заре весёлой дружбы с Музой
Неверных рифм не избегает слух,
И безрассудно мы зовём обузой
Поэзии её бессмертный дух.

Но сердцу зрелому родной и нежный
Опять сияет образ дней живых,
И точной рифмы отзвук неизбежный
Как бы навеки замыкает стих.

Прекрасные стихи! И веское свидетельство поэта, прошедшего огонь и воду декадентства, революций и эмиграции.

9.02.25

ЕВРЕЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

С некоторой оторопью я, «русский по крови», на днях осознал, что я — еврейский писатель. Жаботинский говорит: еврейский писатель тот, кто пишет для евреев, на каком бы языке ни писал. А я был выращен в сознании, что я русский, в детстве никакого языка, кроме русского, не знал и не слышал, поэтому случившееся осознание — новость самая для меня неожиданная.

В детстве, лет этак до двенадцати, я думал, что пишу для благодарного человечества. В молодости я догадался, что обстоятельства места, времени и моего скромного дарования существенно ограничивают число моих вероятных читателей. Я стал чувствовать себя русским и (на какое-то время) даже советским писателем.

Советскость довольно быстро прошла, а русскость удержалась. В Израиле, а потом и в Британии мне всё мерещился краешек стула в Великой Русской Литературе. Великость русской литературы, однако ж, тоже вскоре несколько потускнела. Что это за великая литература, которая держится на двадцати именах и длится полтора столетия? Настал момент, когда и почётное кресло в этой литературе перестало быть для меня привлекательным. С 2009 года я не даю ни строки в одну отдельно взятую, ставшую мне совершенно чуждою, а при этом, как и в детстве, чувствую, что пишу для всех, только звучит это теперь иначе: для себя.

И вот, с оторопью, но и с удовольствием, я вдруг увидел, что большинство моих читателей — евреи. Почему с удовольствием? Хотя бы уже потому, что евреи — народ памятный, а русские — беспамятный. Это ведь невозможно отрицать: биологическое задание любого существа, от

букашки до человека, состоит в том, чтобы оставить по себе след, генетический, если ты букашка, генетический и нравственный, если ты человек, — остаться на какое-то время в памяти, хотя бы генетической, себе подобных. Отсюда и моё удовольствие. В Треблинку — пойду с евреями. Умирать лучше среди своих.

Евреи — народ книги. Эпоха книги прошла, но эпоха евреев и не думает кончаться. Мне даже кажется, что она кончится не раньше, чем кончится человечество.

23.02.25



...Я нашёл средство от бессонницы. На ночь нужно читать *Алексиаду* Анны Комнины. Я эту книгу уже лет двадцать читаю. Прочсть её нельзя, она непреодолима. Я читаю в русском переводе (где глагол *довлеть* означает *давить*), но там и по-гречки полно вставок, и не только в примечаниях, и моего гречкого мне не хватает. Нужно читать — без понимания, не вдумываясь, тогда и заснёшь. Написано: Лонгивардия, так ты и не вспоминай про Ломбардию. Написано: Исангел, а ты не вспоминай, что это Сен-Жиль... После часу чтения приходит здоровый сон... Между прочим, в *Алексиаде* встречается слово Νεμίζοι, то есть, would you believe it, немцы!

9.05.25



...ты говоришь, что мои нынешние стихи совершенно не похожи на то, что теперь пишет массовый сочинитель. Я и сам это вижу. И думаю, что это неплохо; писателю пристало изменяться, не изменяя себе. Давно ведь уже сказано (кажется, Шестовым), что обретение писателем *своей манеры* есть конец писателя.

Добавлю, что и на мои прежние стихи теперешние мало похожи. Вижу — и не огорчаюсь. Довольствуюсь выпавшей мне обочиной. Во-первых и в-главных, мне — всё равно; пребываю, по Боратынскому, в равнодушии высоком. Кроме горстки друзей — не нужен мне никакой читатель, ни нынешний, ни провиденциальный (который будет ещё хуже

нынешнего). Живу как умею. Доживаю своё. Записываю, что мне диктуют. Радуюсь услышанному. Поражения от победы не отличаю.

А во-вторых — у меня надёжный щит, надёжный пример: поздние стихи Мандельштама (которые мне совсем не по душе). Вот уж кто ни на кого не был похож — до полной неуместности и неумелости. Казалось, что так писать нельзя. Казалось не только Фадееву и прочей сволочи, казалось очень разным людям даже и в поздние советские годы. Хорошо помню: в 1970 году все вокруг меня говорили только о Мандельштаме. Его запрещённое имя было поднято необычайно высоко, и притом теми, к кому прислушивались. Мандельштам ходил в рукописях, а рукописи, полные опечаток и неподтверждённых вариантов, мы получали для копирования на одну ночь.

Оторопь моя от первых попавшихся мне поздних стихов Мандельштама была полная, подспудный протест — непреодолимый, приятие — условное, временное («потом пойму»). Кто примет и полюбит текст, требующий расшифровки? К чему он? Когда человеку есть что сказать, он скажет это с полной доступной ему простотой, «с последней прямоотой».

И — как человек рифмует! Встречаются рифмы «современные» (хоть уже и надоевшие своею современностью; вроде *умирать/вчера*), встречаются и «новые» (прямо уродливые; вроде *умрёт/пирог*), но преобладают — самые простые, глагольные, даже деепричастные (*волнуя/даруя*), — и в 1970 году я спрашивал себя: разве это *ещё* уместно в нашей-то современности? Того, что современность имеет, что называется, обратный ход, что мода на уродства — преходяща, а новизна эстетически нейтральна — этого я, уж тогда открыто объявивший, что держусь консервативной эстетики (смелость, между прочим, нешуточная!), до конца не понимал.

Естественно, я понимал, что в 1930-е Мандельштам жил из последних сил, чувствовал свою человеческую обречённость, хуже того: свою обречённость поэтическую, свою ненужность «новому миру». Это позволяло мне без пренебрежения смотреть на его явные неудачи — вроде строфы:

Не говори никому,
Всё, что ты видел, забудь —
Птицу, старуху, тюрьму
Или ещё что-нибудь.

Не похвалю этого четверостишья и теперь. Разумеется, оно — анти-советское уже одним словом *тюрьма*, всё в нём определяющим и смысл его объясняющим. Ужас и «ворованный воздух» — тут, от этих стихов страшно, — но нельзя не видеть, что птица и старуха — образы случайные, проходные, а от последней строки, от этого *что-нибудь* невозможно не почувствовать отталкивания — так это беспомощно в поэтическом отношении. Что-нибудь — это ведь что-нибудь, и только! Да плюс к тому рифма приторная и примитивная, на общем корне построенная. Сейчас я знаю, что однокоренные рифмы очень возможны (как в первой строфе Онегина), а иногда и блистательны («А что же делает супруга / Одна в отсутствии супруга?»), но и теперешнее моё понимание говорит мне, что в поэтическом отношении эта строфа — слаба.

В 1970-м — понимания мне ох как не хватало!

На полицейской бумаге верже
Ночь наглоталась колючих ершей —
Звёзды живут, канцелярские птички,
Пишут и пишут свои раппортички.

Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать,
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешение.

Признаюсь без стыда: я не сразу понял, что колючие ерши, они же раппортички, — это доносительные критические статьи рапповцев, и что ночь тут (с её «чёрным советским бархатом») — время сочинения статей, днём-то рапповцы другим заняты: борьбой самой непосредственной. Слово *верже*, отсутствовавшее в бытовом языке, заслоняло для меня полицейскую бумагу, связь между раппортичками и полицией ускользала от меня. А вот жуткая канцелярская формула — *подать заявление*, ныне слух режущая, — ничуть не тревожила моего воображения, была повседневной нормой. Вся вторая строфа казалась мне пустой, проходной: что это за рифмы: *мигать/подать, тленье/разрешенье*! Так и восьмиклассник может. Мне, уже открытому консерватору, всё ещё чудилось, что рифма вовсе без изыска — легковесна.

Вот и скажу ныне себе-тогдашнему «с последней прямой»: изобре-

тательство и новаторство в рифме — не рифмуются с душевной жизнью, опровергаются ею. Рифма должна быть проста и точна, незаметна и опрятна, исполнительна и предсказуема. Она должна быть естественна, то есть в пяти случаях из десяти — глагольна. Намеренный поиск новизны есть измена искусству. Отказ от простодушной, без изыска, рифмы — измена поэзии.

28.05.25



Что происходит с «носителями языка»? Не ума ли они рехнулись? Английскую конструкцию *artificial intellect* эти растратчики переводят как *искусственный интеллект*, — отчего не *искусственный разум*? Тут ведь редчайший случай полного смыслового совпадения. Слово *стол* переводится на английский тремя словами: *table, desk и bench*, а *intellect* и *разум* — в точности одно и то же, тут ни малейшего смыслового отклонения не имеется. Но нет, молодчикам неймётся! Привыкли обезьянничать — и остановиться не могут. Они именно растратчики. Величайшее природное богатство страны — язык карамзинистов и Пушкина — пущено с молотка.

7.06.25



Июнь кончается, и никто, кажется, не вспомнил Зою Эзрохи.

Эзрохи умерла в конце июня 2018-го. Кто она такая? Почему её нужно помнить?

Зоя Эзрохи была изумительным русским поэтом... Нет, я без дураков скажу: она была изумительной поэтессой. Великую Сапфо ведь, кажется, никто покамест не посмел назвать поэтом. Две с лишним тысячи лет называют её поэтессой, и от этого она не перестала блистать. Ахматова, сколько я помню, первая додумалась называть талантливых поэтесс — поэтами. Нелепость! Ей в голову не шло, что это сексизм: что этим она ставит мужчину выше женщины.

Я не ставлю мужчину выше женщины. Я говорю об Эзрохи. Если бы своеобразие, как некоторые думают, было главным достоинством поэта

или поэтессы, Эзрохи стояла бы изрядно выше Ахматовой, да вряд ли и Пушкину бы уступила. Что я этим сказал? Я сказал, что своеобразие не есть ещё талант. Я больше скажу: гениальность, если мы не ума рехнулись, не есть степень таланта. Гениальность есть одержимость. Она очень часто присуща людям неталантливым и прямо бездарным: классические примеры — Хлебников и Циолковский, оба в своём деле бездарные, но гениальные.

Эзрохи была и талантлива, и гениальна. Почему она не стоит в нашем сознании в одном ряду с Шекспиром, Мицкевичем, Пастернаком? Не потому, что я ляпнул глупость насчёт её гениальности. Её гениальность несомненна для тех, кто любит и понимает поэзию. Эзрохи потому никому не нужна и всеми забыта, что на её поколение (на моё поколение) припала своеобразная и никогда прежде не случавшаяся катастрофа. Катастрофа единственная в истории человечества. Катастрофа бесповоротная: на наших глазах поэзия из священнодействия стала кривлянием, из алмаза — стразом. На протяжении тысячелетий такого некому не грезилось — и вдруг разом свершилось. Тысячелетиями поэт и пророк стояли рядом, так и в моём детстве было, — и вот на глазах одного только нашего поколения — поэт стал паяцем.

Не говорю, что произошло нечто неправильное и непредвиденное. Все искусства связаны с алтарём, все умирают без Бога, а Бога с каждым веком и с каждым часом становится в нашей жизни всё меньше, отрицать это бессмысленно. Говорю другое: после 1968 года на людей, любящих поэзию и другие искусства, катастрофа обрушилась как лавина и всех нас раздавила. Год 1968-й, рядом с культурой поставивший поп-культуру, — вершина в отрицании Бога в истории человечества. Он похоронил тысячи талантов и гениальностей, среди них — и Зою Эзрохи.

29.06.25



Всю мою жизнь я повторяю слова: регулировать, регулярно, регулирование, — и только сегодня меня осенило, что все эти слова в европейских языках — от имени Марка Атилия Регула, совершившего невероятное: не изменившего, слову данному врагам. Изменить он мог без труда. Вся логика, весь здравый смысл и самая польза отечества подска-

зывали: изменить!

Регул, взятый в плен консулом, был отправлен из Карфагена послом в Рим с предложениями по обмену пленными, которые, оповестив о них сограждан, Регул посоветовал римлянам отвергнуть. В Риме семья и сограждане умоляли бывшего консула остаться дома, а он — вернулся в Карфаген, ибо таково было данное врагам слово. Вернулся, прекрасно понимая, что обрекает себя на мучительную смерть.

Эта судьба, эта легенда — вот квинтэссенция римского величия. Другого такого Регула, другого такого Рима — не было под солнцем.

13.08.25



Антисемитизм возводят к первому веку новой эры, ведь так? Или я забыл что-то важное? До этого — иудеи были для всех и для себя народом среди народов. Но вот другая точка отсчёта: пунические войны. Рим покорил несчётное число стран, народов и племён, но лишь два города ему потребовалось стереть с лица земли: Карфаген (Кфар-Хадаш) и Иерусалим, оба семитские. В ненависти Рима к Карфагену чувствуется нечто иррациональное, идущее дальше пользы и здравого смысла. От Карфагена римляне не оставили ничего, кроме имени. Там несомненно были учёные и поэты, — и всё, ими сделанное, пропало. Разве так римляне поступили с греками? Вовсе нет, они, покорив греков, покорились греческой культуре. Иерусалим возродился по недосмотру римлян, а от великого Карфагена осталась только легенда. Выходит, что римляне были первыми антисемитами. Разве нет?

13.08.25



Назовём трёх самых славных людей в мировой истории. Можно ли сомневаться, что это Александр, Цезарь и Наполеон? Не Гомер, Данте и Шекспир. Не поэты, а полководцы. Как странно! Не вздор ли это? От поэтов остались непреходящие культурные ценности, от вождей — только легенды о них. Что мы ценим в человеке?

Но вот и мыслители говорят нам то же: полководец выше поэта. Ля-

Рошфукой произносит это без объяснений — как нечто само собою разумеющееся. Гвиччардини объясняет: нет миссии, требующей от человека большей совокупности талантов, чем миссия полководца. Тут и пророческая прозорливость, способность угадывать и предчувствовать действия противника, и ответственность за судьбы людей и страны и — в этом же ряду — умение ежеминутно решать тысячи мелких бытовых практических вопросов. Кем нужно быть, чтобы управлять армией? Гением. Даром что эта гениальность встречается так редко...

12.09.25



Спасибо Вам, Л., на добром слове. Вот уж я не думал, что вы — моя читательница.

Что до стихотворения Ахматовой «Сердце бьётся ровно, мерно...», которое, по Вашим словам, многие считают лучшим у неё, то в нём замечательны последние пять стихов:

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера, —
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра... ,

притом не столько смыслом («Ты свободен, я свободна»; слово *свобода* всегда сообщает стихам воздух), сколько звукописью. Поэт изображает звуком не в меньшей мере, чем смыслом. Вслушайтесь, как взаимодействуют звуки в «Над Невою темноводной» (д-н-в, затем в-д-н, и эти четыре минорные О — тут прямо баховский орган звучит!); и в стихе «Императора Петра» (п-р-т, затем п-т-р, да плюс три *ра*, ударное, безударное и опять ударное, — не сарабанда ли это?). Несколько слабее по звуку стих «Под улыбкою холодной», но и здесь — симфония, достигаемая взаимодействием двух Л в середине и двух *од* в начале и конце. Не забудем: ода ведь — песня.

Эти пять стихов — сами по себе замечательное стихотворение, более значительное, чем всё стихотворение в целом и семантически почти не связанное с предшествующими шестнадцатью стихами (где ещё не со-

всем ясно, что любовь лирической героини — в прошлом). Вся связь тут, притом слабая, — Галерная улица, которая аркой смотрит на статую Петра. (В моё время Галерная называлась Красной, и там была одна из моих котельных.)

Но даже прекрасная концовка не делает это стихотворение шедевром, поскольку ослаблена другими стихами. Попросто плох первый стих, где бросаются в глаза две недопустимые ошибки. Во-первых, слова «ровно, мерно» сливаются, превращаясь в «равномерно», а это слово в лирических стихах не годится, оно — механический термин. Во-вторых и в главных, немедленно всплывает стих «Пустое сердце бьётся ровно», и хоть сердце разлюбившей женщины и пусто, но это совсем не та пустота, какую Лермонтов усматривает в сердце Дантеса. Рифма *веки/навек* кажется приторной даже мне, признающему только точные рифмы. Веер — намеренная предметная нарочитость, за которую Ахматову при первых её опытах похвалили (уж очень высокопарны и беспредметны были её предшественники символисты), и она начала ею злоупотреблять. К чему тут веер? Припоминаю, как были высмеяны её знаменитые стихи «Я на правую руку надела / Перчатку с левой руки»: какой-то блокадник написал «Я на правую руку надела / Валенки с левой ноги». Отмечу композиционную ошибку: в классическом строфическом стихотворении, построенном на катренах, строфа в пять строк всегда кажется слабостью, вызванной нехваткой мастерства. Словом, при откровенно плохом первом стихе следующие пятнадцать — ничем особенным не замечательны, вот и выходит, что в целом это стихотворение — что называется, хорошее, но никак не более того.

21.09.25



...Вы, ей-богу, смешите меня! Неужто вы думаете, что я хоть на крохотную секунду пекусь о моём месте в «Великой Русской Литературе»?!» Вот уж чего нет и в помине! Она мне — чужая, вот что на поверку вышло. Да вряд ли и великая, при всех её львах Толстых и тиграх Достоевских. Что такое русская литература рядом с французской, английской, германской? Смешно и спрашивать!

Что до меня-любимого, то нет у меня и мысли о пресловутом «прови-

денциальном читателе», особенно русском. Это всё проехало, это — история. Не нужно мне этой сомнительной чести. А что до стихов, которые из меня сыплются, как горох, то я за это не отвечаю, это физиология. Нормальный человек самовыражается обыденной речью и прозой, мне естественнее понимать себя (и Бога, в которого я не верю) через ритмы и рифмы — только и всего. Такие люди и до меня случались. Я — в хорошей компании.

29.09.25



Пишу ей: «Что с Вами происходит? Ваше поэтическое дарование несомненно, Ваши стихи замечательны, — зачем же начинаете строку со строчной буквы вместо прописной?» — В ответ получаю что-то невразумительное: «Нельзя быть старомодным, я — современный поэт, так теперь принято, иначе никто не пишет...»

Что ж, по русской пословице: гляди на слепого — коли себе глаз. Не продолжаю с нею разговора. Вижу, что не поймёт. Угодничает перед чернью, как «все». «Никто» — для неё авторитет. Держит нос по ветру.

Но тебе, раз уж ты про неё спрашиваешь, скажу: этот, казалось бы, пустячок — строчная вместо прописной — лакмусовая бумажка, обозначающая упадок искусства, измену поэзии. *Нет и никогда не было современного искусства.* Современность в эстетике — жупел, языческий фетиш. Во времена высокого искусства художник служил триединому началу истинны, добра и красоты, ему и на ум не шла современность, уж не говорю новаторство. Есть и всегда было — искусство и фиглярство, профанация. Эти теперешние «все» спиной повернулись к Данте, Шекспиру, Пушкину, — и открыли объятия дыр-бул-щылу. Что ж, пусть потешатся! Скатертью дорога!

8.10.25

ПРОЕКТ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОВАЛОМ

Говорят о Петре Первом — и забывают главное: он был христианином. Забывают — и не понимают главного в его подвиге: Московию (под

новым именем России) он вернул в семью европейских *христианских* народов.

Московия допетровская ни к какой семье народов не принадлежала, её стержнем был изоляционизм, а тут — она встала рядом с Голландией, хоть, разумеется, и не дотянулась до неё. Веротерпимость, неслыханная в Московии, была главным звеном в политике Петра. Пётр не окно в Европу прорубил, а ворота туда распахнул и сказал: милости просим! На основе тех, кого он привёз и пригласил, возник русский народ. Чтобы увидеть это со всею наглядностью, достаточно вспомнить, что два самых знаменитых русских поэта — прямые потомки известных по имени иностранцев. (Да-да, Лермонтов — потомок допетровского иностранца, но петровская политика отдельными слабыми всплесками начиналась до Петра.)

Уже в XIX веке русский народ, созданный Петром, в культурном отношении поднялся из ничего и встал в один ряд с большими европейскими народами. Не перечисляю великих русских с европейскими корнями. Нельзя не видеть, что их много. Напомню только, что *фамилии* Чайковский и Менделеев не русского происхождения, при всей несомненной русскости их носителей.

Этот XIX век был и остаётся первым и единственным великим веком России. Не идеальным, понятно; ох, далеко не идеальным. Одна из роковых ошибок этого века состояла в том, что русский народ провозгласил русским народом русское простонародье. В этой ошибке была благородная жертвенность. Вот как она виделась Толстому: вчера было стыдно выезжать иначе как четвёркой цугом, а нынче стыдно, что горничная за тобою ночной горшок выносит. Завершилась эта жертвенная ошибка дикими жестокостями гражданской войны, Лубянки и ГУЛАГа. Русское допетровское простонародье прослышало, что оно — народ, и расправилось с русским народом — убийствами расправилось и знаменитым философским пароходом 1922: отправило русский народ обратно в Европу.

Но — не до конца расправилось. На протяжении целых семидесяти лет в Совдепии ещё жили (под страхом расправы) русские люди, жива ещё была если не Россия, то мечта о России. Носителем этой мечты — русским народом Совдепии — была русская интеллигенция, пресловутая прослойка, одинаково ненавистная простонародью и власти. Москва возглашала: «партия и народ едины», и это была сущая правда: власть и про-

стонародье были едины в своей ненависти к остаткам русского народа, к русской интеллигенции (где опять, как при Петре, стали очень заметны инородцы, всегда выступающие ревностными хранителями усвоенной культуры).

К чему всё это? А вот к чему: Малюта Скуратов вернулся. Изоляционизм возобновился с небывалой силой. Нынешняя Московия — больше чем когда-либо «одна отдельно взятая».

А вот и причина: по правдоподобным сведениям, поступающим из этой Московии, можно заключить, что, при изрядном наличии интеллектуалов, интеллигенции там больше нет. То есть: с русским народом — покончено. Тем самым — покончено и с петровской Россией. На глазах нашего поколения петровский проект завершился полным и бесповоротным провалом. Подтвердились знаменитые слова Вейдле: «Россия не удалась!»

23.10.25

АНТИРАБИН, или МОЯ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ

Вижу во сне и наяву восемнадцатый дом по Большому проспекту Петроградской (Петербургской) стороны, громадное строение начала XX века, пять высоких этажей. Архитектура — модерн, ар-нуво... или как его там? Вся Петроградская сторона такая. Построено на совесть. Три раза изменилось имя города и имя страны, а дом стоит.

Есть в доме жилая часть. Парадная лестница — тут заплачешь. И я плакал. На пятом этаже, в многолюдной коммуналке, жила моя одноклассница, с которой я связывал выход в космос, в космические дали... Сохранилась прорва стихов.

Часть здания, что выходила на Большой проспект и Пионерскую улицу (да-да, на Пионерскую!), была коммерческой: там до прихода гегемона находилась школа. Она осталась школой и при гегемоне. Моя школа! У меня потом ещё две школы были, и каждая не без воспоминаний, но только первая — моя. Каждого одноклассника вижу семьдесят с хвостиком лет спустя, — не чудо ли? С учителями — труднее. Химию преподавала Вероника Аполлоновна. Да-да, именно так! Если ученик ошибался, она говорила ему: «Ты в здравом уме и памяти?» Английскому языку

учила Вера Стефановна, природная британка (отчего школа именовалась школой с углублённым изучением английского). Похоже, что из всех учеников Веры Стефановны английский пригодился только мне. Смутно вижу лица ещё трёх: учителя пения, учителя математики (Исаак Самуилович Гишинский) и учительницы биологии.

По слухам за десять лет до меня в моей школе учился и окончил её (естественно, с золотой медалью) поэт Александр Кушнер. Слухи эти ставлю под сомнение: не английский, а французский язык Кушнер вынес из школы. При мне двумя классами старше учился в моей школе (естественно, без отличий) другой поэт, Виктор Кривулин, но окончил он, сколько я знаю, 66-ю школу. Не совсем кстати всплывают в памяти стихи москвича Владимира Соколова: «В сто семидесятой средней школе, говорят, учился Павел Коган. Там меня учитель тоже школил... Павел, я взволнован и растроган!»

Когда всяческие теперешние автоматические вопросники в нормальной стране (я доживаю в нормальной стране) пристают ко мне, предлагая в качестве памятного слова назвать имя моей первой школы, я с непонятным душевным подъёмом пишу: 52. Вот её имя! Только номер, но, боже правый, сколько переживаний!

Потом, много после меня, школьная часть здания пошла под другие нужды, а школа с памятным именем переехала в глушь, обнаружилась где-то в Новой деревне: советское здание, дощатые полы... а в моей-то школе полы были паркетные, самого добротного добольшевистского паркета, натёртые до блеска!

И вот ещё удивительнейшая добольшевистская особенность: директор школы входил в школу не как все, не с парадного подъезда (очень парадного! ох, как хороша была лестница!), а — вообразите на секунду! — прямо из своей квартиры на третьем этаже: дверь из квартиры директора — вела в школу! Мне в этом чудилась какая-то непристойность...

Звали директора Иван Яковлевич. Лица не помню, вижу только лысину.

В самом начале 1950-х годов появились первые советские телевизоры... — нужно ли их описывать? помню КВН-49, это было нечто: экран величиной в ладонь!.. — и в связи с этим явлением Иван Яковлевич внёс своё имя (увы, без фамилии!) в историю русской культуры, сказав на родительском собрании в школе:

— Телевизор — это антирабин! — В том смысле, что дети не уроки готовят, не работают, а телевизор смотрят.

Каков термин! Сам-то вальяжный Иван Яковлевич не был ли, случаем, антирабином? Или рабином?

2.11.25

ЗАКЛЯТИЕ СБЫЛОСЬ

Меня спрашиваю: когда родной город стал для меня чужим? Отвечаю: было несколько приступов отчуждения, один из них — когда Бармалеева улица стала улицей Бармалеева. Теперешние и разницы не чувствуют, не то что истории не знают. Теперешние утратили живую связь с русским языком русских людей.

Конструкция *Бармалеева улица* означает по-русски: улица Бармалея. Она так названа в честь Бармалея, шотландца Бармли, чей дом находился за городом, на Петербургской стороне (сторона означала предместье, пригород, выселки). Бармалей Корнея Чуковского возник из правильного названия улицы. Конструкция *улица Бармалеева* ничего не означает: никакого Бармалеева никогда не существовало; название это абсурдное, бессмысленное.

Названий типа Бармалеевой улицы в Петербурге было несколько. Некоторые удержались: Тучков мост, Аничков мост. На Аничков мост были посягательства. Безграмотный Гоголь, человек со вздорными амбициями, но без родного языка и культуры, не понимавший ни Петербурга, ни России, называет мост Аничкиным, и эта глупость, литературоведами возведённая в художественный приём, была подхвачена недоумками и едва не стала нормой, против неё пришлось бороться до первого десятилетия двадцатого века.

Петербург был построен другим народом для другого народа, не теперешними для теперешних. Теперешние сделали город безобразным, уродливым. *Петербургу быть пусту* — это пророчество сбылось во многих смыслах, которые излишне перечислять, но все они укладываются в один: в Петербурге нет больше русского народа.

(Кажется, правильное имя Бармалеевой улице вернули, но это мало что меняет: ведь неправильное было, было! Красовалось всем на потеху.)

8.11.25



Все знают команду *смирно!* и фамилию *Смирнов*. Спросим: что чему предшествовало? Обыватель (а с ним, вероятно, и филолог) убеждён, что *Смирнов* — от *смирно!* — недаром ведь и фамилия Смирнов — самая распространённая, опережает фамилию Иванов на полноздри и, по общему мнению, отражает тот факт, что русские, как бы это сказать по деликатнее, не склонны противоречить приказам.

А я подозреваю обратное. Добрая половина всех русских фамилий — греческого происхождения, взять хоть совсем казалось бы русских Андреевых (фамилий еврейского происхождения много меньше; тут лидирует фамилия Иванов). Вглядываемся в русские летописи и в знаменитый палимпсест, в *Слово о полку Игореве*, — и нигде слова *смирно* или этого корня на встречаем.

Отсюда мой вывод. Я подозреваю, что фамилия Смирнов — от греческого города Смирна, древнего и поистине великого города, вполне утраченного греками только в 1918 году, в ходе катастрофической их кампании по возвращению исконно греческой (как полагают в Афинах) Малой Азии, когда греки до Анкары дошли, но оттуда были отброшены младотурками — да так далеко отброшены, что удержали только острова, Смирну же, многомиллионный, древний, покрытый славой порт в Малой Азии, — утратили. Не обсуждаю этой кампании. Осуждаю греческое правительство, в истерике расстрелявшее проигравших кампанию генералов. Я тут только о русской фамилии говорю. Я почти убеждён: она — греческая. Только и всего. А кто сомневается, тому повторю известное: «Вольно, смирно и кругом!»

11.11.25

2026



Добрые люди пристают ко мне: тут твоя *ars poetica* несовершенна, там ты сам себе противоречишь. Этим добрым людям говорю: совершенство недостижимо, противоречий — не избежать. Никто из великих не избежал, и притом даже в точных науках, — куда уж мне? В ответ на все возражения добрых людей в сотый раз повторяю мои три главных прин-

ципа по части стихов.

(1) Рифма должна быть точной, безупречной, звонче пушкинской, и — предсказуемой (иначе она не рифма). Ассонансная рифма — предательство поэзии.

(2) Начальная буква стиха должна быть прописной, не строчной, — иначе ты поворачиваешься спиной к Данте, Шекспиру, Мицкевичу, Пушкину, и открываешь объятия дыр-бул-щылу. Это ещё одно предательство поэзии.

(3) Смысл произносимых тобою слов должен быть по-пушкински отчётлив и, иногда, множествен, ему позволяется слоиться, как у символистов, — только это и добавил к пушкинскому стиху двадцатый век. Всё прочее — «новаторство», авангардизм, — угодничество перед чернью, предательство поэзии.

Эти и прочие частности укладываются в единый тройственный принцип: поэт должен служить истине, добру и красоте — без оглядки на современность. Оглядка на современность, на моду — предательство поэзии.

4.01.26



Добрые люди опять тут, с новым возражением. Истинная поэзия, говорят они мне, жива парадоксом, оксимороном (дословно: острой глупостью), и ассонансная рифма как раз усиливает оксиморон, усиливает парадоксальность стихов.

С первым невозможно не согласиться: оксиморон — душа поэзии. Именно поэтому стихотворения повествовательные, сообщительные менее поэтичны, чем отвлечённые, иносказательные. Берём пушкинскую *Полтаву*; при всём блеске исполнения — она оставляет голодным любителя поэзии; отрицать это бессмысленно. Наоборот, берём *Соловьиный сад* Блока: при всей дикости сюжета (где и прямая низость есть), при невыдающемся исполнении — это истинная поэзия, притом именно в силу дикости сюжета, его парадоксальности. Берём любовную лирику. Она вся — сплошной оксиморон. Бессмысленно отрицать, что всякое существо, от букашки до человека, больше всего любит себя, таково уж задание при-

роды или, если хотите, Бога. Что такое половое влечение? Любовь к себе, взведённая в куб, в энную степень, то есть — готовый оксиморон.

Зато второе утверждение добрых людей верно *с точностью до наоборот*; это у них — истина, вывернутая наизнанку. В самом деле, нельзя ведь отрицать, что рифма сама по себе — тоже готовенький оксиморон в чистом виде, без всякой примеси. В быту, не слыша себя, мы очень часто невольно говорим ямбами и хорями, — но практически никогда случайно не говорим в рифму. А если так, то рифма ассонансная, скомканная, не увеличивает, а уменьшает присутствие оксиморона, снижает парадоксальность и высоту поэтической речи. Попробуйте возразить на это. Тут моя логика безупречна, комар носу не подточит.

Осталось добавить, что некоторым добрым людям не нравится слово *оксиморон*; они предпочитают писать и произносить: *оксюморон*. По мне такое написание и произношение — латинская ересь. В русской культуре издавна утвердилась не эразмова, а ройхлинова интерпретация звуков греческого языка. Мы говорим: Европа (не Эвропа), Евгений (не Эвгений), Еврипид (не Эврипид), фея (не тэа), Фукидид (не Тукидид), Византия (не Бизантиум). Оксиморон — в этом же ряду. В самом названии греческой буквы слышится И, не Ю: ита. Разумеется, в дифтонгах она преобразуется, и тут простор воображению, ведь никто и никогда не слышал не то что древнегреческого языка, а даже языка Византии... Разумеется и другое: вполне последовательным в своём ройхлиновом произношении русский язык не остался, отклонений от нормы — сколько угодно, иначе бы мы говорили не теорема, а феорема, не лабиринт, а лавиринф (Кюхельбекер, между прочим, так и писал, а ведь он, это бессмысленно отрицать, был образованнее Пушкина). Тут обратного хода нет, тут деваться некуда; нам не переучиться. Но там, где на нынешний день допустимы две формы, две нормы, лучше всё-таки держаться той, которая ближе к норме русского произношения: к ройхлинову произношению.

6.01.26



Статья Валерия Шубинского о невольных всплесках антисемитизма у Блока замечательна, вывод — безупречен. Формула «Никто не совершенен» совершенна. Блок был «великим поэтом» и «благородным чело-

веком», это немыслимо оспорить. Но очень, очень о многом тут следует задуматься. В 1970-е годы многие полагали, что Блок сам — из евреев; к этому подталкивало то, что фамилия Блок не редкость у евреев (но мы знаем, что фамилия сама по себе ни о чём не говорит), и что антисемитизм — не редкость среди евреев, а в ещё большей мере то, что в Варшавском университете, об это сохранились письменные свидетельства, отца поэта считали выходцем из евреев.

Не знаю, что об этом думать. Расистский подход не кажется мне тут существенным. Вместо этого я о стихах скажу. Поэта более ошеломляющего, чем Блок, не было в России после Пушкина и по сей день. Дивные были таланты: Пастернак, Мандельштам, Ахматова и ещё многие. Но не то что они, а и сам Пушкин перед Блоком бледнеет по части своеобразия... и это — при том, что стихи Пушкина блистательны, безупречны, а стихи Блока — больше, чем на половину, — посредственны. Так я это вижу и чувствую: Блок — второй по значению и величию русский поэт, а при этом как стихотворец он возвышается над посредственностью только в нескольких блистательных протуберанцах. Чудо совершенно необъяснимое, а по мне — несомненное. Выходит, дело не в мастерстве (Бенедикт Лившиц был куда мастеровитее Блока), а в благодати небесной.

6.01.26



Люди просят ко мне в ФБ-друзья. Старый хрыч, я принимаю каждого пятого. Заочные друзья мне, в сущности, не нужны. Из тех, кого принимаю, отгружаю тех, кто не откликается на мои опусы. Привечаю согласных, уважаю серьёзных критиков, гоню — равнодушных. Правильно ли это? Я ведь сам ни к кому не хожу, никого не читаю, не привечаю, хоть и ценю многих. В моё оправдание скажу: я состарился, я устал. Раньше-то я ведь был отзывчив, каждому встречному открывал душу и объятия, кому ни поподя на грудь кидался. Но я состарился. Чувствую я себя покамест, как юноша... но это всегда — иллюзия; жареный петух в мои годы — за плечами. К чему всё это? Я знал, да забыл. К тому, что жизнь бывает прекрасна даже в убогой старости; что умирать — не хочется, и — что я не сыт дружбой...

8.01.26



Родом я — куда деваться — гой (получился стих, пятистопный лермонтовский хорей, но, ей-богу, я не хотел). Не сподобился. Не скрываю. Родиться евреем не довелось. И, Бог мне свидетель, я — умеренный не расист. В человеке ценю человека, не его происхождение. Расист я по одному пункту: в газовые камеры, а их уже готовят, пойду с евреями. Умирать — так с близкими. Так я теперь мыслю. А было другое. Повторю сказанное не раз: в детстве и в юности я был воинствующим гоем, так уж меня воспитали, я был русским, я с кулаками кидался на тех, кто называл меня евреем. (Теперь я с кулаками кинусь на того, кто назовёт меня русским.)

Я вот о чём: есть, тут деваться некуда, нечто таинственное в еврействе. Евреи — другие; это нужно признать. Это признают и юдофобы, и юдофилы. Но всё это — преамбула. Хотел я сказать только об одной семье, которая у меня перед глазами. Очень пожилая пара... то есть уже не пара: он умер, она — ещё тут. Оба, что называется, добрые люди, буквально добрые, отзывчивые, участливые, гостеприимные, кидающиеся помочь, кому плохо, безотносительно к его расе, — но не более того. Обычные люди. А вот их дети, сын и дочь, — люди незаурядные, семи пядей во лбу. Не живописую их достижения, это долгий разговор. Оба, он и она, оказались в свободном мире ещё детьми и без местного языка, — и в своих достижениях превзошли всех окружающих, оказались необычайно одарёнными, прямо-таки небожителями. Смотрю на их доблести без малейшей зависти, только с восхищением. И говорю себе: невозможно отрицать, что евреи несут в своих генах некое послание, космическое сообщение, им самим, по всем признакам, неведомое, но при объективном взгляде на историю — несомненное. Евреи — другие. Понятно, что и японцы — другие, но всё-таки между теми и другими другими имеется неустранимое различие. Можно ли на это возразить?

11.01.26



...Ты спрашиваешь, что я думаю о поэтессе NN. Мне совершенно ясно, что дарование её — подлинное, несомненное, но вместе с тем и расхожее, заурядное, дюжинное. Перед её стихами красуется скрипичный ключ

1960-х — как если бы с тех пор ничего в мире не произошло. Это касается и наполнения, и исполнения.

Произошло же в мире вот что: будучи модой, все элементы авангардизма в искусстве безнадежно устарели — совершенно так же, как в политике устарели все элементы революционности. В революционную эпоху начала XX века все словно помешались; все жаждали перемен во что бы то ни стало, с любыми жертвами (вспомним хоть Тынянова, уж на что был умный человек, а и он жертвует прекрасным ради новизны). Ну, и получили. В политике получили — ГУЛАГ и газовые камеры, в искусстве — ничтожество вместо величия.

С тех пор мир изменился. Идея нового мира — устарела, она безоговорочно скомпрометирована. Люди по настоящему даровитые вспомнили, что традиция в искусстве умнее самого умного из художников и что пресловутое новаторство, являясь погоней за модой и угодничеством перед чернью, унижает высокое искусство. Изобретательству место на заводе и в лаборатории, не в искусстве.

У поэтессы NN вижу три безнадежно вчерашних авангардистских элемента:

(1) Приблизительная (остаточная, усечённая) рифма, ассонанс вместо рифмы. Эта шалость идёт от символистов второго поколения. С неё начался современный упадок русской поэзии. Поэты начала XX века ею словно бы сказали читателю: мы можем рифмовать точно, да не хотим, потому что это все могут, а мы — мастера; оставляем точную рифму «мальчикам в забаву». Причина всё та же: давно скомпрометированная революционность да пошлостное изобретательство.

(2) Разбиение стихотворной строки на доли без всякой на то художественной нужды. В эпоху футуристов это имело прямой коммерческий смысл; за стихи платили, притом построчно, но за стихи давно уже стихотворцам не платят, наоборот, стихотворцы сами вынуждены платить за издание своих книг. Разбиение строки на доли придаёт стихам ложную многозначительность, фальшивое глубокомыслие; в художественном отношении оно — надувательство и дешёвка; «поэты мутят свою воду, чтобы она казалась глубже» (Ницше). Поэтесса NN не стесняется оставить в стихотворной строке один только союз *и* или одно только наречие *где*, что по мне — вызывающая пошлость и глупость.

(3) Начальная строчная идёт у неё вместо начальной прописной. Ещё

один пример ширпотреба, приспособленчества, угодничества перед толпой. Это уродство пошло от футуристов. Природа его та же: «отречёмся от старого мира». Авторы, начинающие стихотворную строку со строчной, поворачиваются спиной к Данте, Шекспиру, Гёте, Пушкину — и бросаются в ноги всяческим Бурлюкам, Кручёным, Маяковским и Хлебниковым, чьей идеей был эпатаж, а не искусство. Приспособленцы думают, что мы теперешние, с нашими переносными телефонами и интернетом, умнее тех, кто ходил под парусом и летал на бипланах. Эта их подспудная невысказанная мысль — прямая и стопроцентная глупость. Мы не умнее наших предшественников. Прогресс в науке и технике — результат неустранимого накопления опыта (Ньютон «стоял на плечах гигантов»), но в искусстве нет ничего подобного, нет глобального прогресса, нет неуклонного поступательного движения. Искусство не бывает современным. Можно то же самое иначе сказать: подлинное искусство всегда современно и никогда не устаревает, несовременна же только устаревшая мода, вроде Маяковского и Хлебникова, которых почитали гениями, но которые на поверку оказались посредственностями и решительно никому больше не нужны. Вийон («Скажи, где прошлогодний снег?»), весь пребывающий внутри традиции в своём пятнадцатом веке, нам несравненно ближе Маяковского, выскочившего с его убогими рифмами из традиции ради моды..

Подвожу итог. Стихи NN бедны звуком, что видно из её системы рифмовки, но не только из неё: ещё и ритм её стихов беден, невыразителен. NN не понимает, что звуковая организация стиха по своей собственно поэтической ценности стоит не ниже смысловой насыщенности и уж точно выше нарративной, повествовательной сообщительности стихов. Чтобы понять, как важно в поэзии звучание, как оно обогащает смысл, вслушаемся в мои любимые примеры; беру из Энеиды: *timeo Danaos et dona ferentes*, из Державина — «Глагол времён! Металла звон!» (можно ли сомневаться, что там и там — колокол?); беру из Бодлера: *O fangeuse grandeur! Sublime ignominie* (здесь я слышу Шопена, который «прокладывает выход / Из вероятья в правоту»); беру из Пушкина «Унылая пора! Очей очарованье!» (тут — скрипка Вивальди; заметь, что в эпоху Пушкина все четыре опорные О этого стиха были полнозвучными, не как нынче, когда первые три О мы произносим ближе к А, чем к О); не обойдём и Ахматову, хоть она на ступеньку ниже: «Над Невою темноводной» (здесь,

по-моему, звучит церковный орган; сообщение в этом стихе — нулевое, а поэзия великолепная).

Понятно, перед нами — классики, до них не дотянуться, но тянуться к ним стихотворец должен, а у NN не то что попыток этого не видно, а даже понимания того, что звукопись — главнейший элемент поэзии. Замечу ещё, что NN многословна именно потому, что не умеет нагрузить своё слово выразительным звуком; нехватку качества пытается возместить переизбытком количества. И архитектура стихов NN, как уже сказано плоха (разбиение строки и начальная прописная).

Это — об исполнении. Наполнение стихов NN тоже бедно, не универсально, не перед Богом совершается, а привязано к моде 1960-х, непременно требовавшей дидактики, ведь советский лирический поэт был учителем жизни, метил во «властители дум», о чём прямо возглашалось: «Я поэт, и мне — видней» (Лев Мочалов); советский поэт звал к исправлению недостатков «нашей» жизни (что прилично разве что сатирику); и — он смотрел на читателя свысока, что тоже — вчерашний день. «Властители дум» остались в девятнадцатом веке.

Перечисленные черты стихов талантливой NN и делают эти стихи расхожими, незначительными, заурядными. Даровитых сочинителей этого уровня очень много, они встречаются на каждом шагу. В одном только русском Бостоне — полсотни стихотворцев, не менее мастеровитых, но есть там и настоящие поэты, среди них первой назову Катю Капович. В Москве и в безымянном городе над Невой авторы масштаба NN исчисляются сотнями.

15.01.26



Мне возражают по поводу одного «пустячка; мне говорят: 99% стихотворцев последних десятилетий начинают стихотворную строку со строчной, а не с прописной буквы; великий Бродский был в их числе. На это отвечу, что есть вопросы, которые издавна решаются меньшинством, а не большинством современников. В вопросах мысли большинство всегда отстаёт. Нужны ли примеры? Вся история культуры ими насыщена. А в связи с Бродским скажу, что величие в эстетике — вопрос признания, то есть договорённости, вопрос, который решается как раз большинством, но не

большинством современников; тут есть карантинный срок. Пока что несомненно, что Бродский — замечательный поэт. По мне он один из лучших поэтов эпохи Бродского (что он — эпоним, тут вряд ли можно сомневаться). Но пусть Бродский велик, пусть все поверили, что он велик; разве великие не ошибаются и во всём правы? Разве с ними запрещено спорить?

О Бродском, раз уж мне напомнили о нём, ещё вот что скажу: учился он мало, стихи начал писать поздно, а успеха добился рано, что тоже не способствовало продолжению образования. Разумеется, он не был полным недоучкой, как Маяковский, за всю жизнь не прочитавший ни одной книги; не был он и маленьким человеком, как тот же Маяковский, — наоборот, человеческая значительность Бродского несомненна; не пиши он вовсе, он и тогда казался бы большим человеком. Тем не менее имя Маяковского само собою всплывает в разговоре о Бродском. Родство между ними несомненно. На первый взгляд Бродский чуть ли не классичен: он строфичен, он декларативно ориентирован на акмеизм (хотя отказ от начальной прописной — измена акмеизму). Лишь пристальный взгляд отметит кровную близость Бродского с футуристами. В одном они с Маяковским — «близнецы-братья»: оба сочиняли за столом, перед листом бумаги, со «стилом» («огрызком карандаша») в руках. У Маяковского это видно из того, что крик подменяет у него песню (да и свидетельства сохранились, включая его собственное — в его непомерно глупой и невежественной статье *Как делать стихи*). У Бродского то же самое видно из того, что он растягивает синтаксическую фразу на три-четыре строфы. Не будь у Бродского подлинной лирики и мастерства, мы не считали бы его замечательным поэтом, но во второй половине своего пути он слишком часто высасывает стихи из пальца, взять хоть длиннющее стихотворение под названием *Посвящается стулу*. Человек пишет не от потребности сказать нечто себе и Богу, а из потребности поддержать на людях репутацию поэта. И у Маяковского, и у позднего Бродского стихи — бумажная, кабинетная работа, тогда как настоящий лирический поэт (тот же ранний Бродский) пишет с голоса, записывает неизвестно откуда идущий диктант. Ахматовой случалось прочесть с эстрады стихотворение, ею ещё до бумаги не донесённое. Разумеется, мы помним пушкинское «Минута — и стихи свободно потекут», это написано за столом перед чернильницей, но, во-первых, Пушкин был не только лирик, а во-вторых и в глав-

ных, он, что называется, на земляничную поляну вышел; русская поэзия делала свои первые шаги на европейской почве, атмосфера была другая, место поэта в обществе было другим.

Возвращаюсь к тому, с чего начал. Этот, казалось бы, пустячок — начальная прописная или начальная строчная — всего лишь графика, а ведь речь идёт о песне. (Текст, вовсе порвавший с песенным началом, — не стихи, отчего и большая часть написанного Маяковским — не стихи.) Можно, очень можно объявить этот признак пустячком. Во времена Гомера все буквы были одинаковые, как в иврите и в некоторых других древних языках, не было строчных и прописных.

Однако в наши дни этот пустячок — определитель культурной принадлежности, культурной ориентации, лакмусовая бумажка культуры вообще. Невозможно отрицать, что начальная строчная — футуристический эпатаж, навеянный глупейшей мыслью о том, что мы умнее наших предшественников, что поэт будто бы должен быть современен (и чуть ли не «служить народу») и будто бы в искусстве есть поступательное движение вперёд, от низшего к высшему. Как раз наоборот, в искусстве на протяжении столетий наблюдается глобальный регресс, а не прогресс. Объясняет-ся он тем, что душевная и духовная жизнь наших предков, не знавших гачного ключа, была интенсивнее и выше нашей. Можно ли возвести здание прекраснее Парфенона? Можно ли превзойти в живописи Рафаэля или Пуссена? Уж не Малевич ли превзошёл Леонардо своими цветными квадратами? Графическое изображение развития любого искусства — неправильная синусоида с убывающей (затухающей) амплитудой.

17.01.26



...Помилуйте, что за вопрос! Вы удивляетесь тому, что мои теперешние стихи хуже прежних, давнишних? Первым делом жму вам руку: наблюдение ваше — верное, а вторым делом удивляюсь вашему удивлению. Неужто вы не слыхали, что всё лучшее, всё значительное, уж не говорю великое, люди совершают в том возрасте, когда они, что называется, биологически целесообразны? В молодости совершают, хотя, понятно, она у каждого разной протяжённости. Ну, а я давно вышел из творческого возраста: вот и ответ на ваше удивление. Естественно, стихи мои теперь не

те. Убавилось сил, убавилось песни. Прибавилось желчи. Пушкин, помнится, говорил, что драмы человек может писать хоть до семидесяти лет (что писатели и старше бывают, ему и в голову не шло), а стихи — только до тридцати пяти.

Но, понятно, эта моя правда — частичная. Если говорить о литературе, то известны по крайней мере два бросающихся в глаза исключения из провозглашенного мною очевидного правила: Сервантес и Пастернак. Они написали всё лучшее, когда уже не были биологически целесообразны. Ни одно правило не абсолютно, если речь о людях. (Между прочим, у раннего, ещё не признанного Сервантеса я нашёл свидетельство, роднящее Испанию с Россией: любящий муж непременно бьёт свою жену.)

Остаётся пустяк: определить границу возраста биологической целесообразности. Она, как уже сказано, у каждого своя и не выражается числом прожитых лет, но всё-таки угадывается. Вот моё несколько парадоксальное соображение: человек биологически целесообразен до тех пор, пока ему *не хватает любви и денег*. Да-да, задумайтесь над этой формулой, она не с потолка взята. Я больше скажу: нехватка любви и нехватка денег не соседствуют в душе человека творческого как независимые движения, а связаны теснейшими узами, образуют неразлучную пару, пребывают прямо-таки в супружестве. Я вовсе не утверждаю, что любовь пересчитывается в деньги, покупается. Нет, тут сложнее; эта пара идёт рука об руку в душе человека самого бескорыстного и самого целомудренного. И как только эта пара уходит, наступает конец великим порывам...

Тут к слову вспомнить гениальную формулу Шиллера: «Любовь и голод правят миром» (беру её в установившемся русском переводе, не совсем точном, но очень выразительном; в оригинале там *Angelpunkt* стоит, а не *Macht*). Формула эта была незыблема до самой эпохи социализма и терроризма, когда уступила место другой: корысть и зависть правят миром. Но это — новейшая эпоха, она к делу не относится. Шиллер был прав на протяжении столетий (ещё до своего рождения). И он не сказал: любовь и богатство являются рычагами мира, хотя богатые всегда и всюду были у власти. У него, как и в моём утверждении, речь о жажде, о *нехватке* (голод у Шиллера не только желудочный, но и духовный, да и любовь не сводится к плотской)... И довольно об этом. Вы, не сомневаюсь, поймёте.

О себе же, раз уж вы обо мне спрашиваете, добавлю другое: я старше Фета (71), Пастернака (70) и Ахматовой (76), уж не говорю — Сервантеса (68). Я всё ещё слышу этот неведомо откуда идущий диктант, даже записываю продиктованное, прекрасно сознавая, что стихи больше никому не нужны. Это ли не чудо? Вот чему стоит удивляться, а не тому, что сочинения мои стали хуже. Пусть они плохи, совсем плохи, они — утешение, они иллюзия поприща, а по временам и счастье.

18.01.26

«СМЕРТЬЮ КАРАЕМЫЙ ГРЕХ»

Мне хочется прокомментировать одно стихотворение Георгия Адамовича, которого я люблю как поэта (он, разумеется, и критик был замечательный, но слово критик не выдерживает соседства со словом поэт). Вот это стихотворение:

Тридцатые годы, и тени в Версали,
И белая ночь, и Нева,
И слёзы о непережитой печали,
И об утешеньи слова,

Ну, что ж, — сочинять человеку не трудно,
Искусство покорно ему,
Но как это жалко, и как это скудно,
И как не нужно никому!

И я говорю: — не довольно ль об этом?
Что дальше — закрыто от всех,
Но знаю одно, — притвориться поэтом
Есть смертью караемый грех.

Поэт — не мечтатель. И тем безнадежней,
И горестней слов ищет он,
Чтоб хоть исказить свой торжественно-нежный
И незабываемый сон.

В первой строфе с радостью отмечаю, что Версаль у Адамовича —

женского рода. Во-вторых, и тоже с удовольствием, что слово непережитой — идёт как целое и с ударением на четвёртом слоге. Особенно же — что Адамович не признаёт отмены предложного падежа для существительных на *-ье*: пишет: *в утешеньи*, не хамское: *в утешенье* современных москвитов.

Второй катрен — скорее поучение, чем поэзия. Смысл его безупречен: каждый культурный человек способен написать неплохие стихи. Что это нетрудно, мало кто сознавал в дни Адамовича и сознаёт в наши дни. Куда труднее решать дифференциальные уравнения, даже и линейные. Тут ум требуется и навыки. Отмечаю как недостаток Адамовича неправильное ударение в слове *нужно*... но такое в стихах допустимо, хоть и не радует. Да и меняются они, эти ударения.

Третья строфа — ошеломляющая! «...притвориться поэтом / Есть смертью караемый грех.» Перед нами — одно из самых веских, самых сильных высказываний в русской поэзии. Пушкинские стихи *Поэт и чернь* на секунду бледнеют перед этим. И тут — пророчество: Адамович предвидит, что через полвека после него — полмиллиона русских читателей объявят себя поэтами.

Но разве судьба за притворство покарала смертью Пушкина, а не за его уродливую женитьбу? И разве Асеев («Я никогда не встречу сорок») не дожил до 74-х? Дивные, ошеломлявшие слова Адамовича обращены против ничтожеств его поколения, в первую очередь — против бурлюков и кручёныхов, имя же им легион, — вот где был чистый случай притворства. Во вторую очередь — против Маяковского и Хлебникова, у которых таланта было на грош, а притворства — бездна. Одним словом, тут у Адамовича — Голконда правды... но в собственно поэтическом (да и логическом) отношении эти дивные стихи несовершенны. Разве не все мы смертны? Без убогих имён Бурлюка (прожил 84 года) и Кручёных (прожил 82 года), которые ни на секунду не были поэтами, истории русской литературы не напишешь. По сей день находятся люди, причастные к литературе, ставящие эпатаж выше художественности. Но для тех, кто не спятил, эти имена — достойны презрения.

Притвориться поэтом — грех, постыдный грех, и точно: он карается, но — изнутри. Многие тысячи стихотворцев, выступающих публично и тем приобретающих читателей (у последней бездарности всегда есть читатели), сочиняют с младенчества до старости, но подспудно сознают

своё ничтожество, — таково проклятие музыки!

О последней строфе стихотворения Адамовича сказать нечего: она — проходная и ритмически неубедительная. Всё важное сказано им прежде, спасибо ему... Нет! Одно в ней всё-таки отмечу: безупречная рифма *безнадежней/нежный* — ещё одно свидетельство, показывающее вырождения теперешнего языка московитов. У них нормой стало *безнадёжный*, а не *безнадежный*.

18.01.26

ПРАВО НА ПРОТИВОРЕЧИЕ

Один добрый человек пишет мне: вот вы в своих стихах говорите, что незачем спешить с публикацией книг, и в пример приводите Коперника, который ничего при жизни не опубликовал. А сами-то — целых три книги стихов напечатали в одном только 2025 году! Не противоречите ли вы себе?

Помнится, я уже отводил однажды подобный упрёк. Там речь шла о противоречиях в моем тексте, здесь — о противоречии текста и жизни. Отвечу ещё раз. Исхожу из того, что жизнь — тот же текст. Ответ мой начну с примера. Казахский поэт и мыслитель Олжас Сулейменов напечатал в 1975 году книгу-исследование *Аз и я*, по мысли и значению (не по исполнению) одну из величайших книг советского периода. В ней есть глава *Право на ошибку*. Ошибок в великой книге Сулейменова немало, он сам это понимал, сознательно шёл на риск (всего ведь не проверишь), строил смелые предположения, — отсюда и эта его оговорка, но книга его от этого не перестаёт быть великой. (В детали, почему она великая, не вхожу; это другая тема.) Право на ошибку всегда и всюду было правом деятельного человека, но открытым текстом оно было провозглашено едва ли не впервые как раз именно в книге Сулейменова. Кланяюсь ему в ноги за это.

Почти то же и с противоречиями. Насколько я вижу, право на противоречие есть неотъемлемое право писателя, в первую же очередь поэта, тогда как мыслитель и математик этого права в принципе (теоретически) лишены, даром что решительно все без единого исключения всё-таки впадают в противоречия (и совершают ошибки). Таково уж свойство связного сообщительного *конечного* текста. Чтобы избежать противоречий,

текст должен быть бесконечным. В конечном — концы с концами до конца не сходятся, не сводятся.

Противоречие — более чем право, это привилегия поэта, это лирический приём, он стоит в одном ряду с оксимороном (пожалуй, и подпадает под определение оксиморона). Нынче, допустим, поэт от всего сердца проклиная себя, не кривя душой, называет себя дураком и бездарностью (разве Боратынский не сказал о себе: «мой дар убог и голос мой негромок?»), а завтра — говорит о своей гениальности (что при правильном прочтении означает: одержимости) и мастеровитости, — и таково уж свойство лирики, что оба эти высказывания — *правда*, в той мере правда, в какой они — правда художественная. С точки зрения лирики в них и противоречия нет, пусть они десять раз противоречивы с точки зрения логики. С точки зрения человеческой противоречие снимается тем, что сплошь и рядом один и тот же человек в одно и то же время может быть и гением, и дураком.

Добавлю, что в моих стихах, где упомянут Коперник, можно и другое прочесть: я ни на крохотную секунду не сравниваю себя с великим учёным. Я просто беру самый известный пример. И — уже в этом выборе содержится противоречие. Между учёным и сочинителем та несомненная разница, что второму необходимо требуется анонимный читатель, выхваченный из толпы, без такого читателя литература хиреет, плодovitость писателя прямо пропорциональна его успеху, — тогда как для первого важна только его референтная группа; его путеводная звезда — одна только истина, не успех перед публикой. Коперник оттого мог себе позволить ничего не публиковать, что его основные результаты и так были известны тем немногим, кто мог их в ту пору понять.

И ещё одно. Противоречие (в литературе) противоречию рознь. У Пушкина противоречия редки и поэтичны, взять хоть «содвинутые бокалы» и тут же — «да здравствует разум». У Гоголя они — в каждом абзаце, чуть ли не в каждой фразе; они угрюмы и тупы; их критическая масса перевешивает и убивает художественность, убивает доверие к тексту и к автору.

22.01.26



Вы, добрая душа, хватили через край, даже сразу через два края, посулив мне нобелевскую премию. Во-первых, почести — не для анахорета, чуждающегося общения. Во-вторых, нобелевская премия основательно скомпрометирована. Её присудили Генрику Сенкевичу — вместо Толстого. На неё четырежды (!) выдвигали вопиющую бездарность и оголтелого профанатора Геннадия Айги. На неё выдвигали (тоже не раз) позднего Виктора Соснору, исписавшегося и впавшего в маразм (ранний Соснора был настоящий поэт). Её получил Шолохов — за роман, который он украл у другого. Талантливый Бродский — да, попадание, случайное попадание, подсказанное политикой, да и то в девятку; Бродский — один из лучших поэтов эпохи Бродского. При упоминании премии, полученной Пастернаком, тотчас видишь одно: насколько он выше жалкого нобелевского комитета, ничего не смыслящего в художественности. Ни Блок, ни Мандельштам никогда на нобелевскую премию выдвинуты не были.

Английская нобелевская премия тоже навсегда обесславлена тем, что не досталась Грэму Грину, лучшему в мире прозаiku своего поколения.

Что до меня, то я и впрямь непрочь получить эту подмоченную премию единственно ради того, чтобы публично и с плевым её отвергнуть. Но я ведь с 1972 года называю себя консерватором и на деле являюсь консерватором, а нобелевскую премию по литературе может получить только отъявленный авангардист.

22.01.26



По сети гуляет гадкая фальшивка, отвратительная политспекуляция — под лозунгом: «Джеймса Кука не съели! Это наглая ложь!» Как известно, останки знаменитого капитана-исследователя были доставлены на английские корабли в виде голых костей и кусков мяса. Спросим: что могло это означать как не то, что тело было съедено? Где наглая ложь? Как ещё могли современники и потомки истолковать эти артефакты? Как людоедство, никак иначе. Обвинять их во лжи — наглая ложь. Чья? Заинтересованной стороны. На эту наглую ложь пошли нынешние гавайцы в тесном содружестве с политспекулянтами Запада. Гавайцам во что бы то ни стало хочется оправдать своих предков-людоедов, а спекулянтам из так на-

зываемой политкорректности (читай: политеспекуляции) хочется шума и дешёвой славы, основанной на лжи. Чего требуют эти мошенники? «Деколонизации истории»! Самоотверженный исследователь и мореплаватель был, оказывается, колонизатором! Идиотам в голову не идёт, что самую историю гавайцы получили из рук Кука, не говорю уж: цивилизацию. При колонизации наблюдались жестокости? Кто бы спорил! Нельзя приобретать, не теряя. За некоторые вещи платим некоторые деньги. Иногда — кровью платим. Таков ход истории. Если бы гавайцы колонизовали англичан, было бы в точности то же, если не хуже.

Теперь посмотрим, что эти мошенники придумали, чтобы оправдать своих предков-людоедов. Сосредоточимся на минуту на их поразительной версии: оказывается, Кука, только что ими публично и всенародно убитого, они почитали величайшим из людей — и устроили ему почётнейшие и торжественнейшие похороны... отделив его кости от его мяса и раздав очищенные (не обглоданные!) кости самым выдающимся людям племени — так сказать, на добрую память. Хороша выдумка, не так ли? А с мясом что сделали? Не почтили ли им желудки самых выдающихся людей племени? Вот уж были бы поистине почётнейшие похороны!

Фальшивка всегда сама себя разоблачает. Спросим: если погибшему устраивают почётные похороны, если покойника чтят, то отчего же не наказаны его убийцы? Но вот про это фальсификаторы напрочь забыли, ничего тут не сочинили — и этим сами себя уличили.

Ещё одна деталь поразительна своею глупостью и наглостью. При первом посещении Куком гавайцев — те (и это похоже на правду) встретили пришельцев гостеприимно, приняв их за богов; враждебны (и в это легко поверить) гавайцы стали при втором посещении англичан, увидев, что боги уязвимы и смертны. А наглая, прямо-таки вопиющая своею наглостью ложь этой фальшивки — в том, что их остров, изобилующий всеми благами земными, будто бы истощился и обнищал оттого, что месяц кормил сотню ненасытных англичан, — да так обнищал, что на острове начался голод. Уж ввали бы ввали, да не завирались бы до такой-то степени!

То, что находятся особи, требующие «деколонизации истории», — свидетельство сытости зажравшихся дикарей. Дикари зажрались на подачках, делать им совершенно нечего, они бесятся с жиру — оттого и объявили колонизаторами своих благодетелей. Договорились до того, что

не только Кук, но и Альберт Швейцер, — колонизатор! Но это — полдела. Дикари и есть дикари, сколько бы они ни прикрывали свою наготу докторскими дипломами. А вот то, что в цивилизованном мире находятся люди, готовые с ними всерьёз спорить и доказывать этим сытым бездельникам их неправоту — это нечто похуже: это свидетельство вырождения мировой цивилизации.

О подстрекателях, о будто бы цивилизованных идеологах политкорректности, подыгрывающих дикарям, и разговора нет; они — хуже дикарей. Политкорректность — последнее прибежище тех, кто неспособен ни к какому созидательному труду.

30.01.26



...Опять тот же вздор! Приходится спорить до хрипоты. Естественно, я не с москвитами спору, с ними я не общаюсь, но беда пошла от них — и помutilа разум людям достойным, живущим в местах достойных. Произносит человек фамилию Клёпиков (был такой праведник мира, спасавший евреев от нацистов и погибший в нацистском лагере), — и с пеной у рта доказывает мне: не Клёпиков, а Клэпиоков, ведь написано-то: Клепиков! Понятно, покойника не спросишь, как он свою фамилию произносил (тем более, что он был эмигрант и жил во Франции), но есть некоторые законы языка, некоторым людям понятные, а другим, наоборот, — непонятные, и я моё произношение фамилии праведника (и святого; западное православие — естественно не московское! — признало его святым) вывожу из этих законов. Да и примеры в уме держу; я встречал людей с такой фамилией, и все они произносили Ё, не Е.

Но пусть я тут неправ. Забудем на минуту этого героя и святого, погибшего за евреев. Возьмём случай несомненный. Возьмём еврея, не ставшего героем, оставшегося гением: основателя психоанализа. Вся Московия без единого исключения произносит его фамилию совершенно идиотическим образом: Фрэйд (пишут: Фрейд). Человек хоть сколько-нибудь культурный тут только ужаснуться может: нет такой фамилии и никогда не было! А беда всё та же: идиоты московиты, с подачи чиновных розенталей, договорились не употреблять в литературных сочинени-

ях буквы Ё — писать вместо неё Е. Ну, и получили. Понятно, слово Фрёйд плохо передаёт немецкий дифтонг, но слово Фрейд — вообще его игнорирует и поэтому в десять раз хуже. Написание Фройд было бы приемлемее, но даже это Москве не по уму.

И немец — ещё цветочки. Идиотическая московитская установка игнорировать Ё привела к тому, что (по моему опросу) 60% нынешних тамошних молодых произносят имя нечистого как чэрт, не как чорт. При этом чорт, может быть, несколько и очистился, зато те, кто поминает чэрта, наглядно стали нечистыми.

10.02.26



Занятно! Вторая по читаемости на моём сайте страница (после стихов текущего года, эмбриона моей очередной книги) — небольшая философическая статья о стихах 1991 года под названием *Амфибрахий и колпак колдуна*, которую я и в печать-то никогда не отдавал. Чем она людей привлекает? Бог весть! Но одно ясно: хорошо написанный текст живёт долго.

Десятилетиями на первых местах по читаемости у меня на сайте шли: статья о Бродском (*Несколько наблюдений*, 1987), статья о Владимире Лифшице (*Поэт в квадрате*, 1984), статья о Заболоцком (*Заболоцкий: жизнь и судьба*, 2003), да плюс что-то из автобиографических сочинений. Они и теперь стоят в списке высоко, читаются.

Чем хороша моя статья о Бродском? Тем, что в ней — впервые — обозначен третий путь. Писана она ещё до получения им Нобелевской премии, в ту пору, когда было две партии (литература делилась на партии): хулители и гонители Бродского (советская литература) и безоглядные обожатели Бродского (вторая, полуподпольная литература с её эмигрантским хвостом). Я впервые показал другое: Бродский — большой поэт, не лишённый недостатков, на которые не следует закрывать глаза; Бродский — в числе лучших поэтов эпохи Бродского, не более того. Статья написана мною добросовестно — и читается вот уже десятилетия.

Чем привлекает моя статья о Лифшице? Я вывел — чемпиона. Было несколько писателей, показавших кукиш советской власти не где-нибудь, а прямо в советской литературе. В этом смысле никто Владимира Лиф-

щица не превзошёл. В открытой советской печати он опубликовал уничтожительную, испепеляющую стихотворную картину советского режима... — и бездарная власть глазом не моргнула, ничего не поняв! Добавлю, что и поэт он замечательный. Ни в какую обойму он никогда не попадал, а вместе с тем я убеждён, что он — не хуже всенародного Есенина (уж не говорю: умнее и культурнее его), хотя в смысле славы, в смысле читательского доверия между ним и Есениным — пропасть. Ценят только фронтовые стихи Лифшица, и ценят как раз те, кто в стихах не смыслит.

Мою статью о Заболоцком затрудняюсь характеризовать в нескольких словах. Может быть, главное в ней — не пережитые им мытарства, а то, почему второго Заболоцкого, позднего, вопреки эстетствующей моде, я предпочитаю первому, раннему. Это серьёзный и непростой разговор.

Есть у меня ещё несколько литературно-критических статей, которые я сам высоко ценю. На первом месте могла бы стоять моя давняя статья (небольшая монография) о Ходасевиче (*Айдесская прохлада*, 1983), попавшая во все крупные библиотеки мира и до сих пор читаемая. Могла бы, да не стоит, потому что сам я с тех пор так изменился, что один из важных её мотивов — поднебесное достоинство русской литературы — ушёл для меня в песок. Теперешнее ничтожество русской литературы бросает тень на её славное прошлое. Однако ж важнейший мотив статьи — правда консервативной эстетики Ходасевича — устоял, не полиняв ни пёрышком. Эстетика Ходасевича десятилетиями была моею путеводной звездой, а перестала ею быть лишь потому, что у меня вообще не стало путеводной звезды (и я, нужно полагать, сбился с пути).

На втором же месте (теперь — на первом) — моя большая статья о Леониде Мартынове (*Он руки в Стиксе мыл*, 2020). Она — таки-да, о Мартынове, но и обо мне, и о Маяковском, которому досталось по сопатке, и о поэзии вообще: о том, что стоит, а чего не стоит ценить в стихах. Понятно, что при такой многоплановости настоящего признания она не получила. Не удивляюсь и не сетую.

Отмечу как важную мою статью о Д. Самойлове (*Поэт с эпитетом*, 2006), где, между прочим, показываю несостоятельность его *Книги о русской рифме*; мои статьи о Хлебникове, Боратынском, Высоцком (она вызвала русскую демонстрацию протеста в Нью-Йорке), Евтушенке, Гаспарове... и на этом список обрываю, но не оттого, что он короток, как раз наоборот: он слишком длинен. Написал я невероятно много, на пятна-

дцать томов хватит. Всюду в моих сочинениях моя *ars poetica* заявлена последовательно; всюду я говорю, в сущности, одну и ту же простую вещь: не стоит выпрыгивать из русла традиции, не стоит изобретать. Новаторство — вздор. Художник — одно, а заводской изобретатель и рационализатор — другое. Традиция умнее самого умного и самого талантливого писателя. Драгоценна естественность. Нужно оставаться собою. Новизна как таковая лишена эстетической ценности. Остальное у меня — частности... но и они написаны на совесть, не лишены остроты и по сей день заняты, даже — в моих сочинениях полувековой давности.

10.02.26



Вот-те на! Добрые люди говорят мне: мой сайт хорош по наполнению, да плох по исполнению. Его, мол, надо привести к норме, подгладумить!

Посылаю этих добрых людей подальше. Мой сайт, точно, любительский, от начала до конца сделанный мною, потому что и сам-то я — любитель: делаю, что люблю; служу тому, что люблю. Профессионалов к столу не приглашаю. Доживу без них...

У моего гениального друга был такой замечательный псевдоним: Кустарёв. Он писал прозу, замечательную прозу, быдлом не замеченную. Вот и я — из кустарей, чем дорожу, а пожалуй — и горжусь. «Возвышайся, бульварный поэт! / Тот счастливее, кто — не бульварен.»

10.02.26

РЕКА ВРЕМЁН

Начну с известного, чтобы отметить удивительное.

В кабинете Державина на стене висела историческая карта-диаграмма под названием *Река времён, или Эмблематическое изображение всемирной истории* (*Der Strom der Zeiten oder bildliche Darstellung der Weltgeschichte von den ältesten bis auf die neuesten Zeiten*). Река простиралась от сотворения мира до начала XIX века. Её образовывало множество притоков, символизировавших развитие стран и цивилизаций. На берегу реки стояла богиня Клио со стилем и папирусом. В центре изображения поме-

щался шар, символ истории и вселенной, с которого Река времён обрушилась в Никуда.

Сообщают, что это изображение создано немцем Иоганном де Майором по протографу другого немца, Ф. Штрауса, а русский вариант опубликовал в начале XIX века А. А. Варенцов. За несколько дней до смерти (6 июля 1816), а то и в самый день смерти, Державин, под впечатлением этой карты, начал сочинять свою знаменитую *Грифельную оду*, причём написал (грифелем на аспидной доске) лишь восемь начальных строк её, свои последние стихотворные строки. Они хорошо известны:

Река времён в своём стремлении
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.

Догадливые литературоведы немедленно объявили, что это — акростих, ведь первые буквы восьмистишья образуют нечто на первый взгляд осмысленное: РУИНА ЧТИ. Этот вздор не удосужусь всерьёз опровергать. Ничего подобного Державин в уме не держал, а если б держал, сумел бы произнести фразу не столь нелепую.

Теперь сопоставим эти стихи с первыми строками первого абзаца *Алексиады*, византийского сочинения Анны Комнины (многие склоняют имя писательницы на русский лад, но мне это кажется неправильным), написанного в двенадцатом веке по-гречески:

«Поток времени в своем неудержимом и вечном стремлении влечёт за собою все сущее. Он ввергает в пучину забвения как незначительные события, так и великие, достойные памяти; туманное, как говорится в трагедии [Софокл, *Аякс*, 647], он делает явным, а очевидное скрывает.»

Перекличка двух текстов кажется мне весьма наглядной, если не во все несомненной, и уж во навверное достойной упоминания (изображение дополняет перекличку: «вечности жерло» взято из карты), — однако ж

никто, насколько мне известно, этого упоминания доселе не сделал (разве что я где-то упомянул; наблюдение сделано мною давно; но если упомянул, то мимоходом).

Державин не знал по-гречески, по-немецки он знал, однако ж это тут не в помощь. *Алексиада* не была переведена на русский до второй половины двадцатого века — и даже на немецкий до конца XIX века. Продолжаю изумляться: почему изображение, оказавшее столь мощное воздействие на Державина, а через него — на русскую поэзию прошлого (достаточно вспомнить Мандельштама), так тесно перекликается с давним византийским сочинением?

P. S. Не успел я поделиться моей находкой с близкими, как услышал, что до меня эту переключку заметил не кто-нибудь, а Омри Ронен. Не проверяю этого сообщения. Снимаю шляпу перед профессионалом. Я ведь любитель, и в этом — моё алиби. Никто не усомнится, что моя находка — моя.

12.02.26



В статье *Как делать стихи* Маяковский пишет:

«Есть нравящийся мне размер какой-то американской песенки, ещё требующей изменения и русифицирования:

Хат Хардет Хена
Ди вемп оф совена
Ди вемп оф совена
Джи-эй.»

Что на самом деле услышал Маяковский в Америке в 1925 году? Он не совсем точно, хоть и с американским акцентом, передаёт четыре стиха из американского шлягера 1924 года *Hard-Hearted Hannah* (автор музыки Milton Ager, авторы слов — их целых три! — Jack Yellen, Charles Bates, Robert Bigelow). Перекладываю эти строки с русского на американский:

Hard-Hearted Hannah,
The Vamp of Savannah,
The Vamp of Savannah,
GA

То есть примерно такое:

Ах, сердца нет у Ханы,
Вампирши из Саванны,
Волчицы из Саванны,
Штат Джорджия.

Маяковский не говорил ни на одном иностранном языке. Несколько слов по-грузински, несколько английских и французских слов (их, слава богу, русскому человеку выучить нехитро), да ещё несколько слов из идиша (Маяковского в Америке опекали русские эмигранты-евреи), которые сам он считал английскими, — всё для показухи в стихах, — вот весь его лингвистический багаж.

Смысла услышанного четверостишья Маяковский не понимал, чему свидетельство — прописные буквы там, где нужны строчные, и строчные — вместо прописных, да и его собственные слова: «требуется русифицирования» (читай: перевода; какого «изменения» требует эта «песенка», не знает ни один литературовед).

Видим, что английский определённый артикль *the* Маяковский передаёт как *ди* (это, пожалуй, не хуже, чем теперешне убогое *зэ*); английский звук *а* — как *э(е)*: Хена (вместо Хана), вемп (вместо вамп), совена (вместо Савана), что типично для Америки (но никак не для Англии).

Мы все теперь немножко кумекаем по-английски, так что приведу упоительный текст этого шлягера. Вперёд отмечаю, что в нём имеется этаким специальный шик: вместо *girl* идёт *gal*, вместо *arctic* — *artic*, слово *travelling* пишется через одно *L*, аббревиатура *BVD* означает подштанники или, шире, нижнее бельё, — и, уж конечно, каждый стих завершается отсутствием знака препинания — идиотическое правило песенных англоязычных стихов.

In old Savannah
I said Savannah
The weather there is nice and warm
The climate's of a southern brand
But here's what I don't understand

They got a gal there

A pretty gal there
Who's colder than an arctic storm
Got a heart just like a stone
Even icemen leave her alone

To tease 'em and thrill 'em
To torture and kill 'em
Is her delight they say
I saw her at the seashore
 with a great big pan
There was Hannah pouring water
 on a drowning man
She's Hard-Hearted Hannah
The Vamp of Savannah, GA

They call her Hard-Hearted Hannah
The Vamp of Savannah
The meanest gal in town
Talk about you cold, refrigerated mamas
Brother, she's a polar bear's pajamas
To tease 'em and thrill 'em
To torture and kill 'em
Is her delight they say
An evening spent with Hannah
 sitting on your knees
Is like traveling through Alaska
 in you BVD's

Вот на что клюнул «великий советский поэт», поэт с эпитетом (просто поэтом — Маяковского не назовёшь), поэт резолюции (сталинской), в чью честь установлена безобразная бронзовая болванка на Триумфальной площади, не стыдящая, не бросающая в краску вот уже пятое поколение москвитов.

Но это — всего лишь необразованность да безвкусица с его стороны, то есть — сущий пустяк рядом с тем, чем наполнена статья Маяковского *Как делать стихи*: рядом с его непроходимой глупостью. Там, где сужде-

ние «классика» удаётся вычлени́ть из навозной кучи его пустословия, суждение это всегда оказывается верным с точностью до наоборот.

16.02.26



Удивительное дело: в английском языке нет слова *собеседник*! То есть слово-то, разумеется, есть, и не одно слово, — но ни одно из этих слов не в ходу ни в устной речи, ни в эпистолярной прозе, они для английского уха и глаза какие-то книжные, академические. Не годится — не выражает сколько-нибудь полно столь ясного в русском языке понятия — и французское *vis-à-vis*, в английском бытующее (и всеми неправильно произносимое). Зато уж слово *партнёр* — всюду, куда ни глянь.

17.02.26



Кто-нибудь помнит его? Игорь Рубель, чемпион Ленинграда по шахматам (1958 года, в 25 лет). Мне он говорил в 1961 году: «Если б я играл сейчас, как я играл в дни войны, я был бы чемпионом мира....» Он погиб в авиационной катастрофе 4 апреля 1963 года (тридцати лет от роду; Ил-18, рейс 25 Москва-Красноярск, разбился в окрестностях Казани) — и ни одна советская газета не сообщила об этом. Источники называют его Игорем Георгиевичем, а я помню его Игорем Григорьевичем... возможно, память подводит меня, но я ведь, в мои 15 лет, состоял его прямым подчинённым, препаратором автоклавной лаборатории института Гипроникель.

Хорошо помню этого незаурядного человека. Роста он был среднего, чуть ниже меня (я в ту пору был 180 см), нос имел выдающийся, череп его был тяжёл и лыс, остатние чёрные волосы он зачёсывал слева направо, чтобы лысину скрыть. Начальствовал надо мною с участием. Не злой был человек.

Жена его, Ася, работала тут же, в Гипроникеле, в другой лаборатории, а после его гибели довольно быстро стала женой его однокашника по Горному институту и коллеги по Гипроникелю Якова Шнеерсона... Кто не помнит одесской песни «Довольно шумно в доме Шнеерсона»?

Ещё Игорь мне говорил такое: «Очень приятно быть квалифициро-

ванным спортсменом» — это в связи с тем, что я в мои пятнадцать лет, при моих стихах, слезах и влюблённостях, был перворазрядником по волейболу... Ещё, за это поручусь, он был футбольным болельщиком, болел за ленинградский *Зенит*... и говорил мне про эту безнадежную в ту пору команду: «Они создают много голевых моментов»...

Прошли долгие десятилетия со дня его гибели... Как это страшно: разбиться в самолёте! Он летел в на матч полуфинала первенства страны, проходивший в Новосибирске, интересовал его, сколько помню, Корчной.

21.02.26



Перечитываю глупейшую статью Маяковского (Брика) *Как делать стихи*, текст именно что глупый до дикости, до неправдоподобия, где нет ни слова правды, — и чувствую, что во мне просыпается классовое сознание.

Я — рантье. Есть класс рантье, Марксом неучтённый. Маркс, по условиям его времени, не мог и вообразить рантье иначе как буржуем на покое. Вообразить себе рантье из пролетариев было выше его поэтического воображения. Между тем рантье из пролетариев — норма нынешнего капиталистического государства, и я — не исключение, а эта самая норма: я живу на пособие.

Всю жизнь я был пролетарием (без классового сознания). Работал, как проклятый, а получал копейки. И вот, о чудо, капиталистическое государство берёт бездарного работника под своё крыло и назначает ему пожизненное содержание, о котором он и мечтать не мог. Что это, если не социализм? В социалистической Совдепии я бы умер с голоду.

22.02.26

В ПОЛЬЗУ ПОЛЯКОВ

Все говорят мне: поляки — худшие антисемиты. Гитлеровцы убили шесть миллионов евреев, а поляки — уже после крушения гитлеризма — убили в 1946 году ещё двести евреев, и эти двести человек, убитых уже после публикации сведений о Треблинке и Аушвице, в некотором роде перевешивают шесть нацистских миллионов. Разве не так?

На это ответчу: из шести миллионов евреев, убитых гитлеровцами, половина убита немцами, а другая половина — европейцами, включая славян и не исключая русских. Если бы русским была предоставлена та же свобода, что полякам, они бы в 1946 году убили не двести евреев, а два миллиона евреев. Спорное утверждение? Но и возразить на него нечего. Вспомним *Дело врачей* 1953 года и вызванный им у русских всенародный взрыв ненависти к евреям.

Мои предки жили в Польше и говорили по-польски. Я этих предков не знал. Я знаю, что в Польше крестившийся еврей становился шляхтичем с решающим правом голоса на сейме. Я помню, что польские гусары в 1683 году спасли Вену и Европу от турецкого нашествия. Я помню, что Ягеллонский университет с латынью и Аристотелем был основан в 1364 году, когда в Московии ни одной секулярной школы с кириллицей не было и не предвиделось (в XVII веке появились). И я хочу посмотреть в глаза тому русскому, кто скажет мне, что поляки — большие антисемиты, чем русские или украинцы.

26.02.26



Нынче — день рождения Боратынского. Недоумки по сей день продолжают писать фамилию поэта неправильно: Баратынский. Это не только глупость и невежество, это — надругательство над прахом, над последней волей поэта. Свою последнюю книгу, изданную уже без Дельвига (написание через А пошло от Дельвига, а у него — со слуха) поэт надписал: Евгений Боратынский. Не подлежит сомнению, что это — его завещание.

Это надругательство длится, оно — застарелая привычка, но есть надежда, что люди когда-нибудь поумнеют и с этой привычкой справятся.

Было и другое надругательство, единичное, а по мне — ещё более отвратительное, более кощунственное. В 1983 году в Совдепии один негодяй издал (в Литературных памятниках) собрание стихов Боратынского так: в основной корпус поместил ранние варианты стихотворений, а поздние варианты — в приложения и примечания. Что это, если не убийство?! Как покойному поэту защитить себя от подобных спекуляций? Мелкий мошенник на зарплате противопоставил свою чиновничью волю — воле

поэта, наделённого пророческим даром. Чиновник взял на себя смелость решать, что лучше, а что хуже! Если ты так умён, пиши своё — и не лапай своими грязными руками великих. Кто дал тебе, мерзавец, такое право? Кто кому служит: ты Боратынскому, или он тебе? Где были члены редколлегии Литературных памятников (их там чуть не двадцать человек числится, все учёные со степенями, включая пресловутого Гаспарова, тоже надругавшегося над Боратынским; см. мою статью 2000 года *Скопец в серале*)? Эта выходка 1983 года — позор всей советской литературы. Негодяй вошёл ею в поганую советскую литературу — только ею, больше он ничего на этом свете не сделал. И он навсегда останется с проклятьем, которое я с полным правом произношу над ним от имени Боратынского. Имя негодяя — Л. Г. Фризман.

И это ещё не всё, что следует сказать про него. Изданный Фризманом том вот что содержит на обложке:

Е. А. Баратынский
Стихотворения
Поэмы

Здесь, помимо основной гадости (Баратынский вместо Боратынский), — ещё одна гадость и одна глупость. Гадость — в инициалах поэта. Никогда Боратынский не подписывал своих стихов инициалами перед фамилией, всегда — именем. (То же самое скажу и про Пушкина, которого ежедневно уродуют; нет у редакторов и у читателей права называть его по имени-отчеству; не подписывал он так своих сочинений; и больше скажу: в культурной России называть человека по имени-отчеству было *привилегией* его друзей и знакомых, незнакомым же воспрещалось приличиями).

А глупость в названии Фризмана вот такая: словосочетание *Стихотворения / Поэмы* вызвало бы хохот у образованных русских пушкинской поры. Слово *стихотворения* и слово *поэмы* — это были два синонима без малейших смысловых оттенков. Слово *поэма* ставилось иногда над большими стихотворными произведениями, выходившими отдельным изданием, с единственной целью: предупредить читателя, что под обложкой — стихи, а не проза (для краткости писали *поэма*, а не *стихотворение*). Что стихотворение и поэма — не одно и то же, изобретение позднейшее, но ещё досоветское. Чтобы подчеркнуть его нелепость, Брюсов, в насмешку

недоумкам, написал поэму — в одну стихотворную строку.

2.03.26



Все знают, что Ломоносов — несомненный отец русской музыки, он привёз русскую просодию из Германии (вместе с очень умеренными знаниями по физике и никакими — по математике), — и, стало быть, — привёз Пушкина. Но разве он замечательный поэт? Что я помню из стихов Ломоносова? Вот только это:

Борода предорогая!
Жаль что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена.

Только это... Нет: ещё одно, из стихов — но уже не о стихах. Ломоносов (в стихах) необычайно точно определил Ньютона: «Быстрый разумом Невтон». Точнее сказать нельзя. В Ньюtone именно это и поражает: быстрота разума. На что ни бросит взгляда — тотчас открытие, как в физике, так и в математике. Второй закон Ньютона, простейшее, казалось бы, равенство, линейная зависимость, соединяющая три величины, — но ведь это нечто ошеломляющее, это целая философия — и вся практическая наземная механика по сей день. Годами я изумлялся этой находке... и вот случайно (но уже давно), у Куно Фишера в его работе о Декарте, нашёл подтверждение известным словам Ньютона «я стоял на плечах гигантов». Декарт первым определил силу, связав равенством три величины. Он — ошибся: он определил не силу, а количество движения, импульс (вместо ускорения у него стоит скорость). Тут я воочию увидел преемственность и мощь европейской мысли. Нет, второй закон Ньютона всё равно остаётся достижением феноменальным, но всё-таки — уже не полным чудом, не чем-то сверхъестественным.

Этими соображениями я поделился когда-то с моим другом, физиком Алексеем Ансельмом (1934-1998). Я сказал ему, что второй закон Ньютона для меня не менее поразителен и непостижим, чем формула Эйнштейна, и что при всей несомненной гениальности Эйнштейна и непостижимости его главного открытия — Ньютон кажется мне учёным более выда-

ющимся, первым, никем до сих пор непревзойдённым. Ансельм согласился со мною. Мы начали вспоминать имена выдающихся физиков и обсуждать их достижения. Возникла дивная портретная галерея. Когда мы перебрали с десятков самых прославленных имён, я спросил: «Отчего же никто не становится с Ньютоном в один ряд?», и Ансельм задумчиво произнёс простую фразу, которая до сих пор стоит у меня в ушах: «Отчего — не знаю, а только вот никто не становится».

2.03.26

«ТЫ У МЕНЯ В ПЕЧЁНКАХ»

Всем известны слова, перешедшие из иврита в русский. Их много. Напомню самые несомненные: суббота и шабаш, пасха (песах), маковей (праздник), шмон, холява, хохма, бегемот, ксива. Тут и вопроса нет, тут все согласны.

Домашняя этимология тоже тут, она подсовывает много всякого вздора вроде того, что слова *колбаса* происходит от еврейского *коль а-басар* (כל הבשר, всё мясо). Это несомненная ошибка. Мне слово *колбаса* кажется польским (*kielbasa*).

Покойный историк литературы Михаил Хейфец (1934-2019) производил слово калита (кошель, сума) в имени Иван-калиты от еврейского кли-та, קליטה, собрание, абсорбция.

А вот мои догадки.

Первое и почти несомненное: слово *цыплёнок* и подзывание *цып-цып-цып* не могут как-то не соотноситься с тем, что птица по-еврейски — *ципор*. (Фасмер и его референтная группа не задумались над этим просто потому, что не знали семитских языков.) Почти ручаюсь за эту догадку.

Добавлю ещё два слова (два корня):

— смех. Как хотите, а корень СМХ — из самых распространённых в иврите, и значение тут то самое: радость, веселье, ликование.

— двор-добро-дверь-деверь. Тут не столь несомненно, а мысль невольно останавливает. Корень ДВР (ДБР) — тоже слышишь в иврите там и тут, даже чаще, чем СМХ, и что же он означает? Вещь (дело) ... и говорить (слово)! В русском языке *добро* означает и вещь, и ручательство (слово). Очень, очень следует тут задуматься специалистам.

Но это — слова, а есть ведь ещё и цельные конструкции, выражения. И вот я с удивлением вижу, что, кажется, никем до сих пор никогда и нигде не отмечены два русских выражения XX века несомненно еврейского происхождения:

«Ты мне свинью подложил» — тут, похоже, и объяснять нечего; и

«Ты у меня в печёнках» — тут объясню, что по-еврейски душа находится в печени.

6.03.26

ПОЧЕМУ Я НЕ МАСТЕР СПОРТА

Александр Абрамович Муркес (1920-1999) был человеком значительным. Входил, как мне запомнилось, в сборную Грузии по волейболу в 1930-е годы — это при росточке в 165 см! А вот несомненное: воевал, на фронте из рядовых вышел в старшие сержанты, — то есть проявил не только храбрость, но и находчивость, и умение командовать; удостоился орденов и медалей. В Ленинграде в 1959-е годы оказался одним из тренеров волейбольной команды *Спартак*... и тут, осенью 1959 года, я предстал перед ним на Стремянной улице — новичком, кандидатом в юношескую команду.

Меня он тотчас же отобрал. Ещё бы! В тринадцать лет во мне было 180 см, что в ту пору считалось высоким ростом. Потом в его словах промелькнуло где-то: «через пять лет ты — в сборной Союза». Если бы так! Выдающийся тренер ошибся. Обманулся во мне; я перестал расти в том и в другом смысле... Но в четырнадцать лет я некоторое время был первым нападающим юношеской волейбольной команды *Спартак*а, а мы были чемпионами Ленинграда.

Сколько было обольщений, сколько надежд! Кто же не хочет прославиться, особенно школьником? Прошли десятилетия, и я пытаюсь понять: почему я не стал выдающимся спортсменом. Вижу отчётливо: стать — не мог. В ту пору я не признавал моего очевидного недостатка: руки — не длинные и не сильные. Прыгал-то я лучше всех, ноги были о-го-го, я по плечи над сеткой выпрыгивал, а руки для удара по мячу — не те. Да и левая рука была ни при чём, бил я только правой, недостаток несомненный, мною в ту пору не осознанный.

Но тренер сборной Ленинграда (команды, которую мы знали под на-

званием ГОРОНО и, случалось, побеждали в товарищеских матчах) видел во мне ещё один недостаток: он видел, что у меня на уме — другое, потому и не взял в сборную. Разумеется, он не мог и вообразить, что я сочиняю стихи, — такое нормальному человеку и в голову бы не пришло, но он чувствовал нечто неладное, чуждое.

Вот одно из самых мучительных воспоминаний всей моей жизни. Команда ГОРОНО проходит сборы в двух шагах от меня (я жил на Гражданке), при политехническом институте, — была там специальная площадка для волейбола, «в яме», в земляном углублении, ниже уровня основного стадиона. Мне уже пятнадцать лет, я всё ещё спартаковец, но давно уже не первый нападающий. Из нашей команды попал в сборную только Лёша Поликин, годом старше меня. Я живу по-соседству и как раз в этот день в спортивном костюме бегаю в своё удовольствие по стадиону, заглядываю «в яму», вижу знакомые лица, спускаюсь туда, а там — разминка, обнимаюсь с Лёшей, и он, добрый человек, соглашается продолжать разминку со мною, как если бы я был тут среди равных. Тренер сборной, понятно, узнаёт меня — и некоторое время разрешает мне резвиться среди избранных, не прогоняет. Но потом он подходит к нам с Лёшей и говорит примирительно, что, мол, довольно, пора мне уходить. Тут бы мне сказать: позвольте остаться, хоть на скамейке сидеть, я ведь — на должном уровне; но мне такое и в голову не приходит. Понурившись, я поднимаюсь, выхожу «из ямы», а тут, при выходе, — толпа любопытных, и один из них, ткнув пальцем в меня, восклицает: — Этот из нашей школы!

Если б это была правда! Мой звёздный час! Слава! Спортивный костюм на мне не отличался от таковых на избранных, только эмблемы на футболке не было. Стыд, мною пережитой в тот момент, живёт со мною десятилетия. Я — не был «из нашей школы»! То есть из школы-то я как раз был, да не был в сборной. Я целое долгое мгновение жил заёмной славой... Худшая из пыток!

22.03.26



Верующие и неверующие, все мы произносим междометие *Господи!* (усиленное междометие *Ах!*), но мало кто помнит, что конечное И в нём

— не окончание, а суффикс, притом не русский, а прямо библейский, ивритский значащий суффикс, превращающий слово в конструкцию: *господин мой, господь мой*.

25.03.26



...Смешно и возражать! Последствие — известно. Добрые люди всегда на личности переходят. Скажешь, что тебе не нравятся стихи Имярека, и тут же получишь: а твои-то стихи разве хороши! Говорю этим добрым людям в последний раз: не путайте божий дар с яичницей. Если я сказал, что Имярек плох, я при этом не сказал, что я хорош. Это совсем другое сообщение. Две большие разДницы. Мне как критику — дела нет до меня как стихотворца...

Моё последнее соображение до крайности просто. Я утверждаю, что стихотворение Ахматовой «Ты отступник» — незначительно по исполнению и ничтожно по наполнению. По форме оно — не то не сё, по содержанию оно — ложь, потому что иконы и родина в один ряд не становятся, для истинного христианина нет родины. И зачем поэтесса пихает в нос природному немцу «наши песни и наши иконы»? И что делать с этой анекдотической сосной, от которой беженец «отступился»? Может, в Британии нет «над озером тихим сосны»? Не продолжаю конкретную критику. Форму вообще не обсуждаю. Утверждаю: тут всё плохо. Передо мною — плохое стихотворение, плохое от первой строки до последней, — отчего же мне не сказать об этом? Я ведь это вижу и чувствую, я готов за это знание на костёр пойти.

Однако ж я при этом не сказал, что Ахматова — плохой поэт, пусть всякий «лихой ярославец» это услышит (я, между прочим, и сам ярославец по матери, притом из крепостных, а что лихой — эти строки свидетельствуют). Я восхищаюсь многими строками Ахматовой, да только — не этими.

И, разумеется, я — с её «лихим ярославцем», который бежал из страны безбожной в страну христианскую, тогда как Ахматова, назывная христианка, наоборот, осталась с безбожниками — а про христиан, сражавшихся в сопротивлении нацистам, сказала нечто бессовестное: «под защитой чуждых крыл». Тамошние «крыла» были не «чуждыми», а родны-

ми подлинным христианам. Чуждыми они могли почудиться только ханжам. Что Ахматова — ханжа, должно быть произнесено открытым текстом. Стихотворение «Ты отступник» тому свидетельство. Для последовательного христианина нет, как уже сказано, никакой родины, есть только загробное спасение во Христе.

4.04.26



Они переписывают классиков. Переделывают своих «великих» под себя. У Лермонтова вместо «есть грозный Судия» стоит теперь «есть грозный суд»; у Некрасова вместо «Как женщину он родину любил» читаем «Как мать, он Родину любил» (не постеснялись даже стопу скостить, из пятистопного ямба сделать четырёхстопный; запятую добавили, которой в XIX веке не требовалось; ну и, как водится, слово родина — с прописной: советский фетишизм, Некрасову неизвестный).

На минуту мне почудилось, что очередь дошла и до Ахматовой. Читаю в сети — и глазам своим не верю:

Ты — отступник. За остров зелёный
Отдал, отдал родную страну.

Это, понятно, об Анрепе, который ещё до большевиков перебрался в Британию (и с которым, кажется, связано бóльшая часть любовных стихов Ахматовой). Мне в юности запомнилось, что он не отступником был назван, а предателем. Оказалось, нет: память меня подвела!

Однако ж решаюсь утверждать, что ошибка моя и понятна, и простибельна, потому что корень её — в ошибке Ахматовой. Предать страну человек может, дело бывалое, отдать, если он частное лицо, — никак не может (да и самодержец редко когда отдаст; я помню только одного: Георгия XII Грузинского, из двух зол выбравшего меньшее, ведь в противном случае речь шла о полном уничтожении страны и народа; «на троне не бывает предателей»).

Ахматова допустила ляпсус. «Отдать родную страну» — нелепость, уродующая всё стихотворение, и без того заурядное по исполнению и неумное по наполнению (герой ведь не только страну «отдал», но ещё и

сосну, что уже попросту смешно).

7.04.26



Да-да, вся эта свора тамошняя безграмотная, ни английского языка не знающая, ни русского, называет (в своих литературных переводах!) Хубилая — Кубла-ханом! Смотришь и глазам своим не веришь! Люди словно с Луны свалились. Ни ума, ни культуры. И все — с докторскими дипломами! Одно слово: Московия!

12.04.26



В европейской культуре есть два героя, сходящие в свой собственный гроб: поэт Державин в стихотворении Пушкина и маршал Морис Саксонский в скульптуре Жана-Батиста Пигаля на гробнице полководца в церкви святого Фомы в Страсбурге. В программном (и отнюдь не эпистолярном) культурологическом сочинении Карамзина *Письма русского путешественника* гробница маршала описана подробнейшим образом:

«В лютеранской церкви св. Томаса видел я мраморный монумент маршала, графа Саксонского, славное произведение резца Пигалева. Маршал с жезлом своим сходит по ступеням в могилу и с презрением смотрит на смерть, которая открывает гроб. На правой стороне два льва и орёл, в ужасе и смятении, изображают соединенные армии, побежденные графом во Фландрии. На левой стороне представлена Франция в образе прекрасной женщины, которая, со всеми знаками живой горести, хочет одною рукою удержать его, а другою отталкивает смерть. Печальный гений жизни обращает к земле свой факел; и на сей же стороне развешаются победоносные знамена Франции.»

Я убеждён, что лирический герой Пушкина есть прямое отражение скульптурного героя Пигаля в описании Карамзина (Пушкин, как и вся культурная Россия начала XIX века, читал сочинение Карамзина) — и по-

ражаюсь тому, что никем, сколько мне известно, эта переключка до сих пор не отмечена. Разумеется, для современников Пушкина она был столь очевидна, что тут и отмечать было нечего, — но в XX веке гробница иностранного маршала отодвинулась на задний план русской культуры, и упоминание о переключке очень помогло бы читателям Пушкина.

Этой моей догадке — не менее двух десятилетий. Допускаю, что я уже писал о ней в одном из моих сочинений, имя которым — легион. Но вот на днях я перечитал замечательную статью Лотмана в советском издании *Писем русского путешественника* (1987) — и опять изумился тому, что даже он, Лотман, комментировавший Карамзина (и сделавший бездну любопытнейших наблюдений), не видит очевидного... уж не говорю о чортовой прорве других академиков от литературоведения, причастных к изданиям серии Литературных памятников.

Отмечу ещё один, с позволения сказать, промах Лотмана, однако с важной оговоркой, снимающей напрашивающийся упрёк. Лотман цитирует слова Карамзина (из другого его сочинения): «Все прелести изящных Искусств суть не что иное, как подражание Натуре» — и не говорит нам тут же, что Карамзин в этих словах попросту цитирует Аристотеля с его мимезисом. Напрашивающийся упрёк снимаю вот почему: присущие науке точность и полнота недостижимы и даже не нужны в литературе. В литературе — всего не скажешь, чем-то приходится поступаться. И, разумеется, литературоведение — не наука, а литература, один из жанров литературы.

13.04.26



Добрые люди то и дело приглашают меня включиться в борьбу против антисемитизма, и я всякий раз говорю им, что я никогда в эту борьбу не вступлю. Можно и нужно бороться против конкретных проявлений антисемитизма, но это дело государства. Борьба частного человека с антисемитизмом как явлением кажется мне нелепостью. Антисемитизм соприроден человечеству. Пока жив хоть один человек, не считающий себя евреем, антисемитизм жив и неискореним. Антисемитизм исчезнет тогда и только тогда, когда все люди станут евреями. Нечто подобное, мне чудится, обещано нам Писанием, кажется Исайей («и притекут к нему все

народы»). К этому, разумеется, дело и идёт (взять хоть меня), но что-то очень уж медленно. Я верю, что в конце концов все люди станут евреями. Альтернатива этому только одна: полное уничтожение всех евреев. Однако ж при этом антисемитизм не только не исчезнет, а достигнет своего пика и сведёт человечество в могилу. Что такое человечество без евреев? Смешно и спрашивать.

13.04.26



В сочинении Аркадия и Бориса Стругацких *Волны гасят ветер* имеется многозначительный эпизод: некий Колдун с отдалённой лесной планеты является на Землю с официальным визитом (он у себя на планете начальник), но внезапно прерывает свой визит со словами (из Даниила Хармса): "Видит горы и леса, облака и небеса, а не видит ничего, что под носом у него". Он учуял на Земле — люденев, людей высшей касты, которые как раз один за другим покидают Землю ради дальнего космоса, потому что на Земле им скучно, а ему люденевы ненавистны. Израильская писательница Майя Каганская уподобила эту беллетристическую ситуацию земной и конкретной: евреи покидают Россию.

Любопытная особенность у Стругацких та, что с Колдуном на Земле приходится говорить по-украински. Никто, насколько я знаю, не отметил, что эта пустяковая деталь — не что иное, как указание на вековой антисемитизм украинцев. Ещё несколько лет назад чудилось, что украинцам, сражающимся с мировым злом, антисемитизм удалось не то что искоренить в своей среде (искоренить его нельзя), а унять до приемлемого уровня. Ныне, по доходящим до меня слухам, антисемитизм там вернул себе своё вековое и неискоренимое полноправие.

13.04.26



Добрые люди говорят мне: зря ты напираешь на то, что у Лермонтова не «есть грозный суд», а «есть грозный Судия». Имеются, мол, текстологические соображения, что там — «суд». На это первым делом возражу словом *родина*. Я родину защищаю. Я это лермонтовское «Судия» услы-

шал и прочёл в моём детстве и понял как родное. Допускаю, что литературеды сперва ошиблись, а потом поправили сами себя, что нужно читать: суд, но ведь родина-то — со мною, или она ваша? Я сражаюсь за родину. Я убеждён: Лермонтов не суд потомков имел в виду, а Господа Бога, и Он, Бог, разумеется, был грозный Судия («Все мысли и дела он знает наперёд»). Не какой-то суд потомков, грош ему цена.

17.04.26

ТОМСОН И ПУШКИН

Опять та же история! Вижу, что я первый. Готовлюсь к тому, что окажусь третьим или восьмым. Но я-то моим горбом эту истину добыл, и притом — три десятилетия тому назад, в 1990-е.

Исхожу из невероятного: я первым заметил, что стихи шотландского поэта Джеймса Томсона (James Thomson, 1700-1748) из его громадной поэмы *The Seasons*, из главы *Winter*, явственно перекликаются с началом вступления к *Медному Всаднику* — и даже кажутся скрипичным ключом к этим стихам Пушкина. Навожу справки у знатоков — и не нахожу опровержения, что я — первый.

Петровская легенда, воспевающая Петра Великого как преобразователя Московии в Россию, сложилась в Европе задолго до Тредьяковского и Ломоносова. Пушкин получил её готовенькой. Не мог Пушкин читать *The Seasons* сколько-нибудь внимательно. Не таков был его английский. Сохранились свидетельства, что он английские слова слышал по-французски.

«В чтении же Пушкина английское произношение было до того уродливо, что я заподозрил его знание языка и решил подвергнуть его экспертизе. Для этого, на другой день, я зазвал к себе его родственника Захара Чернышёва, знавшего английский язык, как свой родной, и, предупредив его, в чём было дело, позвал к себе и Пушкина с Шекспиром. Он охотно принялся переводить нам его. Чернышёв при первых же словах, прочитанных Пушкиным по-английски, расхохотался: "Ты скажи прежде, на каком языке читаешь?"»

П. И. Бартенев (*Деятнадцатый век*, кн. 1),

Но вот что Пушкин несомненно прочёл: *Письма русского путешественника* Карамзина, одно из главнейших литературных событий своей эпохи, а там приведён изрядный кусок из поэмы *The Seasons*, от строки «What cannot active government perform» до строки «More potent still, his great example shew'd», всего 38 строк, притом с русским прозаическим переводом. Карамзин, как и большинство тогдашних русских, нетвёрдо знал по-английски, потому и даёт текстуальный перевод (с неточностями); ему бы и в голову не пришло давать русскому читателю перевод с французского или немецкого. Вот этот перевод Карамзина:

«Чего не может произвести деятельное Правительство, преобразуя человека? Одна великая Душа, вдохновенная Небом, извлекла из готического мрака обширную Империю, народ издревле дикой и грубой. Бессмертный *Петр!* Первый из Монархов, укротивший суровую Россию с её грозными скалами, благами, шумными реками, озёрами и непокорными жителями! Смирив жестокого *варвара*, возвысил он нравственность человека. О вы, тени древних Героев, устроявших веками порядок гражданских обществ! Воззрите на сие вдруг совершившееся чудо! Воззрите на беспримерного Государя, оставившего наследственный престол, на коем дотоле царствовала могущественная тень неутверждённой власти, — презревшего пышность и негу, проходящего все земли, отлагающего свой скипетр в каждом корабельном пристанище, неутомимо работающего с искусными Механиками и собирающего семена торговли, полезных художеств, общественной мудрости и воинской науки! Обремененный сокровищами Европы, он возвращается в своё отечество, и вдруг среди степей возносятся грады, в печальных пустынях улыбаются красоты сельския, отдалённые реки соединяют свое течение, изумленный Евксин слышит шум Бальтийских волн, гордые флоты переплывают моря, которые дотоле не пенились ещё под дерзостными рулями, и многочисленные воинства в блестящих рядах на врагов устремляются, поражают неистового северного Александра и ужасают свирепых сынов Отомана. Удаляются лень, невежество и пороки, коими прежде варвар-

ство гордилось. Везде является картина искусств, военных действий, цветущей торговли: мудрость его вымышляет, власть повелевает, пример показывает — и государство благополучно!»

Очень тут можно возразить по существу сказанного, по некоторым пунктам (взять хоть «непокорных жителей» и то, что государство петрово «благополучно»), но не это интересно. Меня удивляет, что этот кусок, на сто процентов прочитанный Пушкиным по-русски, никогда не связывали с прологом к *Медному Всаднику*. Понятно, добрые люди скажут мне, что связь тут не столь уж наглядная; и добавят, что и у других западных поэтов можно отыскать нечто подобное, но это всё вехи отдалённые, маргинальные, тогда как сочинение Карамзина — самый стрежень русской культуры. Я остаюсь в недоумении. Неужто тут нет переклички, неужто она мне почудилась?

17.04.26

Я НЕ ИХНИЙ

Меня упрекают за притяжательное местоимение ихний; мол, всем ведь нам ещё в детстве объяснили, что нет такого слова. Но, во-первых, оно есть у Достоевского, а Достоевский классик, стало быть, и простым смертным оно не возбраняется. У кого нам учиться родному языку: у писателей или у чиновников на зарплате? А во-вторых, и без Достоевского можно обойтись. Вот безупречная фраза на языке современных москвитов: «Я их.» При всей своей безупречности она непонятна, нелепа. По звучанию это урок немецкого: «Я — Ich», по начертанию — кажется обрывком фразы с личным местоимением: «Я их люблю», «Я их убью». Чтобы извлечь из неё смысл, нужно изворачиваться: «Я из них», тогда как фраза «Я ихний» совершенно вразумительна и лишнего слова не требует.

В-третьих и в-главных, москвиты мне не указ. Никакого авторитета по части родного языка я над собою не чувствую и не признаю. Москвиты отказались от местоимения ихний (и ещё от многого, включая совесть), я отказался от москвитов. Я — не ихний.

18.05.26



...Помилуйте, любезная! «Сестра моя смерть» — слова Франциска Ассизского, единственного вполне и до конца последовательного христианина средневековья и нового времени. Христианство — религия смерти, не религия жизни. В новое время, от христианства отказавшегося, Франциску возразил Пастернак: «Сестра моя — жизнь!» Эта формула есть отрицание христианства, чего, кажется, никто до меня не сказал. Я не о московском кривославии говорю, а о христианстве. Христианин, помышляющий о тутошней жизни, не о загробном воздаянии, — не христианин, христианин только по имени, ханжа. Неужто вам это не очевидно?

Но вы обо мне спрашиваете, и я вам отвечаю: да, в поганой Совдепии, никакой тутошней жизни человеку не оставлявшей, поневоле приходилось мечтать о жизни загробной, в которую я вообще и тогда не верил. Не верил — а мечтал. Выхода не было. На крохотную секунду я даже к христианству близок оказался, потому что все вокруг были выкресты. К счастью — только на секунду; пронесло. И вдруг — чудо: после десяти лет мытарств «в отказе» нас отпускают на свободу. Состояния нашего при этом ни забыть, ни выразить словами нельзя. Кто не жил в советском застенке, не поймёт. Стихом: «Смерть мне больше не сестра», который Вас озадачил, я, вырвавшись из затхлой Совдепии, как раз и отрекаюсь от христианства.

23.05.26



Спасибо, г-н Эль-Эн, за Ваше предложение участвовать в вашем украинском сборнике поэзии и прозы. Первым делом позвольте мне сказать, что я всем сердцем желаю Украине победы над этой гадиной, над бывшей Россией, над пакостной Москвией, куда я не даю ни строки с 2009 года и где я порвал даже с друзьями детства. Вторым делом я с благодарностью отклоняю Ваше приглашение из соображений принципиальных. Я за то, чтобы независимая Украина в её теперешнем бедственном положении полностью отгородилась от всего русского, включая русский язык (право на участие в котором она утратила именно в силу своей независимости). Я бы рукоплескал ей, если б она и русских классиков вы-

швырнула за дверь, — на что они ей под русскими бомбами? Язык суверенной Украины (она же Русь) древнее и ближе к славянской первооснове, чем язык московитов. Но важно для меня и другое: я сторонюсь коллективов. Среди перечисленных Вами авторов есть четверо, чьи стихи я ценю, одна, с кем я дружу (дружил), и один, с кем я общим воздухом дышать не согласен; остальные мне совершенно чужды. Русский язык большинства поименованных для меня неприемлем. Неудобен мне, не обессудьте, и Ваш русский язык: в письме ко мне Вы употребили конструкцию «шеф-редактор», которая кажется мне обезьянничанием с американского (не говорю уж о том, что я под дулом автомата не соглашусь с конструкцией «в Украине», безобразной семантически и фонетически). Я получил мой русский язык не из поганой Москвы и не из героического Киева, а от карамзинистов и Пушкина. Защищая язык, я защищаю родину. С теми, что этот язык уродует, мне не по пути. За сим — почтительно, ЮК.

6.06.26

_____oOo_____

ОГЛАВЛЕНИЕ

2016

ДРУГИЕ МЕМУАРЫ	3
НОВАЯ ЭТИКА	5
«...мой собеседник упоминает о фонде имени Параджанова...»	7
ХАЗАНОВ ЗЕМЛИ РУССКОЙ	7

2017

«...статья К. — хороша, местами и очень хороша...»	8
ОТВЕТ Т-МУ	9
«Перечитываю в русском переводе <i>Женщину в белом</i> ...»	19
«ПРОСТИТЕ ЗА ПОЧЕРК»	20
«Дочитываю, наконец, <i>Блуждающие звезды</i> ...»	21
«Человек ищет любви»	23
БОРОТЬСЯ ЗА МИР	23
«Просыпаюсь с мыслью о том, что...»	25
«Чорт меня дёрнул читать по-русски в сети...»	25
«Был молодой греческий полковник...»	26
ВОПРОСНИК ОТ В-ВОЙ	27
«...ты просишь присылать тебе страницы моего дневника...»	32
«Нонна Азарьян жила у Светлановской площади...»	33

2018

«Разумеется, <i>Dichtung und Wahrheit</i> ...»	34
«Приятельница с гордостью говорит мне...»	35
«Вот занятная газетная вырезка...»	36
«Вот моя "книга черновиков"...»	39
«За иными находками далеко ездить не нужно...»	44
«Человек кусает себя за хвост...»	46
«В сети хвалят какую-то книгу под глупым названием...»	46
«Литературоведам не позавидуешь...»	47

2019

«Кто читал Камюэнса? На каком языке?...»	48
ПРАВО НА ИМЯ	49
НЕ ЗНАЕМ И ЗНАТЬ НЕ БУДЕМ	52
ПАМЯТИ ЮДЖИНА ДУБНОВА	53
«Шолом-Алейхем не дожил до 58 лет...»	56
НА ЖИЗНЬ И НА СМЕРТЬ	57
ЛУКАВЫЙ ЭРЕМИТ	58

2020

УМЕР ЯСНОВ	63
«Один добрый человек говорит мне...»	64
МЕНЯ ХОТЕЛИ ЛИНЧЕВАТЬ	65
«Меня спрашивают, давно ли я живу во Флоренции...»	65

ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ	66
2021	
«Вот стихотворение в шесть строк...»	68
ПЕРЕВОДЧИК НЕДОДУМАЛ	70
«Составитель Этимологического словаря...»	73
«Был такой Борис Корнилов...»	73
ВРАГ НАРОДА	74
«...иные мне не верят, не верят своим ушам...»	75
УПАДОК ВЕЛИКОЙ И МОГУЧЕЙ	76
«...Да-да, ты правильно это у меня прочла...»	77
РОССИЯ И ЕВРОПА	77
«Нынче, 8 мая, в Европе — день победы...»	78
ТЕАТР ИЛИ КИНО?	78
КАИН В ОБЛИЧЬИ АВЕЛЯ	82
БОМБОМЕТАНЬЕ	82
«Вот две русских фамилии: Левков и Левтов...»	84
«Утверждают: поэт должен быть оригинален...»	84
ЗЕМНОЕ И ГОРНОЕ	84
НА СМЕРТЬ ПСА	85
«Кто не знает этих строк...»	87
TOUT BEAU SBOGAR	88
«...как? чавстер, ты говоришь...»	89
«Вышел сборник памяти Юджина Дубнова...»	90
МЫ ОПЯТЬ В СОВДЕПИИ	91
«...и для меня тут странность, не только для тебя...»	92
ПОДЛЫЙ КОРРЕКТОРСКИЙ ЗУД	92
«ОН, SUSANNAN»	96
ПОЭТИЧЕСКАЯ ВОЛЬНОСТЬ	98
«...я изумлён твоим сообщением...»	99
ПРИДИРКИ К ПУШКИНУ	99
«Иной раз взглянешь ненароком на два...»	102
«...что за вздор?! О чём у нас речь?...»	103
«Вчера я заглянул в Арсения Тарковского и ахнул...»	103
2022	
«Простите великодушно, но это коллективное письмо...»	104
«Я аполитичен, но война вынуждает меня...»	104
«Мне кажется, что от упрёка в ксенофобии...»	105
«Не говорил ли я тебе, что обязательно найдутся...»	106
«Я тут давеча повторил слова Булгакова...»	106
«Ты осуждаешь меня. Ты говоришь: вольно́ мне...»	107
«Да, я прочёл сочинение этого Борового...»	109
ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ	110
«Спасибо, дорогой П., Вы, как всегда, на страже истины...»	118
«Третьего дня я сделал открытие: <i>надаль</i> на иврите...»	118

«Вы — человек не от мира сего...»	119
«Ты — исландка. В Исландии принято читать...»	119
«Спасибо за книгу (Why Nations fail...)»	120
«Начальнички из Facebook, сопляки...»	120
«Ещё раз, Ж., спасибо тебе за Венецию...»	121
«Вы, в связи с украинской войной, пишете...»	122
«Вот уже несколько дней читаю через силу...»	123
«"Стихотворения и поэмы" — в эпоху Пушкина...»	123
«...ты права: это патриотизм и есть...»	124
«...отчего я эмигрировал? Давненко...»	126
«Разумеется, ты права: я — израильянин...»	128
«Как раз из уважения к Украине, из восхищения...»	128
«...ты спрашиваешь, осталось ли что-нибудь от футуризма...»	129
«Насчёт фашиста: очень верно! Фашизм хоть и...»	130
ТРИ ЛОЗУНГА	130
«Пустяки, говоришь? Но — начинается всегда с пустяков...»	132
«Да, я повторяюсь, так ведь — не слышат...»	133
«Наткнувшись на рифму, иной мыслитель кривит...»	133
«Мой учёный сосед пишет: "Оксюморон —"...»	135
«...Да, милая, спасибо за ваше наблюдение...»	136
«Человек издаёт звуки только двумя органами...»	136
«Политическая корректность, не к столу будь помянута...»	136

2023

«Второй день читаю Кюхельбекера...»	137
«Дорогая М., твоя проза мне очень понравилась...»	137
«...С первых Ваших слов вижу, что мы друг другу чужие...»	139
«...Всюду, где я Вас понял, я с Вами согласен...»	140
«Уже третий день читаю... странно вымолвить, Эренбурга...»	141
«При чтении воспоминаний Эренбурга...»	141
«Продолжаю перечитывать воспоминания Эренбурга...»	142
КТО ТУТ ФАШИСТ?	143
«Перечитываю <i>Княжну Мери</i> ...»	144
«Мы с вами, Д., однажды уже перемолвились...»	144
«Бывают эпохи, возносящие до небес людей ничтожных...»	145
«Перечитываю Боратынского, с которым я носился...»	146
«Второй день читаю статью Кундеры про европейский роман...»	146
«Что со мною происходит? Я пишу эпиграммы на...»	147
«...ты пишешь: "тех, кого люблю, — люблю больше истины"...»	147
«...спасибо за отклик, дорогая. Если позволишь...»	148
«Вот уже сорок лет я мечтаю умереть за Израиль...»	149
«Голами твержу стих Владимира Лифшица...»	149
«...Вот я же и говорю Вам: 96% наших современников...»	150
«О Соединённом Королевстве вот что скажу...»	150
«Нынче мы присоединяемся к еврейской демонстрации...»	151

«Нахожу прелюбопытные слова Чайковского...»	151
«Несколько лет я внимательно перечитываю Гоголя... ..»	151
2024	
«Спасибо за письмо, дорогой. Очень ты обрадовал меня...»	152
«Я — выходец из русских. Родился русским, да...»	153
«Люблю слова, которые Пушкин вкладывает в уста...»	153
«Читаю стихи Наташи Карповой, убитой...»	154
«Я резко отозвался об Александре Городницком...»	154
«Со вчерашнего дня читаю Моммзена по-русски...»	156
«Гениальный Моммзен при описании Ганнибала...»	157
«Второй день листаю Камю по-русски...»	157
«Излагаю мою просьбу, дорогой ленинградец. Был такой биолог...»	158
«Помещаю в сеть стихи Константина Ескина...»	159
«...Прости, дорогой! Хочу злоупотребить твоею дружбой...»	160
«Дорогой профессор Винарский» Из Вашей работы...»	160
«Не один Гоголь поживился на бедняге Нарезном...»	161
«Моя давняя мечта — поставить памятник Василию Нарезному...»	161
«Моя переписка с издателем... с предполагаемым издателем...»	163
«В сотый раз! Сколько можно? Сталкиваюсь...»	164
«...ты спрашиваешь, когда <i>это</i> началось...»	165
«В отрочестве я упивался романами Ивана Ефремова...»	165
«...да, милая, именно так! Я человек простой...»	166
«Шесть лет, как умерла Зоя Эзрохи...»	166
«Я не автомобилист. О машинах сужу по эмблемам...»	168
«"Гений чистой красоты" — вот величайший...»	168
«Мне говорят: "А нельзя ли предположить, что..."»	169
«На твой философический вопрос о супружестве...»	170
«В Мюнхене вышла книга стихов Клеофаса Чортополохера...»	171
«...ты не прав! Моё требование к стихам не сводится...»	171
«Некрасов, тот самый, великий Николай Алексеевич...»	173
«Белый стих на тысячелетия старше рифмованного...»	173
«У Бунина в стихах полно неправильных ударений...»	174
«Одна из загадок русской культуры — ненависть к имени Сара...»	174
«...ты спрашиваешь, когда я перестал считать себя русским...»	175
«Не дико ли? Израиль — страна, созданная как убежище...»	175
«Мать поэта Льва Куклина звали Буня...»	175
«...спасибо, но ты ошибаешься! Оригинальность не ценили...»	175
«...твоя правда: читаю Сенкевича на старости лет...»	176
«Прошло пять лет со дня смерти Жени Дубнова...»	177
«Расскажи, что ты читал в течение жизни, — и твой портрет...»	178
«Ни от кого из нас, из наших миллионов, завтра имени не останется...»	178
«Ей-богу, я не хотел! всю мою жизнь я знал...»	179
«...ты говоришь: славить нужно Афины, а не Фивы...»	179
«Мне чудится (надеюсь, только чудится), что к моим скромным...»	180

«Лесков — писатель посредственный...»	180
«Читаю <i>Некуда</i> Лескова. Масса выдуманных уродливых слов...»	180
«Читая Сенкевича, воспевающего христианство, напрочь отвергаю...»	181
«По многим признакам, на знаменитого императора Нерона...»	181
«Режиссёр — нахлебник. Когда театр был велик...»	181
«Нет, дорогая, никогда в жизни я не слушал никакого радио...»	182

2025

«Один из уродцев теперешнего языка московитов...»	182
«Читаю умный и хорошо написанный текст, натыкаюсь на...»	183
«Ты спрашиваешь меня о стихах М***...»	184
ЕВРЕЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ	185
«...Я нашёл средство от бессонницы. На ночь нужно читать <i>Алексиаду</i> ...»	186
«...ты говоришь, что мои нынешние стихи...»	186
«Что происходит с "носителями языка"...»	189
«Июнь кончается, и никто, кажется, не вспомнил Зою Эзрохи...»	189
«Всю мою жизнь я повторяю слова: регулировать...»	190
«Антисемитизм возводят к первому веку новой эры...»	191
«Назовём трёх самых славных людей в мировой истории...»	191
«Спасибо Вам, Л., на добром слове. Вот уж я не думал...»	192
«Вы, ей-богу смешите меня! Неужели вы думаете, что...»	193
«Пишу ей: "Что с Вами происходит? Ваше дарование...»	194
ПРОЕКТ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОВАЛОМ	194
АНТИРАБИН, или МОЯ ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ	196
ЗАКЛЯТИЕ СБЫЛОСЬ	198
«Все знают команду <i>смирно!</i> И фамилию <i>Смирнов</i> ...»	199

2026

«Добрые люди пристаю к мне: вот тут твоя <i>ars poetica</i> ...»	199
«Добрые люди опять тут, с новым возражением...»	200
«Статья Валерия Шубинского о невольных всплесках...»	201
«Люди просят ко мне в ФБ-друзья...»	202
«Родом я — куда деваться — гой...»	203
«Ты спрашиваешь, что я думаю о поэтессе NN...»	203
«Мне возражают по поводу одного "пустячка"...»	206
«Помилуйте, что за вопрос! Вы удивляетесь тому, что мои теперешние стихи...»	208
«СМЕРТЬЮ КАРАЕМЫЙ ГРЕХ»	210
ПРАВО НА ПРОТИВОРЕЧИЕ	212
«Вы, добрая душа, хватили через край...»	214
«По сети гуляет гадкая фальшивка...»	214
«...Опять тот же вздор! Приходится спорить до хрипоты...»	216
«Занятно! Вторая по читаемости на моём сайте страница...»	217
«Вот-те на! Добрые люди говорят мне...»	219
РЕКА ВРЕМЁН	219
«В статье <i>Как делать стихи</i> Маяковский пишет...»	221
«Удивительное дело: в английском языке нет слова...»	224

«Кто-нибудь помнит его? Игорь Рубель...»	224
«Перечитываю глупейшую статью Маяковского...»	225
В ПОЛЬЗУ ПОЛЯКОВ	225
«Нынче — день рождения Боратынского...»	226
«Все знают, что Ломоносов — несомненный отец русской музы...»	228
«ТЫ У МЕНЯ В ПЕЧЁНКАХ»	229
ПОЧЕМУ Я НЕ МАСТЕР СПОРТА	230
«Верующие и неверующие, все мы произносим междометие...»	231
«...Смешно и возражать! Последствие — известно...»	232
«Они переписывают классиков...»	233
«Да-да, вся эта свора тамошняя безграмотная...»	234
«В европейской культуре есть два героя, сходящие в свой собственный гроб...»	234
«Добрые люди то и дело приглашают меня включиться...»	235
«В сочинении Аркадия и Бориса Стругацких <i>Волны гасят ветер</i> ...»	236
«Добрые люди говорят мне: зря ты напирал...»	236
ТОМСОН И ПУШКИН	237
Я НЕ ИХНИЙ	239
«Помилуйте, любезная! "Сестра моя смерть"...»	240
«Спасибо, г-н Эль-Эн, за Ваше предложение...»	240